- Фолкнер Уильям
  -

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Фолкнер Уильям
Авессалом, Авессалом !

Уильям Фолкнер

Авессалом, Авессалом!

Роман

Перевод М.Беккер

Текст, выделенный в книжном издании курсивом, заключен в фигурные {} скобки.

I

С третьего часа пополудни и почти до заката долгого, тихого, томительно жаркого, мертвого сентябрьского дня они сидели в комнате, которую мисс Колдфилд до сих пор называла кабинетом, потому что так называл ее отец, -- в полутемной, жаркой и душной комнате, где уже сорок три лета подряд все ставни были наглухо закрыты -- когда мисс Колдфилд была девочкой, кто-то решил, что от света и движения воздуха веет жаром, а в темноте всегда прохладнее, и которую (по мере того, как солнце все ярче и ярче освещало эту сторону дома) рассекали на части желтые полосы, трепещущие мириадами пылинок, -- Квентину казалось, что это ветер вдувает внутрь с облупившихся ставен чешуйки старой пожухлой и мертвой краски. За окном вилась по деревянной решетке расцветшая второй раз этим летом глициния, на нее время от времени невесть откуда обрушивалась стайка воробьев, с сухим шелестящим звуком поднимала клубы пыли и снова улетала прочь, а напротив Квентина сидела мисс Колдфилд в своем вечном трауре -- она носила его уже сорок три года -- по сестре ли, по отцу или по немужу -- этого не знал никто; прямая как жердь, она сидела на простом жестком стуле, который был ей настолько

высок, что ноги ее свисали с него прямо и не сгибаясь, словно берцовые кости и лодыжки были сделаны из железа, -- не доставая до полу, как у маленькой девочки, они как бы выражали застывшую и бессильную ярость, а сама она мрачным, измученным, полным изумления голосом все говорила и говорила -- до тех пор, пока отказывал слух, а слушатель терял нить и окончательно переставал что-либо понимать, между тем как давно умерший предмет ее бессильного, но неукротимого гнева, спокойный, безобидный и небрежный, возникал из терпеливо сонного торжествующего праха, словно пробужденный к жизни этим негодующим повтором.

Голос ее не умолкал, он лишь исчезал. В сгущавшейся вокруг туманной мгле стоял едва уловимый запах гробов, подслащенный и переслащенный ароматом вторично расцветшей глицинии, что вилась по наружной стене под свирепым и тусклым сентябрьским солнцем -- лучи его, казалось, сначала уплотняли этот аромат, а потом снова превращали в легкое, почти неуловимое дуновенье; словно свист гибкого хлыста, которым от нечего делать размахивает ленивый мальчишка, в наступавшую тишину временами врывалось громкое хлопанье воробьиных крыльев и острый запах старого женского тела, давным давно стоящего на страже своей девственности, а со слишком высокого стула, на котором она казалась распятым ребенком, поверх смутно белеющего треугольника кружев вокруг шеи и на запястьях на Квентина смотрело бледное изможденное лицо и звучал голос -- он не умолкал, а лишь на время исчезал, но после долгих пауз приходил обратно, подобно ручейку или струйке воды, что течет от одной кучки сухого песка к другой, между тем как призрак с сумрачной покорностью размышлял о том, что вот он вселился только в голос, а любой другой, более

удачливый его собрат наверняка бы захватил весь дом. Из беззвучного удара грома он (человек-лошадь-демон) внезапно врывался в пейзаж, мирный и благопристойный, словно получившая премию на школьном конкурсе акварель; от его одежды, волос и бороды все еще исходил слабый запах серы, за ним виднелась свора черномазых -- дикие звери, которых только-только обучили ходить вертикально подобно людям, -- в позах диких и непринужденных, и среди них, словно закованный в цепи, мрачный, измученный, оборванный француз-архитектор. Недвижимый, бородатый, всадник сидел, вытянув вперед руку ладонью вверх, а за ним молча топтались черномазые и пленный архитектор, держа в руках топоры, кирки и лопаты -- парадоксально бескровное оружие мирного завоеванья. Потом в долгом неудивленье Квентин, казалось, увидел, как они внезапно заполонили сто квадратных миль безмятежной и потрясенной земли, яростно вырвали из беззвучного Ничто дом и регулярный сад, словно карты на стол, швырнули их под вытянутую вперед недвижимую державную руку -- и тогда возникла {Сатпенова Сотня, Да Будет Сатпенова Сотня}, как в незапамятные времена {Да Будет Свет}. Вслед за тем слух его как будто смирился, и теперь он, казалось, стал слушать двоих разных Квентинов -- того Квентина Компсона, который готовился поступить в Гарвард на Юге, глубоком Юге, мертвом с 1865 года и населенном болтливыми негодующими растерянными призраками; он слушал -- вынужден был слушать -- одного из этих призраков, который даже еще дольше, чем все остальные, отказывался утихомириться и толковал ему о старых призрачных временах, и другого Квентина Компсона, который был еще слишком молод, чтобы заслужить честь стать призраком, но все равно обреченного им стать, ибо он, как и она, родился и вырос на Юге, --

двоих разных Квентинов, которые теперь разговаривали друг с другом в долгом молчании нечеловеков, на неязыке, приблизительно так: {Сдается, что этот демон -- его звали Сатпен -- (Полковник Сатпен) -- полковник Сатпен. Который ниоткуда нежданно-негаданно явился на эту землю со сворой чужих черномазых и основал плантацию -- (Яростно выбил плантацию, как говорит мисс Роза Колдфилд) -- яростно выбил. И женился на ее сестре Эллен и произвел на свет сына и дочь -- (Произвел на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) -- без ласки. Которые должны были сделаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его старости, но -- (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то в этом роде. И умер) -- и умер. И никто о нем не пожалел, говорит мисс Роза Колдфилд -- (Кроме нее). Да, кроме нее. (И кроме Квентина Компсона.) Да. И кроме Квентина Компсона}.

-- Говорят, вы едете в Гарвард учиться в колледже, -- сказала мисс Колдфилд. -- Поэтому вы едва ли когда-нибудь вернетесь сюда и станете провинциальным адвокатом в маленьком городке вроде Джефферсона -- ведь северяне давно уже позаботились о том, чтоб на Юге молодому человеку нечего было делать. Поэтому вы, быть может, займетесь литературой, как многие нынешние благородные дамы и господа, и, быть может, в один прекрасный день вспомните и напишете об этом. Я полагаю, что к тому времени вы уже будете женаты, и вашей жене, возможно, понадобится новое платье или новое кресло для дома, и тогда вы сможете написать это и предложить журналам. Возможно, тогда вы даже с добрым чувством вспомните старуху, которая заставила вас целый день просидеть взаперти, слушая ее россказни о людях и событиях, которых вам самому посчастливилось избежать, тогда как вам хотелось

провести это время на воздухе в обществе своих юных сверстников.

-- Да, сударыня, -- отвечал Квентин. {Только она совсем не то имеет в виду, подумал он. Ока просто хочет, чтобы об этом рассказали}.

Было еще совсем рано. У него в кармане еще лежала записка, врученная ему маленьким негритенком незадолго до полудня, в которой она просила его зайти к ней, -- странная церемонно вежливая просьба, скорее даже повестка, чуть ли не с того света, -- затейливый древний листочек добротной старинной почтовой бумаги, исписанный неразборчивым мелким почерком; при этом, то ли от изумления, что к нему обращается с просьбой женщина втрое его старше, с которой он не обменялся и сотнею слов, хотя знал ее всю свою жизнь, то ли просто оттого, что ему было всего лишь двадцать лет, он не распознал, что почерк этот свидетельствует о характере холодном, неукротимом и даже жестоком. Он повиновался и сразу же после полудня по пыльной сухой жаре первых дней сентября прошел полмили от своего до ее дома. Дом тоже почему-то казался меньше, чем на самом деле (он был двухэтажный); некрашеный и несколько запущенный, он, однако же, производил впечатление некоей свирепой стойкости, словно, как и сама его хозяйка, создан был для того, чтобы занять свое место в мире чуть меньшем, нежели тот, в котором он очутился. В полумраке закупоренной прихожей, где воздух был даже жарче, чем на дворе, словно здесь, как в склепе, были погребены все вздохи медленно текущего, обремененного зноем времени, которое повторялось снова и снова вот уже сорок пять лет, стояла маленькая фигурка в черном платье, не издававшая ни малейшего шороха, с тусклым треугольником кружев на шее и на запястьях, а бледное лицо смотрело на него с выражением

задумчивости, сосредоточенности и упорства, ожидая минуты, когда можно будет пригласить его в дом.

{Ей нужно, чтобы об этом рассказали, подумал он, так, чтобы люди, которых она никогда не увидит и чьих имен никогда не услышит, а они в свою очередь никогда не слышали ее имени и не видели ее лица, прочитали это и наконец поняли, почему господь допустил, чтобы мы проиграли эту Войну; что лишь ценою крови наших мужчин и слез наших женщин он мог остановить этого демона и стереть с лица земли его имя и его род}. Потом ему сразу же пришло в голову, что отнюдь не по этой причине она послала записку, и к тому же послала ее именно ему -- ведь если она просто хотела, чтобы об этом рассказали, написали и даже напечатали, ей вовсе не надо было никого приглашать -- ей, женщине, которая еще в молодые годы его (Квентинова) отца снискала репутацию поэтессы-лауреатки их города и округа, опубликовав в суровой, имевшей ничтожное число подписчиков окружной газете несколько стихотворений, оду, панегирик и эпитафию, почерпнутых из каких-то горьких и непримиримых запасов непораженья.

Однако пройдет еще три часа, прежде чем он узнает, почему она послала за ним, ибо часть этого, первую часть, Квентин уже знал. Это была частица его собственного наследия, нажитого им за свои двадцать лет, -- ведь он дышал тем же воздухом и слышал, как его отец говорил о человеке по имени Сатпен; это была часть наследия города Джефферсона, который восемьдесят лет дышал тем же воздухом, которым человек этот дышал между нынешним сентябрьским днем в 1909 году и тем воскресным утром в июне 1833 года, когда он впервые въехал в город из туманного прошлого, и приобрел себе землю никому неведомым образом, и построил свой дом, свой особняк, по всей видимости из ничего, и женился на Эллен Колдфилд, и

произвел на свет двоих детей -- сына, сделавшего вдовою дочь, что не успела даже выйти замуж -- и так, предначертанным ему путем, пришел к насильственной (мисс Колдфилд, во всяком случае, сказала бы -- заслуженной) смерти. Квентин с этим вырос; даже самые эти имена были взаимозаменяемы и почти что неисчислимы. Его детство было полно ими; в самом его теле, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались звучные имена побежденных; он был не реальным существом, не отдельным организмом, а целым сообществом. Он, как казарма, был наполнен упрямыми призраками со взором, обращенным назад, призраками, которые даже сорок три года спустя все еще выздоравливали от лихорадочного жара, вылечившего их болезнь; они приходили в себя от лихорадки, даже не зная, что боролись именно с нею, а не с самим заболеванием; с непоколебимым упорством и даже с сожалением продолжая смотреть назад, за пределы лихорадки, в самую болезнь, ослабев от лихорадки, но зато освободившись от болезни, они даже не сознавали, что эта свобода -свобода бессилия.

(-- Но почему ей надо было рассказывать это именно мне? -- спросил он в тот вечер у отца, вернувшись домой, когда она наконец его отпустила, предварительно заручившись обещанием воротиться за нею с повозкой. -- Почему именно мне? Какое мне дело, что сама земля или что бишь там еще в конце концов от него устала, возмутилась против него и его уничтожила? Какое мне дело, если она даже уничтожила и всю ее семью? В один прекрасный день она возмутится и уничтожит всех нас, как бы нас ни звали -- Сатпены, Колдфилды или как-то еще иначе.

-- Да, -- отозвался мистер Компсон. -- Много лет назад мы, южане, превратили наших женщин в благородных дам. Потом началась Война и превратила этих дам в призраки. Так теперь, коль скоро уж мы

джентльмены, что еще остается нам делать, как не слушать их, коль скоро они теперь призраки? -Потом он добавил: -- Ты хочешь знать истинную причину, почему она выбрала именно тебя? -- После ужина они сидели на веранде, ожидая часа, назначенного мисс Колдфилд для его приезда. -- Ей просто нужно, чтобы кто-нибудь поехал с ней туда -- какой-нибудь мужчина, джентльмен, притом достаточно молодой, чтобы сделать то, чего она хочет, и именно так, как она хочет. А тебя она выбрала потому, что никого ближе твоего деда у Сатпена в наших краях никогда не было, и она, наверно, думает, что Сатпен мог что-нибудь рассказать твоему деду о себе и о ней -- об обручении, которое не состоялось, и о свадьбе, которая не сладилась. Мог даже объяснить твоему деду, почему она в конце концов отказалась за него выйти. И что твой дед мог рассказать это мне, а я -- тебе. И потому, что бы там сегодня вечером ни случилось, семейная тайна, в некотором смысле, так и останется в семье, а скелет (если это действительно был скелет) -- в чулане. Возможно, она думает, что, если б не дружба твоего деда, Сатпен никогда бы не смог здесь обосноваться, а если б он не смог здесь обосноваться, ему не удалось бы жениться на Эллен. Поэтому не исключено, что она считает тебя отчасти ответственным -- по наследству -- за то, что случилось из-за него с нею и со всей ее семьей.)

Какова бы ни была причина, по которой выбор пал на него, -- именно эта или какая другая, подумал Квентин, докапываться до нее придется очень долго. Между тем, словно в обратной пропорции к исчезающему голосу, вызванный к жизни дух человека, которому она отказала в прощенье и не могла отомстить, начал постепенно как бы обретать некую прочность и неизменность. Всецело ушедший в себя, окутанный собственными адскими миазмами, в

атмосфере своей нераскаянности, он размышлял (размышлял, мыслил, обладал чувствами, но хотя и был лишен покоя -- усталости же он и вообще не знал, -- покоя она ему ни за что не хотела дать, но причинить ему ущерб или обиду тоже было не в ее власти), миролюбивый, теперь уже безобидный и даже не особенно внимательный -- это чудовище, которое под звуки голоса мисс Колдфилд прямо на глазах у Квентина разродилось двумя получудовищами-детьми, а затем все эти три чудовища образовали туманный фон для четвертого. То была мать, покойница сестра Эллен, эта Ниобея без слез, которая в каком-то кошмаре зачала от демона, которой даже при жизни недоставало жизни, которая скорбела без рыданий и теперь являла собою воплощение смиренной безысходной тоски -- не от того, что она как бы пережила всех остальных или, наоборот, умерла первой, а от того, что как бы и вовсе никогда не жила. Квентину казалось, будто он видит перед собою всех четверых -- словно их посадили традиционной семейною группой тех времен, в позах церемонных и безжизненно благопристойных; группа эта теперь смотрелась, как смотрелся бы увеличенный и повешенный на стену позади и повыше голоса поблекший старинный дагерротип, о присутствии которого хозяйка этого голоса даже не подозревала, словно она (мисс Колдфилд) никогда прежде не видела этой комнаты -- картинка, группа, даже на взгляд Квентина странная, причудливая и противоречивая, не совсем понятная; в ней (даже на взгляд двадцатилетнего) что-то было не так -- группа из четырех человек, последний из коих умер двадцать пять, а первый -- пятьдесят лет назад, вызванная теперь из безвоздушной мглы мертвого дома совместными усилиями неукротимой, ничего не простившей суровой старухи и покорно подавляющего свою досаду двадцатилетнего юноши, который даже

под звуки этого голоса продолжал говорить про себя: {Может, надо здорово знать человека, чтобы его любить, но если ты сорок три года кого-то ненавидел, ты будешь его здорово знать, так, может, тогда это будет лучше, может, тогда это будет просто замечательно, потому что сорок три года спустя он уже ничем не сможет тебя удивить или заставить тебя очень сильно обрадоваться или очень сильно разозлиться}. И может, даже это (этот голос, разговор, немыслимое и невыносимое изумленье) было когда-то громким воплем, подумал Квентин, давным-давно, еще когда она была девочкой, -- воплем юного строптивого несожаленья, возмущения против слепых обстоятельств и жестоких событий; когда-то, но не теперь; теперь же осталась лишь женская плоть одинокой упрямой старухи, сорок три года держащей наготове оружие для отплаты за старую обиду, старое непрощенье, возмущенное и обманутое окончательным и полным афронтом, каким была смерть Сатпена.

-- Он не был джентльменом. Он не был даже джентльменом. Он явился сюда -у него была лошадь, пара пистолетов и имя, которого никто никогда прежде не слыхал, не был даже уверен, что оно действительно принадлежит ему, точно так же как его лошадь и пистолеты, -- явился искать места, где он мог бы укрыться, и округ Йокнапатофа ему такое место предоставил. Он искал поручительства почтенных людей для защиты от других незнакомцев, которые могли появиться позже, в свою очередь разыскивая его, и Джефферсон дал ему это. Потом ему потребовалась респектабельность -- щит в образе добродетельной женщины, чтобы сделать его неуязвимым даже для людей, которые его защищали, -- в тот неизбежный день и час, когда даже им пришлось восстать против него с презрением, ужасом и возмущеньем; и не кто иной, как наш с Эллен отец дал ему это. Нет, нет, я не

оправдываю Эллен: слепая романтичная дура, чье поведение можно извинить разве что молодостью и неопытностью, если их можно считать оправданьем, слепая романтичная дура, а позднее слепая глупая женщина-мать, которую нельзя было больше оправдать ни молодостью, ни неопытностью, когда она лежала при смерти в том самом доме, на который променяла и гордость и покой и где возле нее была только дочь -- уже все равно что вдова, хотя и не успевшая еще стать новобрачной, -- дочь, которой три года спустя и в самом деле суждено было овдоветь, хотя она еще не успела стать никем вообще; а также сын, который отрекся даже от самой крыши, под которой родился и куда ему суждено было вернуться всего лишь один только раз, прежде чем исчезнуть навсегда, вернуться убийцей и почти братоубийцей; а он, изверг, мерзавец и дьявол, сражался в Виргинии -- там земля могла скорее избавиться от него, чем где-либо еще под солнцем; однако мы с Эллен обе знали, что он вернется, что прежде, чем найдет его пуля или ядро, погибнут все до единого солдаты наших армий; и лишь ко мне одной, к девочке, заметьте, к девочке, четырьмя годами моложе той самой племянницы, которую меня просили спасти, ко мне одной только и оставалось Эллен обратиться с просьбой: "Защити ее. Защити хотя бы Джудит". Да, слепая романтичная дура; ведь для нее не существовало даже той стомильной плантации, которая, очевидно, соблазнила нашего отца, ни этого огромного дома, ни даже день и ночь пресмыкавшихся рабов -- ничего того, что примирило, я не хочу сказать, соблазнило, ее тетку. Нет, всего лишь лицо человека, который ухитрялся выступать этаким гоголем, даже сидя верхом на лошади, человека, который, насколько было известно всем (в том числе отцу, который отдаст ему в жены свою дочь), либо вовсе не имел прошлого, либо не осмеливался о нем рассказать, человека,

который въехал в город прямо ниоткуда с лошадью, с парой пистолетов и со стадом диких зверей, которых он один, без всякой посторонней помощи затравил, ибо в той никому не ведомой языческой стране, откуда он сбежал, он был даже страшнее их самих, и с этим французом-архитектором, у которого был такой вид, словно его, в свою очередь, затравили и поймали эти самые негры, -- человека, который бежал сюда и спрятался, укрылся за респектабельностью и за этой сотней миль земли, которую он неизвестно как выманил у племени невежественных индейцев, и за домом величиной со здание суда, в котором он прожил три года без единой оконной рамы, двери или кровати, и которые он все равно называл Сатпеновой Сотней, словно все это было пожаловано королем его прадеду и с тех пор непрерывно переходило по наследству от отца к сыну -- дом и положение, супруга и семья, они были необходимы для маскировки, и потому он принял их вместе со всем остальным, что составляет респектабельность, как принял бы неизбежные неудобства и даже боль от шипов колючего кустарника, если б этот кустарник мог дать ему защиту, которой он искал.

Нет, он не был далее джентльменом. Женитьба на Эллен или даже на десяти тысячах Эллен не могла бы сделать его джентльменом. Не то чтобы он хотел быть джентльменом или хотя бы чтоб его за такового принимали. Нет. В этом не было никакой необходимости, ибо все, что ему требовалось, -- это имена Эллен и нашего отца на брачном свидетельстве (или на любой другой бумаге, удостоверяющей его респектабельность), которое люди могли увидеть и прочитать, точно так же как ему нужна была бы подпись нашего отца (или любого другого почтенного человека) на долговой расписке, потому что наш отец знал, кем был его отец в Теннесси и кем был его дед в

Виргинии, а наши соседи и люди, среди которых мы жили, знали, что мы это знаем, а мы знали, что они знают, что мы знаем, и мы знали, что они поверили бы нашим словам о том, кто он и откуда он родом, даже если бы мы солгали, точно так же как всякий, однажды на него взглянув, сразу бы понял: он будет лгать о том, кто он, и откуда он родом, и зачем он сюда приехал, понял бы просто потому, что он вообще ничего о себе не говорил. И именно то, что он решил укрыться за респектабельностью, служило уже достаточным доказательством (если кто-либо нуждался в дальнейших доказательствах), что бежал он наверняка от чего-то прямо противоположного респектабельности, слишком темного, чтобы об этом упоминать. Ибо он был слишком молод. Ему было всего двадцать пять лет, а человек в двадцать пять лет по доброй воле не станет подвергать себя тяготам и лишениям, связанным с расчисткой девственных земель и устройством плантации на новом месте ради одних только денег; тем более молодой человек с прошлым, о каком ему явно не хотелось рассказывать в Миссисипи в 1833 году, когда на реке было полно пароходов, битком набитых пьяными дураками; нацепив на себя брильянты, они из кожи вон лезли, стараясь избавиться от своих рабов и хлопка еще до прибытия судна в Новый Орлеан -- ведь туда можно было доскакать за одну ночь, а единственным препятствием и помехой были только другие злодеи, или риск быть высаженным на песчаную отмель, или, в самом худшем случае, петля. Он ведь был не из младших сыновей, которых посылали из каких-нибудь старых мирных краев вроде Виргинии или Каролины с лишними неграми добывать новую землю -- взглянув на этих его негров, каждый сразу видел, что они могли явиться (и наверняка явились) из краев много более старых, нежели Виргиния или Каролина, и уж во всяком случае далеко не мирных. А

взглянув разок ему в лицо, каждый мог убедиться, что он предпочел бы реку и даже верную петлю тому, за что взялся, -- знай он даже наверняка, что в той самой купленной им земле зарыто золото, которое только и ждет его прихода.

Нет. Я оправдываю Эллен не больше, чем самое себя. Себя я оправдываю даже меньше, потому что для наблюдения за ним у меня было двадцать лет, а у Эллен всего лишь пять. Да и за эти пять лет она его не видела, а только слышала от третьих лиц о его делах, да и слышала-то не больше чем о половине -- ведь половины того, что он эти пять лет действительно делал, наверняка не знал вообще никто, а о половине остального ни один мужчина не заикнулся бы своей жене, а тем более молодой девице; он явился сюда и открыл балаган, и Джефферсон целых пять лет платил ему за развлечение хотя бы тем, что скрывал от своих женщин его дела. Но у меня для наблюдения за ним была в запасе вся жизнь; ибо очевидно -- хотя по какой причине, господь не счел нужным открыть -- жизни моей суждено было окончиться в один апрельский день сорок три года назад, ибо всякий, кто имел столь же малую толику того, что можно назвать жизнью, сколь имела до этого времени я, уж никак не назвал бы жизнью то, что было у меня с тех пор. Я видела, что произошло с моей сестрой Эллен. Я видела, как она, почти затворница, наблюдала, как подрастают эти двое обреченных детей, которых она была бессильна спасти. Я видела, какою ценой она платила за этот дом и за свою гордыню; я видела, как один за другим наступали сроки оплаты векселей на гордость, довольство, покой и все остальное, которые она скрепила своею подписью в тот вечер, когда вошла в церковь. Я видела, как Джудит ни с того ни с сего без всяких объяснений запретили выходить замуж; я видела, как Эллен умирала, и только ко мне, совсем еще девочке, могла

она обратиться с просьбой защитить ее оставшееся дитя; я видела, как Генри отрекся от своего дома и всех своих прав, а затем, возвратившись, буквально швырнул к подолу подвенечного платья своей сестры окровавленный труп ее возлюбленного; я видела, как возвратился этот человек -- родоначальник и источник зла, переживший все свои жертвы, человек, который породил двоих детей лишь для того, чтобы они уничтожили не только друг друга и его собственный род, но еще и мой род в придачу, и все же я согласилась выйти за него замуж.

Нет, я себя не оправдываю. Я не ссылаюсь на молодость, ибо кто из обитателей Юга после 1861 года -- мужчина, женщина, черномазый или мул -- имел время и возможность не только быть молодым, но даже и слышать, что такое молодость, от тех, кому довелось быть молодым. Я не ссылаюсь на близкое родство: на то, что я -- молодая девица, созревшая для замужества, и в ту пору, когда большая часть молодых людей, с которыми я при обычных обстоятельствах была бы знакома, погибли на полях проигранных сражений -- два года прожила с ним под одной крышей. Я не ссылаюсь на нужду: на то, что я, сирота, женщина, нищая, естественно обратилась даже не за покровительством, а просто за хлебом насущным к своим единственным родичам -- к семье своей покойной сестры; и тем не менее кто осмелится осудить меня -- двадцатилетнюю сироту, молодую девицу без всяких средств -- за то, что я хотела не только оправдать свое положение, но и защитить честь семьи, где доброе имя женщин всегда оставалось незапятнанным, приняв честное предложение от человека, чей хлеб я вынуждена была есть. А главное, я не оправдываю себя -- молодую девицу, которая вырвалась из смерча, отнявшего у нее родителей, достаток и все остальное, которая видела, как все, что составляло ее жизнь, превратилось в груду

развалин, окружавших несколько фигур, имевших облик людей, но имена и осанку героев, -- да, молодую девицу, вынужденную ежедневно и ежечасно сталкиваться с одним из этих людей, который, несмотря на все то, чем он мог быть когда-то, и несмотря на все то, что она могла о нем думать и даже знать, четыре года доблестно сражался за землю и традиции этой страны, где она родилась. И человек, который все это сделал, хотя он и не перестал быть злодеем, а только поменял свою окраску, тоже обладал бы в ее глазах -хотя бы в силу одного только общения с героями -- осанкой и обликом героя; и вот теперь он тоже вырвался живым из смерча, принесшего столько страданий ей, и встречал уготованное Югу будущее, не имея ничего, кроме голых рук, сабли, которую он, по крайней мере, ни разу не сдал неприятелю, и благодарности за доблесть от своего потерпевшего поражение главнокомандующего. О да, он был храбр. Этого я никогда не отрицала. Но почему же единственной опорой нашего дела, всей нашей жизни, надежд на будущее и гордости минувшим должны были стать такие люди -- люди, обладавшие доблестью и силой, но лишенные сострадания и чести? Нужно ли удивляться, что господь позволил нам потерпеть пораженье?

-- Нет, сударыня, -- отозвался Квентин.

-- Но почему его жертвой оказался наш отец, наш с Эллен отец, из всех, кого он знал, -- а не те, кто постоянно ездил туда, и пил и играл с ним в азартные игры, и смотрел, как он борется с этими дикими неграми, -- из всех, чьих дочерей он мог бы даже выиграть в карты? Почему именно наш отец? Как он мог сблизиться с папой, на какой почве; что между ними могло быть, кроме обыкновенной учтивости двоих повстречавшихся на улице мужчин, что могло быть общего между человеком, который явился ниоткуда или

не смел сказать, откуда именно, и нашим отцом; что могло быть общего между таким человеком и папой -казначеем методистской церкви, торговцем, который не был даже богат и не только не мог решительно никак споспешествовать умножению его имущества или его видам на будущее, но не мог даже вообразить, не мог даже найти и подобрать на дороге что-либо, чего тот мог бы пожелать, -- человеком, который не владел ни землей, ни рабами, не считая двух чернокожих служанок, которых он освободил тотчас же после покупки, который не пил, не охотился, не играл в карты, -- что могло быть общего между ним и человеком, который, как мне точно известно, за всю свою жизнь в Джефферсоне был в церкви всего лишь три раза -- когда он впервые встретил Эллен, когда они репетировали свадьбу и когда они ее сыграли, -- человеком, при виде которого каждому становилось ясно, что если у него и вправду нет денег сейчас, он все равно привык иметь деньги и намеревается приобрести их снова и не станет задумываться насчет того, как их раздобыть, -- и надо же было, чтобы этот человек нашел Эллен в церкви. Да, именно в церкви, словно семья наша была предана злому року и проклятью и сам господь постарался о том, чтобы этот злой рок и проклятье были испиты до последней капли. Да, злой рок и проклятье пали на весь Юг и на нашу семью, словно за то, что один из наших предков решил укоренить свое потомство на земле, отданной в жертву злому року и утке им проклятой, даже если бы это проклятье много лет назад навлек на себя кто-то другой, а вовсе не наша семья, прародители нашего отца, которых господь заставил укорениться на той земле и в те времена, уже заранее им проклятые. Так что даже мне, девочке, которая была еще слишком мала, чтобы это понять, хотя Эллен приходилась мне сестрой, а Генри и Джудит -- племянником и

племянницей, даже мне разрешали ездить туда лишь в сопровождении отца и тети, а играть с ними разрешали только в доме (и совсем не потому, что я была па четыре года моложе Джудит и на шесть лет моложе Генри: разве не ко мне Эллен перед смертью обратилась с просьбой: "Защити их"?) -- даже я всегда задумывалась над тем, что такого мог сделать наш отец или его отец еще до женитьбы на нашей матери, если нам с Эллен придется это искупать, да притом еще ни одной из нас в отдельности этой вины не искупить; какое преступление должно было совершиться, чтобы на нашу семью пало проклятье, превратив ее в орудие гибели не только этого человека, но и нас самих.

-- Да, сударыня, -- сказал Квентин.

-- Да, -- раздался тихий суровый голос над неподвижным треугольником тусклых кружев; и вот Квентин, казалось, увидел, как среди задумчивых благопристойных привидений возникает фигурка девочки в аккуратных юбочках и панталончиках, с благопристойными тугими аккуратными косичками, что носили в те мертвые времена. Казалось, она стоит, притаившись, на унылом, принадлежащем людям среднего достатка дворике или газоне за ровненьким забором и глядит на мир людоедов, что водятся на этой тихой городской улочке, глядит с таким выражением, какое бывает у детей, слишком поздно явившихся в жизнь своих родителей и обреченных созерцать все человеческие деянья сквозь призму сложных и бессмысленных причуд взрослых -- с выраженьем Кассандры -- сумрачным, глубоко и сурово пророческим, в полном несоответствии с истинным возрастом даже этого ребенка, никогда не знавшего детства. -Потому что я родилась слишком поздно. На целых двадцать два года позже -девочка, перед которой из подслушанных разговоров взрослых лица сестры и сестриных детей возникали словно в сказке о каких-то страшных

людоедах, рассказанной после ужина перед сном еще задолго до того, как я выросла настолько, что мне разрешили с ними играть, однако именно ко мне этой самой сестре пришлось перед смертью, когда сын ее исчез и был обречен стать убийцей, а дочь обречена была стать вдовой, не успев еще выйти замуж, именно к этой девочке ей пришлось обратиться и сказать: "Защити хотя бы ее. Спаси хотя бы Джудит". Да, девочка, однако верное чутье ребенка помогло ей угадать ответ, явно недоступный зрелой мудрости старших: "Спасти ее? От кого и от чего? Он уже дал им жизнь, так зачем ему вредить им дальше? Им нужна защита лишь от них же самих".

Все это должно было происходить гораздо позже, хотя и так было уже, вероятно, достаточно поздно; однако трепещущая пылинками желтая решетка из солнечных лучей еще не поднялась по разделявшей их неосязаемой стене мрака; солнце, казалось, почти не сдвинулось с места. Все это (разговор, рассказ) казалось (ему, Квентину) насмешкой над логикой и здравым смыслом, как это свойственно сну, -- мертворожденный и законченный, сон этот, как понимает спящий, длился, вероятно, не более секунды, однако самое его правдоподобие, которое должно заставить спящего в него поверить и внушить ему ужас, восторг или изумленье, столь же всецело зависит от чисто формального признания и приятия уже протекшего, но все еще текущего времени, сколько музыка или напечатанная в книге сказка.

-- Да. Я родилась слишком поздно. Я была девочкой, которая запомнит эти три лица (и его лицо тоже) такими, как она впервые увидела их в коляске в то первое воскресное утро, когда этот город наконец понял, что он превратил в скаковую дорожку путь из Сатпеновой Сотни к церкви. В то время мне было три года, и я, конечно, видела их и раньше, должна была

видеть. Но я этого не помню. Я даже не помню, что вообще когда-либо до этого воскресенья видела Эллен. Казалось, будто сестре, которой я никогда и в глаза не видала, которая еще до моего рождения исчезла в крепости людоеда или джинна, теперь позволили -- правда, всего лишь на один день -- воротиться в покинутый ею мир, а меня, трехлетнюю девочку, по этому случаю спозаранок подняли с постели, нарядили, завили, словно на рождество или на праздник даже еще важнее рождества, ибо теперь наконец этот людоед или джинн согласился ради жены и детей посетить церковь, разрешить им хотя бы приблизиться к спасенью, хотя бы один только раз дать Эллен возможность вступить с ним в борьбу за души этих детей на таком поле боя, где ее могло поддержать не только Провидение, но и ее родные, и люди ее круга; да, согласился хоть на время смириться, а если нет, то хотя бы ненадолго выказать великодушие, пусть даже и не раскаявшись. Вот чего я ожидала. А вот что я увидела, когда стояла перед церковью между папой и нашей тетей в ожидании, когда коляска пройдет эти двенадцать миль. И хотя я, наверное, еще до этого видела Эллен и детей, вот картина, которая впервые представилась мне тогда и которую я унесу с собою в могилу: летящая вихрем коляска, в коляске надменное белое лицо Эллен, по бокам у нее две уменьшенные копии его лица, на переднем сиденье лицо и зубы дикого негра-кучера, и он, его лицо точь-в-точь как у негра, кроме зубов (без сомнения, благодаря бороде) -- смерч, ураган; лошади с дико горящими глазами галопом несутся вперед, с грохотом вздымая клубы пыли.

О да, их там было множество -- тех, кто готов был подстрекать его, помогать ему, превратить это в скачки; воскресенье, десять часов утра, коляска на двух колесах вихрем подлетает прямо к дверям церкви, на

облучке этот дикий негр в человеческой одежде -- ни дать ни взять дрессированный тигр в полотняном пыльнике и в цилиндре, а Эллен -- ни кровинки в лице -- держит этих двоих детей, которые не плачут и которых вовсе не нужно держать; они сидят у нее по бокам совершенно спокойно, и на их детских лицах написано что-то бесконечно отвратительное -- тогда мы еще не совсем это распознали. О да, там было множество тех, кто его подстрекал, кто ему содействовал; ведь даже он не мог бы устроить скачки без соперников. Потому что его остановило даже не общественное мнение и даже не мужчины, чьи жены и дети сидели в колясках, которые могли перевернуться и свалиться в канаву, его остановил сам священник -- он выступил от имени женщин Джефферсона и округа Йокнапатофа. Поэтому сам он больше в церковь не ездил; теперь по воскресеньям в коляске сидела одна только Эллен с детьми, и потому мы теперь знали, что теперь по крайней мере никто не будет биться об заклад -- ведь никто не мог сказать, настоящие это скачки или нет, потому что теперь, когда его лица не было, оставалось только совершенно непроницаемое лицо негра, на котором слегка поблескивали зубы, так что теперь мы никак не могли понять, что это -- скачки или просто лошади понесли, а если где и было торжество, то лишь на лице в двенадцати милях отсюда, в Сатпеновой Сотне, на лице того, кому даже не нужно было ничего видеть или при сем присутствовать. Теперь негр, проезжая мимо чужой коляски, говорил с той упряжкой так же, как и со своей -- бормотал что-то без слов, очевидно не нуждаясь в словах, на языке, на котором они объяснялись, когда спали в глине на том самом болоте, на языке, привезенном сюда из другого темного болота, где он их отыскал и откуда привез сюда -- пыль, грохот, коляска Эллен стремглав подлетает к дверям церкви, женщины и дети с криком бросаются

врассыпную, мужчины хватают под уздцы своих лошадей. А негр высаживает Эллен с детьми у дверей и отъезжает с коляской к коновязи и бьет лошадей за то, что они понесли; а когда однажды какому-то дураку вздумалось вмешаться, негр набросился на него с палкой и, оскалив зубы, буркнул: "Хозяин велел, я делаю. Говори с хозяином".

Да, от них. От них же самих. И на этот раз его остановил даже не священник. Его остановила Эллен. Наша тетя разговаривала с папой, и когда я вошла, тетя сказала: "Ступай играть", хотя даже если б я не могла ничего расслышать сквозь дверь, я могла бы повторить весь их разговор: "Твоя дочь, твоя родная дочь", -- сказала тетя, а папа ей ответил: "Да. Она моя дочь. Когда она пожелает, чтобы я вмешался, она скажет мне об этом сама". Потому что в следующее воскресенье, когда Эллен вышла из парадных дверей с детьми, их ожидала не коляска, а фаэтон Эллен, запряженный старой смирной кобылой, которой она сама правила, и конюх, которого он купил, а не тот дикий негр. И Джудит, взглянув на фаэтон, поняла, что это значит, и завизжала; она визжала и брыкалась, когда ее несли обратно в дом и укладывали в постель. Нет, его при этом не было. Я даже не стану утверждать, будто за занавеской скрывалось торжествующее лицо. Вероятно, он удивился бы не меньше нас, потому что мы все поняли бы, что перед нами не просто детский каприз или даже истерика; что его лицо все время было в той коляске; что именно Джудит, шестилетняя девочка, подзуживала и подбивала этого негра пустить лошадей вскачь. Заметьте: не Генри, не мальчик, что уже само по себе было бы достаточно чудовищно, а именно девочка, Джудит. Я почувствовала это сразу, как только мы с папой в тот самый день вошли в эти ворота и по аллее направились к дому. Казалось, будто где-то в мирной тишине этого воскресного дня все еще существуют,

длятся вопли этой девочки, теперь уже не как звук, а как нечто такое, что слышит кожа, что слышат волосы на голове. Но я вначале ничего не спросила. Мне тогда было всего четыре года; я сидела в повозке рядом с папой так же, как стояла между ним и тетей перед церковью в то первое воскресенье, когда меня нарядили и в первый раз повели знакомиться с моею сестрой, племянником и племянницей, сидела и смотрела на дом. Я, разумеется, бывала в нем и раньше, но даже и тогда, когда я, сколько помню, увидела его впервые, мне казалось, будто я уже знаю, как он выглядит, -- совершенно так же мне казалось, будто я знала, как должны выглядеть Эллен и Джудит и Генри, прежде чем я увидела их в тот раз, который всегда вспоминается мне как первый. Нет, я даже и тогда ничего не спросила, я просто посмотрела на этот огромный тихий дом и сказала: "Папа, а в какой комнате лежит больная Джудит?" -- со свойственной ребенку способностью спокойно принимать необъяснимое, хотя теперь я знаю, что даже тогда мне хотелось понять, что увидела Джудит, когда, выйдя из дверей, она нашла вместо коляски фаэтон и вместо дикого негра -- ручного конюха; что именно она увидела в том фаэтоне, который всем остальным показался таким безобидным, или еще хуже, чего она недосчиталась, когда увидела фаэтон и завизжала. Да, был тихий мирный жаркий воскресный день, совсем как сегодня; я до сих пор помню полную тишину, царившую в этом доме, когда мы в него вошли, и по которой я сразу же поняла, что он отсутствует, хотя и не знала, что он сидит в виноградной беседке и пьет с Уошем Джонсом. Я лишь поняла, едва мы с папой переступили порог, что его там нет; словно ничуть не сомневалась, что ему вовсе незачем оставаться и созерцать свое торжество и что по сравнению со всем предстоящим это был просто пустяк, даже не заслуживающий нашего

внимания. Да, эта тихая затененная комната, закрытые ставни, негритянка с веером, сидящая у постели, а на подушке белое лицо Джудит с камфарной повязкой на лбу -- мне тогда показалось, будто она спит (весьма вероятно, это и было сном или могло быть названо сном), -- и белое спокойное лицо Эллен, и слова папы: "Ступай поищи Генри и попроси его поиграть с тобой, Роза", и вот я стою за этой глухой дверью в этой тихой верхней прихожей, потому что боюсь из нее выйти, потому что я слышу, что воскресная тишина этого дома даже громче, чем гром, даже громче, чем торжествующий смех.

"Подумай о детях", -- сказал папа.

"Подумать? -- отвечала Эллен. -- А я что делаю? Что еще я делаю бессонными ночами, как не думаю о них?" Ни папа, ни Эллен не сказали: "Вернись домой". Нет; это случилось до того, как вошло в моду для исправления своих ошибок поворачиваться к ним спиной и убегать. Всего только два тихих голоса за глухой дверью -- как будто они всего лишь обсуждали что-нибудь напечатанное в журналах; а я, маленькая девочка, стою у этой двери, потому что боюсь там оставаться, но еще больше боюсь оттуда уйти, неподвижно стою у этой двери, словно стараясь слиться с темным деревом и сделаться невидимой, как хамелеон, стою, прислушиваясь к живому духу, к душе этого дома, ибо теперь в него вошла какая-то частица жизни и дыхания Эллен, а не только его самого, стою и дышу долгим приглушенным звуком победы и отчаяния, торжества и страха.

"Ты любишь этого..." -- сказал папа.

"Папа", -- отозвалась Эллен. И это было все. Но я тогда могла видеть ее лицо так же ясно, как папа, и оно было точно такое, как в коляске в то первое воскресенье, да и в остальные тоже. Потом вошла служанка и сказала, что наша повозка готова.

Да. От них же самих. Не от него, не от кого-либо другого, ведь и спасти их не мог бы никто, даже он сам. Ибо теперь он показал нам, почему это торжество не заслуживало его внимания. То есть он показал это Эллен, а не мне. Меня там не было; я уже шесть лет почти ни разу с ним не встречалась. Наша тетя уже уехала, и я вела папино хозяйство. Вероятно, раз в год мы с папой ездили туда обедать, и, может быть, раза четыре в год Эллен с детьми приезжала провести день у нас. Но только не он; сколько я помню, после свадьбы с Эллен он ни разу не переступил порог этого дома. Я тогда была молода, я была даже слишком молода и поэтому думала, что причина тому -какие-то упрямые укоры совести, чуть ли не раскаяние, даже и у него. Но теперь меня не проведешь. Теперь я знаю, что, коль скоро папа наделил его женой и тем самым респектабельностью, ему от папы ничего больше не требовалось, и потому даже простая благодарность, не говоря уже о приличиях, не могла заставить его поступиться своими развлечениями до такой степени, чтобы приехать на семейный обед к родственникам жены. Поэтому я виделась с ними очень редко. Мне теперь некогда было играть, даже если бы я когда-нибудь прежде имела к этому склонность. Я так никогда и не научилась играть и не видела причины учиться теперь, будь у меня даже на это время.

Прошло шесть лет; для Эллен это, конечно, не было тайной, ибо это, очевидно, продолжалось с тех самых пор, как он вбил последний гвоздь в стену своего дома; только теперь, в отличие от его холостяцкой поры, они привязывали свои упряжки и верховых лошадей и мулов в роще за конюшней, а потом шли лугом, так что из дома их не было видно. Ибо их все еще было очень много; казалось, словно бог или дьявол воспользовался его пороками, чтобы подобрать свидетелей тому, как действует лежащее на нас проклятье, не только из

числа порядочных людей вроде нас самих, а из числа самых что ни на есть проходимцев и подонков общества, которые ни при каких иных обстоятельствах не посмели бы приблизиться к дому, даже и со стороны задворков. Да, Эллен с двумя детьми одни в этом доме, за двенадцать миль от города, а на конюшне четырехугольной рамкою лица, освещенные фонарем; с трех сторон белые, с четвертой -- черные, а посередине борются два диких голых негра, борются не так, как белые, по правилам и с оружием, а так, как дерутся негры, стараясь побыстрее и посильнее покалечить друг друга; Эллен об этом знала или думала, что знает; дело было не в этом. Это она приняла -- не примирилась, а приняла, -- словно порой наступает минута, когда человек может принять оскорбление чуть ли даже не с благодарностью, ибо он может сказать себе: {слава богу, это все, теперь я па крайней мере все об этом знаю} -- думая так, все еще цепляясь за эту мысль, она в тот вечер вбежала в конюшню, те самые люди, которые прокрались туда по задворкам, расступились перед ней, ибо в них еще сохранились какие-то остатки благопристойности, и Эллен увидела не двух диких черных зверей, как ожидала, а черного и белого -- обнаженные до пояса, они пытались выдавить друг другу глаза, словно оба были не только одного цвета, но и в равной мере заросли шерстью. Да. По-видимому, в некоторых случаях, возможно к концу вечера, в качестве пышного финала или просто заранее придумав это дьявольское действо для утверждения своей власти и превосходства, он сам выходил на арену с одним из негров. Да. Именно это и увидела Эллен: ее муж, отец ее детей, стоял, задыхаясь, обнаженный до пояса и окровавленный, а у ног его лежал, очевидно, только что упавший негр, тоже весь в крови, только на негре кровь выглядела как сало или пот, -- Эллен сбежала с холма, на котором стоял дом, с непокрытой

головой и как раз успела услышать этот звук, этот крик; она слышала его, еще когда бежала в темноте и еще до того, как зрители заметили ее присутствие, слышала даже до того, как один из зрителей сказал: "Это лошадь", потом: "Это женщина", потом: "О господи, это ребенок", -- она вбежала в конюшню, зрители расступились, и она увидела, как Генри с криком вырывается из рук державших его негров и как его тошнит, -- не останавливаясь и даже не глядя на лица тех, кто от нее отпрянул, она опустилась на колени в навоз на полу конюшни, чтобы поднять Генри, не глядя и на Генри, а только на него, а он стоял, оскалив зубы, которые теперь виднелись даже из-под бороды, и другой негр мешком стирал с него кровь. "Я знаю, что вы извините нас, господа", -- сказала Эллен. Но они уже уходили, и черномазые и белые, потихоньку прокрадываясь наружу, как прежде прокрадывались внутрь, и Эллен теперь не смотрела и на них, она стояла на коленях в грязи, Генри с плачем за нее цеплялся, а он все еще стоял там, между тем как третий негр тыкал в него не то рубашкой, не то сюртуком, словно этот сюртук был палкой, а он -- змеей в клетке. "Где Джудит, Томас?" -- спросила Эллен.

"Джудит?" -- отозвался он. О нет, он не лгал; его торжество превзошло все его ожидания, он преуспел в пороке даже больше, чем сам мог надеяться. "Джудит? Разве она не спит?"

"Не лги мне, Томас, -- сказала Эллен. -- Я могу понять, что ты привел сюда Генри показать ему это, что ты хотел показать ему это; я постараюсь это понять; да, я заставлю себя постараться и понять. Но только не Джудит, Томас. Только не мою крошку, Томас".

"Я не думаю, что ты это поймешь, -- сказал он. -- Ведь ты женщина. Но я не приводил сюда Джудит. Я бы ни за что не привел ее сюда. Не думаю, что ты мне поверишь. Но я клянусь тебе, что это правда".

"Я бы хотела тебе верить, -- сказала Эллен. -- Я хочу тебе верить". Потом она стала звать. "Джудит! -- звала она тихим, ласковым, полным отчаяния голосом. -- Джудит, детка! Тебе пора спать".

Но меня там не было. Меня там не было, и в тот раз я не видела, как черты Сатпена проступили на двух лицах -- на лице Джудит и на лице девочки-негритянки рядом с нею, -- они обе смотрели вниз через квадратный люк, ведущий на сеновал.

II

Все то лето буйно цвела глициния. Сумерки были полны ее ароматом и запахом сигары его отца -- после ужина они оба сидели на галерее в ожидании, когда Квентину пора будет выезжать, между тем как в густом лохматом газоне беспорядочно кружились светляки, -- этот запах, этот аромат пять месяцев спустя письмо мистера Компсона через суровые снега, надолго сковавшие Новую Англию, донесет из Миссисипи до комнаты Квентина в Гарварде. Весь этот день он слушал -- слушал и услышал в 1909 году о том, что по большей части было ему уже известно, ибо он родился там и все еще дышал тем же воздухом, в котором звонили церковные колокола в то воскресное утро 1833 года, а по воскресеньям слышал даже звон одного из первых трех колоколов с той же самой колокольни, вокруг которой потомки тех самых голубей кичливо расхаживали, ворковали или описывали короткие круги, напоминающие бледные мазки жидкой краски на бледном летнем небе. В то воскресное июньское утро, под мирный, настойчивый, не совсем гармоничный -- хоть и в такт, но чуть фальшивый -колокольный звон к церкви направлялись дамы с детьми и дворовые негры с зонтами и метелками от мух и даже несколько мужчин (дамы в кринолинах среди мальчиков, одетых в суконные костюмчики, и девочек в панталончиках, в юбках тех времен, когда дамы не ходили, а

шествовали), а когда другие мужчины, сидевшие на веранде Холстон-Хауса, задрав ноги на перила, подняли глаза, перед ними откуда ни возьмись явился незнакомец. Когда они его увидели, он на своем крупном заезженном чалом коне доехал уже до середины площади -словно и человек и животное прямо с неба свалились под яркое солнце праздничного летнего дня, продолжая свой мерный утомленный шаг -- лицо и лошадь, которых никто из них никогда прежде не видел, имя, которого никто никогда не слыхал, происхождение и цель, о которых многие из них так никогда и не узнают. И вот последующие четыре недели (Джефферсон был тогда маленьким поселком: Холстон-Хаус, здание суда, шесть лавок, кузница и извозчичий двор, салун, излюбленный гуртовщиками и бродячими торговцами, три церкви и что-то около тридцати жилых домов) имя незнакомца переходило из уст в уста в домах и трактирах, где собирались деловые люди и бездельники, без устали повторяемое на разные лады, как строфа и антистрофа: {Сатпен. Сатпен. Сатпен. Сатпен}.

Больше город о нем почти целый месяц ничего не узнает. Он, несомненно, приехал в город с юга -- мужчина лет двадцати пяти, как городу стало известно позднее: вначале возраст его угадать было трудно, ибо он выглядел как человек, перенесший тяжелую болезнь. Не как человек, который мирно лежал больной в постели и, выздоровев, с робким недоверчивым изумлением вышел в мир, который, как ему казалось, он едва не утратил, а как человек, который в полном одиночестве прошел через какое-то тяжкое испытание, нечто гораздо большее, чем простая лихорадка, скажем, как исследователь, которому пришлось не только вынести обычные тяготы, связанные с достижением цели, им же самим поставленной, но который еще столкнулся с дополнительным и

непредвиденным препятствием в виде лихорадки и победил ее ценою непомерно высокого напряжения сил -- не столько физических, сколько духовных, один, без чьей-либо помощи, и не посредством слепого инстинктивного стремления выдержать и выжить, а потому, что хотел захватить, удержать ту вещественную награду, ради которой вначале пошел на жертвы, и ею насладиться. Крупный мужчина, но теперь до последней степени исхудавший, с короткой рыжеватой бородкой -- она почему-то казалась фальшивой, -- поверх которой его светлые глаза смотрели сразу и пронзительно и недоверчиво, жестко и безмятежно; лицо словно из глины, обожженной в лихорадочном огне -- то ли души, то ли внешней среды -- глубже чем на солнце, под мертвым непроницаемым слоем глазури. Вот и все, что они увидели, и прошло много лет, прежде чем городу стало известно, что в то время это составляло все его имущество -- крепкая изнуренная лошадь, одежда на плечах и маленькая седельная сумка, едва вмещавшая смену белья, бритву и ту самую пару пистолетов, о которых мисс Колдфилд говорила Квентину, с рукоятками, отшлифованными гладко, как ручка лопаты, и которыми он орудовал так уверенно, как женщины -- вязальными спицами; позже дед Квентина видел, как он, проскакав галопом мимо молодого деревца, с двадцати футов всадил две пули в игральную карту, приколотую к ветке. Он снял комнату в Холстон-Хаусе, но ключ от нее всегда носил с собой и каждое утро кормил и седлал свою лошадь и задолго до рассвета уезжал, куда -- городу тоже не удалось узнать, очевидно, благодаря тому, что он продемонстрировал свое искусство стрельбы из пистолета уже на третий день после приезда. Поэтому узнавать о нем что-либо оставалось только путем вопросов, а их поневоле приходилось ставить вечерами, за ужином в столовой Холстон-Хауса или в гостиной, через которую ему нужно

было пройти, чтобы попасть к себе в комнату и снова запереть дверь, что он и проделывал сразу же после еды. Бар тоже выходил в гостиную, и вот тут-то и можно или нужно было бы с ним заговорить или даже задать ему кой-какие вопросы, но оказалось, что в бар он не заглядывал. Он сказал, что вообще не пьет. Он не говорил, что раньше выпивал, а потом бросил или что вообще никогда не употреблял спиртного. Он просто сказал, что выпивка его не интересует, и лишь спустя много лет дед Квентина (он тогда тоже был молод; пройдет еще много лет, прежде чем он станет генералом Компсоном) узнал, что Сатпен не пил, потому что у него не было денег платить за свою долю и самому ставить угощение; именно генерал Компсон первым понял, что в те дни у Сатпена не было не только денег на выпивку в веселой компании, но не было также ни времени, ни желания, что в те дни он был всецело рабом своего тайного безумного нетерпения, своей уверенности, почерпнутой из его недавнего, неведомо какого опыта -- этой лихорадки, то ли духовной, то ли физической, этой потребности торопиться, потому что время уходит из-под ног; все это будет подстегивать его следующие пять лет, -- согласно подсчету генерала Компсона, он угомонился приблизительно за девять месяцев до рождения своего сына.

Итак, они подстерегали, ловили его в гостиной, между столом, накрытым для ужина, и его запертой дверью, чтобы дать ему возможность рассказать им, кто он такой, откуда приехал и чего добивается, он же постепенно и неуклонно отступал, пока спина его не касалась чего-нибудь -- стены или столба, а потом стоял там, не отвечая им ничего вразумительного с учтивостью и любезностью гостиничного портье. Свои дела он вел с индейским агентом племени чикасау или через него, и потому лишь в ту субботнюю ночь, когда

он, раздобыв купчую или патент на право владения землей и с одной лишь испанской золотой монетой в кармане, разбудил мирового судью, город узнал, что отныне он владеет сотней квадратных миль лучшей пойменной девственной земли во всем крае, хотя и эти сведения слишком запоздали, потому что сам Сатпен уехал, опять неизвестно куда. Но теперь он владел землею по соседству с ними, и некоторые начали подозревать то, что генерал Компсон, по-видимому, уже знал: а именно, что испанская монета, которой он заплатил за регистрацию своего патента на право владения землей, была последней из всех денежных единиц, какими он располагал. Поэтому теперь все были убеждены, что он отправился за другими; несколько человек в своей уверенности даже опередили (и даже произнесли это вслух, ведь его тут не было) будущую, тогда еще не родившуюся на свет свояченицу Сатпена, которая почти восемьдесят лет спустя скажет Квентину, что он нашел какой-то единственный в своем роде надежный способ прятать добычу и вернулся к своему тайнику наполнить карманы, а скорее всего попросту отправился с пистолетами обратно к Реке, к пароходам, набитым картежниками, а также торговцами рабами и хлопком, чтобы пополнить этот тайник. По крайней мере именно это некоторые и рассказывали друг другу, когда два месяца спустя он возвратился -- опять без всякого предупреждения, -причем на сей раз его сопровождал крытый фургон, которым правил кучер-негр, а рядом с негром сидел маленький человечек с выражением настороженной покорности судьбе на угрюмом изможденном романском лице, облаченный в сюртук, в цветастый жилет и в шляпе, которая была бы уместной разве что на парижских бульварах, и все это -- мрачный театральный наряд и выражение фаталистической и изумленной решимости -- он будет неизменно сохранять

два последующих года, между тем как и его белый клиент и негритянская команда, которой он будет отдавать приказания, да и то лишь косвенно, будут ходить совершенно голыми, если не считать слоя засохшей грязи. То был француз-архитектор. Много лет спустя городу станет известно, что он приехал с далекой Мартиники, доверившись одним только словесным обещаниям Сатпена, и прожил два года, питаясь зажаренной на костре олениной, в палатке, сооруженной из парусины, которой был обтянут фургон, прежде чем ему хоть в какой-то форме заплатили. И до тех пор, пока он два года спустя не проедет через Джефферсон по пути в Новый Орлеан, он так больше никогда и не увидит города; то ли он сам не хотел туда ехать, то ли Сатпен не брал его с собою в город даже в тех редких случаях, когда Сатпена там видели, а в тот первый день он не успел как следует осмотреть Джефферсон, потому что фургон там не остановился. Очевидно, Сатпен вообще проехал через город по чисто географической случайности, остановившись лишь на короткое время, достаточное, однако, для того, чтобы кто-то (не генерал Компсон) успел заглянуть под навес фургона в наполненный неподвижными белками глаз черный туннель, из которого несло смрадом, как из волчьей норы.

Однако легенда о диких сатпеновских неграх возникнет не сразу, потому что фургон шел вперед, словно даже самое дерево и железо, из которых он был сделан, равно как и тащившие его мулы, в силу одной только связи с Сатпеном прониклись стремлением к свирепой неустанной гонке, убежденностью, что надо спешить, ибо время уходит; позже Сатпен рассказал Квентинову деду, что, когда они проезжали через Джефферсон, они уже сутки ничего не ели, и он старался побыстрее добраться до Сатпеновой Сотни и до поймы реки, чтобы засветло убить оленя, а иначе ему

самому, архитектору и неграм пришлось бы снова лечь спать на голодный желудок. Итак, легенда о дикарях постепенно возвращалась обратно в город; ее принесли с собою мужчины, которые ездили смотреть, что там творится, и которые рассказывали, как Сатпен со своими пистолетами сидел в засаде у звериной тропы, а негров, словно свору гончих, пускал рыскать по болоту; именно эти мужчины рассказали, как тем первым летом и осенью у негров не было даже одеял (а может, они ими не пользовались), чтобы укрываться по ночам; это было даже еще до того, как охотник за енотами Эйкерс уверял, будто чуть не поднял одного негра, спавшего в глубокой грязи -- ни дать ни взять аллигатор, -- но успел вовремя вскрикнуть. Негры еще не умели говорить по-английски, и не только Эйкерс, но и многие другие наверняка не знали, что язык, на котором они объясняются с Сатпеном, -- нечто вроде французского, а вовсе не какой-то темный и зловещий язык их племени.

Туда наведывались и многие другие, кроме Эйкерса, но это были почтенные граждане и землевладельцы, и потому им вовсе не нужно было прокрадываться в лагерь по ночам. Они, как рассказала Квентину мисс Колдфилд, собирались в Холстон-Хаусе и выезжали туда верхом, часто захватив с собою завтрак. Сатпен построил печь для обжига кирпича, установил пилу и строгальный станок, которые привез с собою в фургоне, а также лебедку с длинным воротом из молодого деревца, в который посменно впрягались негры и мулы, а в случае необходимости, когда машина замедляла ход, даже и он сам, -- словно негры и в самом деле были дикари; как генерал Компсон рассказывал своему сыну -Квентинову отцу -- пока негры работали, Сатпен никогда не повышал на них голос, он вел их за собой, воздействуя на них психологически, своим примером, превосходством своей выдержки, а вовсе не грубым запугиванием. Не слезая с седел (Сатпен обычно не

удостаивал их даже небрежным кивком, явно не замечая их присутствия, словно это были всего лишь безликие тени), они, молча сгрудившись, будто для самозащиты, с любопытством наблюдали, как растет его особняк -- доска за доскою и кирпич за кирпичом поставлялись туда с болота, где было вдоволь леса и глины, наблюдали, как работают бородатый белый и двадцать черных, все совершенно голые под липкой всепроникающей грязью. Поскольку эти зрители были мужчинами, им не приходило в голову, что костюм, в котором Сатпен явился в Джефферсон, у него единственный, а из женщин округа почти ни одна вообще ни разу его не видела. В противном случае некоторые из них предвосхитили бы мисс Колдфилд также и в этом: они догадались бы, что он бережет свою одежду, ибо приличный, если не элегантный вид станет единственным оружием (или, вернее, лестницей), с помощью которого он сможет повести последнюю атаку на то, что мисс Колдфилд, а возможно и другие, почитали респектабельностью, а респектабельность, как в глубине души полагал Сатпен, включает в себя нечто гораздо большее, чем просто приобретение хозяйки для своего дома, -- так, по крайней мере, понимал его мысль генерал Компсон. И вот он и его двадцать негров работали вместе, намазанные грязью для защиты от москитов, причем, как сказала мисс Колдфилд Квентину, от остальных его можно было отличить только по бороде и по глазам, и один лишь архитектор похож был на человека, благодаря французской одежде, которую он постоянно носил с какой-то неодолимой покорностью судьбе вплоть до того дня, когда дом был окончен (не считая оконных стекол и железной арматуры, которых они не могли изготовить своими руками), и когда архитектор уехал -- работали молча, с неослабным остервенением под палящим солнцем лета и в ледяной зимней грязи.

Это заняло у него два года, у него и его команды привозных рабов, которые все еще казались его приемным согражданам гораздо страшнее любого дикого зверя, какого он мог бы поднять и убить в тех местах. Они работали от зари до зари, между тем как группы всадников подъезжали и, не спешиваясь, молчаливо смотрели, а архитектор, в своем нарядном сюртуке и в парижской шляпе, с угрюмым и ожесточенным изумлением на лице скрывался где-то на заднем плане, напоминая нечто среднее между случайным, ничуть не заинтересованным зрителем и обреченным добросовестным призраком --изумлением, как сказал генерал Компсон, не столько перед остальными и их работой, сколько перед самим собой, перед необъяснимым и невероятным фактом своего здесь присутствия. Однако он был хорошим архитектором; Квентин видел этот дом, в двенадцати милях от Джефферсона, окруженный рощей из дубов и виргинских можжевельников, через семьдесят пять лет после его завершения. И не только архитектором, но, как сказал генерал Компсон, еще и художником, ибо лишь художник мог выдержать эти два года, чтобы построить дом, который он, без сомнения, не только не собирался, но и твердо намеревался никогда больше не видеть. Да, целых два года терпеть не столько издевательство над здравым смыслом и оскорбление своих лучших чувств, сколько Сатпена, сказал генерал Компсон; лишь художник мог терпеть жестокость и спешку Сатпена и все же суметь обуздать мечту о мрачном величавом замке, на который явно нацелился Сатпен, ибо усадьба в том виде, как он ее задумал, была бы лишь немногим меньше тогдашнего Джефферсона, и маленький угрюмый измученный иностранец один на один сразился и победил неистовое непомерное тщеславие Сатпена или стремление к величию, к самоутверждению или к чему-то другому

(этого не знал еще даже и сам генерал Компсон) и таким образом создал из самого пораженья Сатпена победу, которой самому Сатпену -- даже выиграй он эту битву -- едва ли удалось бы добиться.

Итак, дом был закончен -- до последней доски, кирпича и деревянной шпильки, которые они могли изготовить сами. Непокрашенный и необставленный, без единого стекла, дверной ручки или щеколды, в двенадцати милях от города и почти на таком же расстоянии от любого соседа, он простоял еще три года, окруженный своим регулярным садом и прямыми аллеями, хижинами рабов, конюшнями и коптильнями; дикие индюки бродили в одной миле от дома, а дымчатые олени легким шагом подбегали совсем близко, оставляя еле заметные следы на симметричных клумбах, которые еще четыре года простоят без цветов. Теперь начался период, фаза, когда город и округ наблюдали за ним даже с еще большим недоуменьем. Возможно, это было потому, что следующий шаг к достижению той тайной цели, о которой генералу Компсону, по его словам, было известно, но которую город и округ представляли себе весьма смутно или вообще никак не представляли, требовал теперь терпения и пассивного выжидания вместо бешеной гонки, к которой он их приучал; что именно ему нужно и каков будет его следующий шаг, первыми заподозрили женщины. Никто из мужчин, и уж конечно не те, кто знал его достаточно хорошо, чтобы называть просто по имени, не подозревали, что ему требуется жена. Не подлежит сомнению, что некоторые мужчины -- и женатые и холостые -- не только не согласились бы с таким предположением, но даже решительно его бы отвергли, ибо образ его жизни в последующие три года должен был им казаться верхом совершенства. Он жил там в восьми милях от ближайшего соседа, в холостяцком одиночестве, в поистине великолепной --

как бы ее назвать? ну, скажем, оружейне площадью в пол-акра. Он жил в спартанской оболочке самого большого строения во всем округе, не исключая даже здания суда, в доме, порога которого ни одна женщина не только не переступала, но даже и не видела, без всяких атрибутов женской изнеженности вроде оконных рам, дверей или тюфяков; там, где не только не было ни единой женщины, которая могла бы возразить, если б ему вздумалось спать на одной соломенной подстилке с собаками, но где ему даже не требовались собаки, чтобы убивать оленей, оставлявших следы возле дверей на кухню, ибо вместо них он охотился с двуногими, которые были ему преданы душой и телом и которых считали (или говорили, что считают) способными подползти к спящему оленю и перерезать ему горло прежде, чем он успеет шевельнуться.

Именно в это время он, как мисс Колдфилд рассказывала Квентину, начал приглашать в Сатпенову Сотню компании мужчин; они ночевали, укрывшись одеялами, в голых комнатах, в пустых вместилищах будущей роскоши, охотились, по вечерам играли в карты и пили; время от времени он стравливал своих негров, а возможно уже и тогда при случае и сам участвовал в этой забаве -зрелище, которого, по словам мисс Колдфилд, сын его не мог выдержать, тогда как дочь его, напротив, во все глаза за ним следила. Сатпен теперь тоже выпивал, хотя кроме Квентинова деда были, вероятно, и другие, кто заметил, что пил он весьма умеренно, за исключением тех случаев, когда спиртное ставил он сам. Гости постоянно привозили с собой виски, но он пил как бы со скрупулезным расчетом, словно, как говорил генерал Компсон, старался сохранить некую духовную платежеспособность, баланс между количеством виски,

принятым им от гостей, и количеством живого мяса, которое он поставлял для их ружей.

Так он прожил три года. Теперь у него была плантация; за два года он выдрал дом и сад из девственного болота, вспахал свою землю и засеял ее семенами хлопка, которыми ссудил его генерал Компсон. После этого он, казалось, бросил все свои дела. Казалось, он просто уселся посреди того, что уже почти завершил, и сидел так три года, не выказывая ни малейшего признака еще каких-либо намерений или желаний. Пожалуй, не приходится удивляться, что мужчины округа поверили, будто жизнь, какую он теперь вел, с самого начала была его целью; иного мнения придерживался, пожалуй, один только генерал Компсон, который, казалось, знал Сатпена достаточно хорошо, чтобы для начала ссудить его семенами хлопка, и которому тот хоть немного рассказал о своем прошлом. Именно генерал Компсон первым узнал, что испанская монета была у него последней, и именно Компсон (как в городе стало известно позже) предложил Сатпену в долг деньги для завершения и меблировки его дома, но тот отказался. Вот почему генерал Компсон, без сомнения, первым во всем округе сказал себе, что Сатпену не нужно брать в долг деньги для окончательной отделки дома, потому что он намерен на этих деньгах жениться. Он был первым мужчиной, который это понял, ибо, судя по тому, что мисс Колдфилд рассказала Квентину семьдесят пять лет спустя, женщины округа говорили друг другу, а также и своим мужьям, что Сатпен не собирается на этом кончать, что он приложил уже слишком много усилий, перенес слишком много тягот и лишений, чтобы угомониться и жить так, как он жил, пока дом строился, хотя теперь он может спать под крышей, а не на голой земле под парусиной, снятой с фургона. Вероятно, женщины уже прикидывали, у кого из мужчин, которых

теперь можно было назвать его друзьями, имеется в семье предполагаемая невеста, чье приданое могло бы сообщить окончательную форму и содержание той респектабельности, которую мисс Колдфилд так или иначе считала его целью. И поэтому когда по истечении этой второй фазы, через три года после того, как дом был закончен, а архитектор уехал, и снова в воскресенье утром и снова без всякого предупреждения город увидел, как он пересекает площадь -- на сей раз пешком, хотя и в том же костюме, в котором въехал в город пятью годами раньше и которого с тех пор никто не видел (он сам или один из его негров гладил сюртук раскаленными кирпичами, сказал генерал Компсон отцу Квентина) -- и входит в методистскую церковь, удивились этому лишь некоторые мужчины. Женщины просто сказали, что он исчерпал возможности семейств тех мужчин, с которыми охотился и играл в карты, и теперь явился в город искать себе жену -- точно так же, как отправился бы на рынок в Мемфис покупать рабов и скот. Но когда они поняли, на кого именно пал его выбор, ради кого он явился в город и в церковь, уверенность женщин слилась с удивлением мужчин, а потом превратилась даже в нечто большее -- в изумленье.

Ибо к этому времени город решил, что хорошо его знает. Два года он наблюдал, как Сатпен с этим своим угрюмым и неослабным остервененьем возводит оболочку дома и расчищает свои земли, затем три года пребывает в полной неподвижности, словно его приводило в действие электричество, а потом кто-то пришел и убрал, размонтировал провода или всю динамо-машину. И потому, когда он в своем отглаженном сюртуке тем воскресным утром вошел в методистскую церковь, многие мужчины и женщины думали, что им достаточно оглядеть прихожан, дабы предугадать, в какую сторону поведут его ноги, как

вдруг они поняли, что он, очевидно, наметил себе отца мисс Колдфилд, и притом с таким же холодным жестоким расчетом, с каким наверняка прежде наметил архитектора-француза. Глубоко потрясенные, они наблюдали, как он начал планомерную осаду единственного во всем городе человека, с которым он не мог иметь ничего общего, а уж денег и подавно, -- человека, который не мог решительно ничем быть ему полезен, разве что предоставить кредит в захудалой лавчонке или подать за него свой голос, если б ему когда-либо вздумалось выставить свою кандидатуру на должность методистского священника, -- начал осаду казначея методистской церкви, лавочника не только со скромным положением и средствами, но уже обремененного женой и детьми, не говоря о матери и сестре -- всех их он должен был содержать на доход от лавки, весь товар которой он десятью годами ранее привез в Джефферсон в одном-единственном фургоне, -- человека, пользующегося репутацией исключительной и несгибаемой, даже пуританской праведности в стране, где в те времена царили беззаконие и произвол, человека, который не пил, не играл в карты и даже не ходил на охоту. В своем удивлении они забыли о том, что у мистера Колдфилда была дочь на выданье. Дочь они совсем не приняли в расчет. Мысль о любви никак не вязалась у них с Сатпеном. Им скорее приходила на ум мысль о жестокости, а не о справедливости, о страхе, а не об уважении, и уж никак не о сострадании или любви; к тому же они, все еще теряясь в догадках, толковали о том, как Сатпен намерен или как он ухитрится использовать мистера Колдфилда в тех тайных целях, которые у него еще оставались. Этого они так никогда и не узнают: этого не узнала даже мисс Роза Колдфилд. Ибо с того самого дня в Сатпенову Сотню больше никого на охоту не приглашали, и если теперь им случалось его видеть, то лишь в городе.

Однако не без дела, не праздным. Мужчины, которые прежде ночевали и пили под его крышей (кое-кто даже стал называть его просто "Сатпен" без учтивого "мистер"), смотрели, как он проходит по улице мимо Холстон-Хауса, едва касается рукою шляпы, идет дальше, входит в лавку мистера Колдфилда -- и поминай как звали.

-- А потом в один прекрасный день он вторично уехал из Джефферсона, -сказал мистер Компсон Квентину. -- К тому времени городу уже пора было к этому привыкнуть. Тем не менее его положение чуточку изменилось, и ты сам в этом убедишься, узнав, как город отнесся к его вторичному возвращенью. Ибо когда он вернулся во второй раз, он в известном смысле стал врагом общества. Возможно, это произошло из-за того, что он на этот раз привез с собой, -из-за вещей, которые он на этот раз привез -- в отличие от фургона, груженного всего лишь дикими черномазыми, привезенными им прежде. Но я этого не думаю. То есть, я думаю, дело было не только в цене люстр, красного дерева и ковров. Я думаю, город возмутился, когда понял, что Сатпен втягивает его в свои дела, что, каково бы ни было преступное деяние, посредством коего были добыты красное дерево и хрусталь, он вынуждает город его покрыть. До тех пор, до того воскресенья, когда он явился в церковь, если он кого и обманул или обидел, то всего лишь старика Иккемотуббе, от которого он получил свою землю -- сделка, о которой знали только его совесть, дядюшка Сэм да господь бог. Но теперь его положение изменилось, ибо, когда спустя три месяца после его отъезда из Джефферсона навстречу ему выехали к Реке четыре фургона, все знали, что их нанял, снарядил и отправил не кто иной, как мистер Колдфилд. Это были большие фургоны, запряженные волами, и, когда они возвратились, город посмотрел на них и понял: что бы в

них ни содержалось, мистер Колдфилд не смог бы набрать достаточно денег, чтобы их наполнить, даже если б он заложил все свое имущество; без сомнения, на этот раз скорее мужчины, чем женщины, во время этой его отлучки представили себе его действия так: он стоит в кают-компании парохода, лицо закрыто носовым платком, стволы обоих пистолетов поблескивают в свете канделябров; а быть может, еще и похуже: притаившись на скользком причале, он в предательской тьме вонзает кому-то в спину нож. Они видели, как он верхом на чалой лошади сопровождает свои четыре фургона, и даже те, кто прежде ел его хлеб, стрелял его дичь и даже называл его просто "Сатпен" без "мистера", даже и они теперь не пытались вступить с ним в разговор. Они просто ждали, а тем временем города достигли рассказы и слухи о том, как он и его теперь более или менее приручeнные негры прилаживали окна и двери, размещали на кухне горшки и сковородки, развешивали в комнатах хрустальные люстры и гардины, расставляли мебель, расстилали ковры; в один прекрасный вечер тот самый Эйкерс, который пятью годами раньше чуть не наступил на спящего в болоте негра, вытаращив глаза и разинув рот, ворвался в бар Холстон-Хауса с криком: "Ребята, на этот раз он ограбил целый пароход!"

И тут наконец гражданская добродетель взыграла. Однажды человек восемь или десять во главе с шерифом округа отправились в Сатпенову Сотню. Далеко им ехать не пришлось, потому что милях в шести от города они встретили самого Сатпена. Он сидел верхом на своей чалой лошади в знакомом им сюртуке и в касторовой шляпе, прикрыв ноги куском парусины; к луке седла была приторочена дорожная сумка, а в руках он держал небольшую плетеную корзинку. Он осадил чалого (стоял апрель месяц, и дорога все еще была покрыта непролазной грязью) и

сидел в своей забрызганной парусине, переводя взгляд с одного лица на другое; твой дед говорил, что глаза его напоминали осколки разбитой тарелки, а борода была жесткая, как скребница. Он так и сказал: жесткая, как скребница. "Доброе утро, господа, -- произнес он. -- Вы ко мне?"

Возможно, в то время стало известно что-нибудь еще, но, сколько я знаю, никто из членов комитета бдительности об этом не упоминал. Я только слышал, что город, мужчины на веранде Холстон-Хауса увидели, как Сатпен и вся компания вместе въезжают на площадь -- Сатпен немного впереди, а остальные беспорядочной кучкой за ним; Сатпен сидит, аккуратно прикрыв ноги парусиной, распрямив плечи под поношенным суконным сюртуком, слегка заломив набекрень поношенную касторовую шляпу, и разговаривает с ними через плечо, а эти его светлые глаза смотрят холодно, дерзко, пожалуй, насмешливо, а возможно, уже и тогда презрительно. Он останавливается у дверей, негр-конюх подскакивает, придерживает голову лошади, и Сатпен спешивается, берет свою сумку и корзинку и поднимается по ступенькам, и как мне рассказывали, поворачивается, еще раз взглядывает на них и видит, что они, съежившись, сидят на своих лошадях и не знают, что делать дальше. И наверное, даже хорошо, что борода у него закрывала рот, и он им не был виден. Потом он повернулся и посмотрел на других мужчин, которые сидели, задрав ноги на перила, и тоже на него смотрели, на мужчин, которые еще недавно приезжали к нему, спали у него на полу и охотились вместе с ним, и приветствовал их этим своим спесивым напыщенным жестом, приложив руку к шляпе (да, он был дурно воспитан. Твой дед говорил, что это ясно обнаруживалось всякий раз, как он сталкивался с людьми. Он напоминал Джона Л. Салливена, который с

великим трудом выучился танцевать шотландку -- тайком упражнялся и упражнялся, пока не счел, что теперь уже можно не прислушиваться к музыке. Возможно, Сатпен думал, что твоему деду или судье Бенбоу это далось бы немножко легче, чем ему, но ни за что не поверил бы, что кто-нибудь может лучше его знать, когда это надо делать и как. И кроме того, это было написано у него на лице; именно в этом, по словам твоего деда, и заключалась его сила -- при виде него каждый мог сказать: {В случае необходимости этот человек может сделать и сделает что угодно}). Затем он вошел в дом и потребовал себе комнату.

И вот они сидели на лошадях и ждали его. Я полагаю, они знали, что рано или поздно ему придется выйти; я полагаю, что они сидели и думали об этой его паре пистолетов. Понимаешь, дело в том, что все еще не было ордера на его арест; просто общественное мнение перестало его переваривать; а потом на площадь выехали новые всадники и тоже поняли что к чему, так что, когда он вышел на веранду, там в ожидании его собрался целый отряд. Теперь на нем была новая шляпа и новый суконный сюртук, и так они узнали, что лежало у него в сумке. Теперь они даже узнали, что лежало у него в корзинке, потому что ее при нем теперь тоже не было. Без сомнения, в то время это просто сильно их озадачило, потому что они, видишь ли, были слишком заняты пересудами насчет того, как именно он собирается использовать мистера Колдфилда, и к тому же после его возвращения слишком сильно негодовали по поводу того, что им казалось результатами его деятельности, далее если средства все еще оставались для них загадкой, чтобы вообще вспомнить про мисс Эллен.

Итак, он, без сомнения, снова остановился и снова начал переводить взгляд с одного лица на другое, без сомнения, неторопливо запоминая новые лица, а борода

все еще скрывала то, что мог бы выдать его рот. Но на этот раз он, по-видимому, не сказал ни слова. Он просто спустился по ступенькам и пошел через площадь, а отряд (твой дедушка говорил, что к тому времени в нем набралось уже человек до пятидесяти) тоже двинулся и последовал за ним. Говорят, он даже не оглянулся. Он просто шел вперед, держась очень прямо и заломив набекрень новую шляпу, а в руке у него теперь находился предмет, который они наверняка сочли за последнее, ничем не вызванное оскорбление; комитет ехал по улице рядом, хотя и не совсем с ним наравне; остальные, у кого в ту минуту не оказалось лошадей, присоединялись к отряду и шли за ним по дороге, тогда как дамы, дети и рабыни высовывались из окон и дверей домов посмотреть на движущуюся мимо мрачную живую картину, а Сатпен, так ни разу и не оглянувшись, вошел в ворота мистера Колдфилда и по выложенной кирпичом дорожке зашагал к дверям, неся в свернутом из газеты рожке букет цветов.

Они снова принялись его ждать. Теперь толпа росла быстро -- другие мужчины, мальчишки и даже негры из соседних домов, сгрудившись вокруг первоначальной восьмерки, следили за дверью мистера Колдфилда в ожидании его выхода. Вышел он не скоро, цветов у него в руках уже не было, и к воротам он вернулся уже помолвленным. Но они об этом не знали и, едва он успел подойти к воротам, взяли его под арест. Они повели его обратно в город, а дамы, дети и дворовые негры смотрели из-за занавесок, из-за садовых кустов, из-за углов и из кухонь, где, без сомнения, уже начал пригорать обед, и таким порядком они возвратились на площадь, где остальные здоровые мужчины вышли из своих контор и лавок и тоже присоединились к ним, так что, когда Сатпен добрался до здания суда, за ним шла толпа, как за беглым рабом. Его передали мировому судье, но к этому времени туда подоспели твой дед и

мистер Колдфилд. Они взяли его на поруки, и к вечеру того же дня он вернулся домой вместе с мистером Колдфилдом, по той же улице, что и утром, и, без сомнения, те же глаза наблюдали за ним из-за оконных занавесок, вернулся прямо к торжественному ужину по случаю помолвки, однако ни за столом, ни до и ни после не было ни вина, ни виски. Трижды за тот день проходя по этой улице, он ни разу не изменил своей осанки -- все тот же неторопливый шаг, в такт ему развеваются фалды нового сюртука, и все так же лихо над бородой и глазами заломлена новая шляпа. Твой дед говорил, что пятью годами раньше, когда он приехал в город, лицо его имело оттенок обожженной глины, а теперь его кожу покрывал обыкновенный загар. И он не то чтобы потолстел -- по словам твоего дедушки, дело было совсем не в том, просто, преодолев сопротивление воздуха, как при беге, мясо на его костях, казалось, успокоилось, так что теперь он по-настоящему заполнял свою одежду и хотя все еще чванился, но уже без бахвальства и воинственности; правда, твой дед говорил, что это и прежде была не воинственность, а всего лишь настороженность. А теперь не стало и ее, словно по прошествии этих трех лет он мог доверить караульную службу одним только глазам, а мясо на его костях могло и отдохнуть. Два месяца спустя они с Эллен поженились.

Это произошло в июне 1838 года, почти день в день через пять лет после того воскресного утра, когда он въехал в город на своем чалом. Оно (бракосочетание) состоялось в той самой методистской церкви, где он, по словам мисс Розы, впервые увидел Эллен. Тетке даже каким-то образом -вероятно, беспрестанным ворчаньем (но только не уговорами -- они бы не подействовали) -- удалось заставить мистера Колдфилда дать Эллен по этому случаю разрешение напудриться. Пудра должна была скрыть следы слез. Но еще до окончания

свадебной церемонии пудра растеклась полосами и склеилась в комья. Видимо, в этот вечер Эллен вошла в церковь из плача, как входят с дождя, выдержала всю церемонию, а затем вышла из церкви обратно в плач, в слезы, даже в те самые слезы, в тот самый дождь. Она села в коляску и под ним (под дождем) удалилась в Сатпенову Сотню.

Причиной этих слез была свадьба, а отнюдь не брак с Сатпеном. Те слезы, которые вызвал этот брак -- если допустить, что слезы были, -- пришли потом. Пышной свадьбы устраивать не собирались. То есть не собирался, очевидно, мистер Колдфилд Ты, наверное, заметил, что разводятся по большей части те женщины, которых сочетал браком жующий табачную жвачку мировой судья в окружном суде или разбуженный среди ночи священник, у которого из-под сюртука торчат подтяжки, а воротника и вовсе нет, в роли же свидетеля выступает его жена или сестра -- старая дева в папильотках. Так разве не естественно предположить, что эти женщины начинают мечтать о разводе не потому, что их в чем-то обделили, а от самого неподдельного отчаяния и ощущения, будто их предали? что, несмотря на живое свидетельство в виде детей и всего прочего, им все еще мерещится, как они, провожаемые восхищенными взглядами, шествуют под торжественную музыку, с тем чтобы во всем блеске символических аксессуаров по всем правилам отдать то, чем уже не обладают? А собственно говоря, почему бы и нет? Ведь когда они и в самом деле отдаются, то для них это только и может быть (и действительно бывает) некоей церемонией, подобной размену ассигнации для покупки билета на поезд. Если говорить об обоих мужчинах, то пышная свадьба, переполненная церковь и вообще весь этот ритуал нужны были именно Сатпену. Я узнал об этом из кое-каких намеков, невзначай оброненных твоим дедом, а он, без сомнения,

так же случайно узнал об этом от самого Сатпена, ибо Сатпен никогда и словом не обмолвился Эллен о том, что он этого хочет, и то обстоятельство, что в последнюю минуту он отказался поддержать ее желание и настоятельное требование, может отчасти объяснить ее слезы. Мистер Колдфилд, очевидно, намеревался использовать церковь, в которую он вложил определенную меру самопожертвования и, несомненно, самоотречения, и, уж конечно, настоящего труда и денег -- чтобы, если можно так выразиться, поддержать свою духовную платежеспособность, -- равно как он использовал бы хлопкоочистительную машину, за которую почитал бы себя ответственным материально или морально, для очистки любого количества хлопка, который он или кто-либо из членов его семьи -- будь то родственники или свойственники -- вырастил, -- не более того. Возможно, его желание устроить свадьбу поскромнее объяснялось все той же упорной и неослабной бережливостью, позволившей ему содержать мать и сестру и жениться и вырастить детей на доходы от лавки, что десять лет назад уместилась в одном-единственном фургоне; возможно, каким-то врожденным чувством деликатности и приличия (им, кстати сказать, его сестра и дочь явно не обладали) по отношению к будущему зятю, которого он всего лишь двумя месяцами ранее помог вызволить из тюрьмы, но уж никак не страхом, что все еще ненормальное положение зятя в городе может ему повредить. Но каковы бы ни были их отношения прежде и какими ни могли бы они стать в будущем, если бы мистер Колдфилд в то время считал Сатпена виновным в каком-либо преступлении, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы его освободить. Он, возможно, ничего бы не предпринял, чтобы оставить Сатпена в тюрьме, однако в то время ничто не могло полнее оправдать Сатпена в глазах сограждан, чем поручительство

мистера Колдфилда, -- а этого он не сделал бы даже ради спасения собственного доброго имени, хотя арест был прямым следствием сделки между ним и Сатпеном -- того самого предприятия, от которого он отказался, когда оно приняло оборот, противный его совести, и дал возможность Сатпену завладеть всей прибылью, даже не позволив Сатпену возместить убыток, который сам он вследствие своего отказа потерпел, и тем не менее он разрешил своей дочери выйти замуж за человека, чьи действия он по совести одобрить не мог. Это был второй случай, когда он поступил таким образом.

Когда совершалось бракосочетание, из сотни приглашенных в церкви присутствовало всего лишь десять человек --- включая жениха с невестой и родственников, но зато когда они вышли из церкви (дело было поздно вечером); Сатпен привез полдюжины своих диких негров, и они с горящими сосновыми ветками стояли у дверей, остальную часть этой сотни составили мальчишки, молодые люди и мужчины из трактира гуртовщиков на краю города -- торговцы скотом, конюхи и тому подобная публика, которой никто не приглашал. Этим тоже объяснялись слезы Эллен. Устроить пышную свадьбу мистера Колдфилда убедила или умолила тетка. Но нужна она была Сатпену. Ему нужна была не безродная жена и не безродные дети, а два имени -- имя безупречной жены и имя безукоризненного тестя -- на брачном свидетельстве, на документе. Да на документе по возможности с золотой печатью и даже с красными лентами -- если б от них могла произойти какая-нибудь польза. Но не для себя. Она (мисс Роза) сочла бы золотую печать и ленты тщеславием. Но ведь именно тщеславие и породило этот дом, возведенный в глуши почти одними только голыми его руками, дом, которому в дальнейшем грозила опасность назойливого вмешательства извне -- ведь любое сообщество людей

осуждает все то, что недоступно их пониманию. И гордость: мисс Роза признала, что он был храбр; возможно, она даже допускала, что он был горд, что именно его гордость требовала такого дома и не удовлетворилась бы ничем меньшим, и готова была добиваться его любою ценой. А потом он жил в этом доме, один, и три года спал на соломенной подстилке на полу, пока не смог обставить его как подобает -- причем немаловажной частью этой обстановки было то самое брачное свидетельство. Она была совершенно права. Ему нужен был не просто кров, не просто безродная жена и дети, равно как ему нужна была не просто свадьба. Но когда разразился женский бунт, когда Эллен и тетка попытались привлечь его на свою сторону, чтобы он помог им убедить мистера Колдфилда дать согласие на пышную свадьбу, он отказался их поддержать. Он, без сомнения, еще лучше мистера Колдфилда помнил, что всего два месяца назад сидел в тюрьме, что общественное мнение, которое в какой-то момент предыдущих пяти лет его проглотило -- хотя так и не сумело полностью его переварить, -- проделало один из свойственных человечеству отчаянных и необъяснимых крутых поворотов и извергло его обратно. И ему ничуть не помогло, что по крайней мере двое граждан, долженствовавших представлять собою два зуба в этой оскорбленной пасти, вместо того послужили подпорками, которые не дали этой пасти захлопнуться, что позволило ему выйти наружу целым и невредимым.

Эллен и тетка тоже об этом помнили. Тетка во всяком случае. Будучи женщиной, она, без сомнения, принадлежала к лиге джефферсонских женщин, которые еще пять лет назад, на второй день после его появления в городе, решили, что никогда не простят ему отсутствие прошлого, и с тех пор непреклонно стояли на своем. Поскольку свадьба была теперь

вопросом решенным, она, вероятно, считала ее единственной возможностью не только обеспечить будущее племянницы в качестве его жены, но и оправдать поступок брата, вызволившего его из-под ареста, а также и свое собственное положение -- ведь она, по всей видимости, разрешила и одобрила свадьбу, хотя на самом деле просто не могла ее предотвратить. Возможно, все это делалось именно ради большого дома, ради положения и помпы, которых он (что женщины поняли задолго до мужчин) не только домогался, но и твердо решил добиться. Но, быть может, женщины еще много более примитивны, и для них любая свадьба лучше, чем никакая, а пышная свадьба и жених-злодей предпочтительнее скромной свадьбы и жениха-святого.

Поэтому тетка даже пустила в ход слезы Эллен, а Сатпен, который, вероятно, знал, к чему идет дело, с приближением назначенного срока становился все мрачнее и мрачнее. Не то чтобы он был встревожен, нет, просто озабочен -- таким он, наверное, был с того самого дня, когда бросил все, что знал -- лица и обычаи, -- и (ему тогда как раз стукнуло четырнадцать, сказал он твоему деду) отправился в мир, о котором не знал ровно ничего даже теоретически, но уже имел в голове вполне определенную цель, какой большинство мужчин даже себе и не ставит, покуда кровь не начнет замедлять свой бег у них в жилах лет эдак в тридцать, а то и позже, да и тогда лишь потому, что эта мечта связана в их воображении с праздностью и покоем или, по крайней мере, с удовлетворением их тщеславия. Даже тогда в нем была та настороженность, какую позже он будет носить день и ночь, не снимая и не меняя, словно одежду, в которой ему приходилось и спать и бодрствовать, в чужой стране, среди людей, самый язык которых ему пришлось выучить; то неусыпное внимание, которое наверно знало: допусти

одну-единственную ошибку -- и конец; та способность сравнивать и сопоставлять закономерность со случайностью, обстоятельства с человеческой природой, свое собственное ненадежное сужденье и смертную плоть не только с человеческими силами, но и с силами природы; способность делать выбор и отказываться, идти на уступки своей мечте и честолюбивым замыслам -- подобно тому как человеку приходится уступать лошади, на которой он скачет по лесам и оврагам и которой управляет лишь благодаря его способности помешать ей понять, что на самом деле управлять ею он не может, что на самом деле она сильней его.

Теперь в странном положении был он. Одинок был он. Не Эллен. Его поддерживала не только тетка, но еще и то, что женщины никогда не признаются в одиночестве и не жалуются на него, пока непостижимые и непреодолимые обстоятельства не вынудят их оставить всякую надежду заполучить игрушку, о которой они в эту минуту мечтают. И не мистер Колдфилд. Его поддерживало не только общественное мнение, но и его собственное решительное и недвусмысленное предубеждение против пышной свадьбы. Позже (слезы победили; тетка и Эллен написали сотню приглашений -- Сатпен отрядил одного из своих диких негров разносить их по домам -- и даже разослали с десяток более интимных на генеральную репетицию), когда они вечером накануне свадьбы приехали в церковь на репетицию и обнаружили, что церковь пуста, а на темной улице собралась кучка жителей городских окраин (в том числе два индейца чикасау из племени старика Иккемотуббе), слезы хлынули снова. Эллен выдержала репетицию, но потом тетка отвезла ее домой в состоянии, близком к истерике, которая наутро перешла просто в тихий беспрерывный плач. Высказывалось даже мнение, что

свадьбу лучше отложить. Не знаю, кто его высказал, возможно, сам Сатпен. Зато я знаю, кто его отверг. Казалось, тетка теперь твердо решила навязать городу не только Сатпена, но и самую свадьбу. Весь следующий день она в домашнем платье и в шали ходила из дома в дом со списком приглашенных, а за нею плелась одна из двух колдфилдовских служанок (слуг мужского пола у него не было) -- то ли для защиты, то ли просто ее, подобно одинокому листку, увлек за собой яростный вихрь гнева оскорбленной в своем женском достоинстве фурии; да, и к нам она явилась тоже, хотя твой дед и в мыслях не имел уклониться от приглашения; насчет папы у тетки наверняка никаких сомнений не было -- ведь папа помог освободить Сатпена из тюрьмы, а впрочем, к этому времени она уже скорее всего утратила всякую способность логически мыслить. Папа и твоя бабушка в ту пору только-только поженились, мама в Джефферсоне еще не осмотрелась, и я не знаю, что она подумала, знаю только, что она никогда не рассказывала, что произошло: как совершенно незнакомая обезумевшая женщина ворвалась в дом -- не для того, чтобы пригласить ее на свадьбу, а чтоб сказать ей: пусть только она посмеет не явиться, -- после чего выскочила вон. Мама вначале даже не могла понять, о какой свадьбе идет речь, и когда отец вернулся, он нашел ее тоже в истерике, и даже еще двадцать лет спустя мама не могла сказать, что же именно произошло. Ничего смешного она в этом не находила. Папа, бывало, подшучивал над нею по этому поводу, но даже и через двадцать лет, стоило ему начать свои шутки, я видел, как она поднимает руку (возможно, с наперстком на пальце), словно пытаясь защититься, и на лице ее появляется то же выражение, какое наверняка было на нем после ухода тетки Эллен.

В то утро тетка обошла весь город. Это заняло не так уж много времени, но она не пропустила никого, и к ночи обстоятельства дела стали известны не только за городом, но среди городского отребья; они проникли на извозчичий двор и в трактир гуртовщиков, откуда потом на свадьбу и явились гости. Эллен, разумеется, ничего об этом не знала, равно как и сама тетка, и, уж конечно, не могла вообразить, что должно было произойти, будь она даже ясновидящей, способной воочию увидеть репетицию событий еще до того, как наступит их час. Не то чтобы тетка почитала себя застрахованной против подобных оскорблений, она просто не могла себе представить, что ее намерения и поступки в тот день способны были вызвать какое-либо иное следствие, кроме того, ради которого она временно поступилась не только достоинством Колдфилдов, но и всякой женской скромностью. Я полагаю, что Сатпен мог ей об этом сказать, но он, без сомнения, знал, что тетка ему все равно не поверила бы. Скорее всего он даже и не пытался; он просто сделал единственное, что можно было сделать, а именно: вызвал из Сатпеновой Сотни еще шестерых или семерых негров, на которых он мог всецело положиться (кроме них он ни на кого положиться не мог), и вооружил их горящими сосновыми ветками, с которыми они и стояли у дверей, когда к церкви подъехала коляска и из нее вышли жених с невестой и родственники. И тут слезы прекратились, потому что теперь вся улица перед церковью была уставлена колясками и повозками; однако один только Сатпен и, быть может, еще мистер Колдфилд заметили, что хотя им следовало стоять у дверей пустыми, они, наоборот, стоят на противоположной стороне улицы с седоками и что теперь дорожка, ведущая ко входу в церковь, представляет собой нечто вроде арены, освещенной дымящимися факелами, которые негры держат у себя

над головой; их пламя, дрожа и колыхаясь, освещает два ряда лиц, между которыми свадьба должна пройти, чтобы попасть в церковь. Пока еще не было слышно ни свистков, ни насмешек; совершенно очевидно, что ни Эллен, ни тетка ничего дурного не заподозрили.

Эллен ненадолго вышла из плача, из слез, и вошла в церковь. Церковь пока еще была пуста, если не считать твоих дедушку и бабушку да еще с полдюжины гостей, явившихся из преданности Колдфилдам, а может, просто чтобы быть поближе и не пропустить ничего из тех событий, которые весь город, представленный стоящими в ожидании колясками, казалось, предвидел -- равно как и сам Сатпен. Церковь все еще была пуста -- даже после того, как церемония началась и закончилась. У Эллен тоже была известная гордость или, по крайней мере, то тщеславие, которое временами может заменить гордость и силу духа; к тому же пока еще ничего не случилось. Толпа на улице пока еще хранила спокойствие, возможно, из уважения к церкви или из свойственной англосаксам способности и даже склонности к абсолютному мистическому приятию всякой священной чепухи. Эллен, по-видимому, вышла из церкви и вошла в толпу, все еще ничего не подозревая. Возможно, она была все еще движима гордостью, не позволявшей ей показывать свои слезы гостям. Она просто вошла в толпу, видимо торопясь поскорее укрыться от любопытных взоров в коляске, где можно было поплакать; возможно, первым предостережением послужил крик: "Смотри, как бы не попасть в нее!", потом какой-то предмет -- комок грязи, нечистот или что-то еще, -- пролетевший мимо, а возможно, что и сами заколыхавшиеся огни, а потом она обернулась и увидела, что один из негров с поднятым факелом вот-вот прыгнет в толпу, на эти лица, и тут Сатпен обратился к нему на том наречии, которое большая часть жителей округа до сих пор не считала

языком цивилизованных людей. Вот что увидела она, а вот что увидели другие из колясок, стоявших на противоположной стороне улицы: новобрачная бросается под защиту его руки, он загораживает ее спиной, а сам стоит, не шелохнувшись даже тогда, когда второй предмет (они не швыряли ничего, что могло бы причинить увечья, всего лишь комья грязи и гнилые овощи) сбивает шляпу у него с головы, а третий шлепается прямо ему в грудь -он же стоит неподвижно, чуть ли не с улыбкой, и зубы сверкают сквозь бороду, одним-единственным словом сдерживая своих диких негров (в толпе, без сомнения, были пистолеты и, уж конечно, ножи -- стоило негру прыгнуть, он не остался бы в живых и десяти секунд), меж тем как вокруг свадебного шествия, казалось, смыкаются лица -- разинутые рты, в глазах отражается пламя факелов -- и все это колеблется, меняет очертания и исчезает в дымном сияньи горящих сосновых веток. Закрыв своим телом обеих женщин, он отступил к коляске и опять одним-единственным словом приказал неграм следовать за собой. Но никто больше ничего не бросал. Очевидно, это была лишь первая стихийная вспышка, и они держали наготове еще и другие предметы, а не только то, что успели бросить. Так кончилась вся эта история, достигшая высшей точки двумя месяцами раньше, когда комитет бдительности проводил Сатпена до ворот мистера Колдфилда. Ибо люди, из которых состояла толпа -- торговцы, гуртовщики и извозчики, -- вернулись восвояси, снова укрылись в тех местах, откуда ради этого случая вылезли, как крысы; рассеялись, разбежались по окрестностям -- их лиц даже Эллен не могла потом припомнить; таких людей встречаешь порою, когда они закусывают или просто выпивают в трактирах, разбросанных вдоль безымянных дорог в двадцати, пятидесяти и даже в ста милях от города, и которых потом и там не встретишь, среди них

были и те, кто приезжал в колясках и повозках поглазеть на бой гладиаторов либо являлся в Сатпенову Сотню с визитом либо (если это были мужчины) поохотиться на его дичь, лишний раз пообедать за его столом и при случае собраться вечером у него на конюшне, где он стравливал пару диких негров, как стравливают бойцовых петухов, а бывало, даже выходил на ринг и сам. Все это как бы сдуло ветром -- но не из памяти. Сатпен не забыл этот вечер, хоть Эллен, я думаю, могла и забыть, потому что она смыла его из памяти слезами. Да, теперь она снова плакала -- уж поистине на этой свадьбе лило как из ведра.

III

Если б он бросил мисс Розу, ей, по-моему, вряд ли захотелось бы об этом рассказывать, {заметил Квентин}.

-- Видишь ли, {сказал мистер Компсон}, после того, как в шестьдесят четвертом году мистер Колдфилд умер, мисс Роза перебралась в Сатпенову Сотню к Джудит. Ей было тогда двадцать лет, на четыре года меньше, чем племяннице, которую она, согласно воле умирающей сестры, намеревалась -- очевидно, путем бракосочетания с Сатпеном -- спасти от тяготевшего над семьею рока, чьи замыслы Сатпен явно стремился осуществить. Она (мисс Роза) родилась в 1845 году, когда ее сестра уже семь лет была замужем и имела двоих детей, между тем как родители мисс Розы были уже в летах (мать ее, которой, очевидно, было уже лет сорок, умерла от родов, и мисс Роза так и не простила этого отцу) и -- если считать, что мисс Роза отражала отношение своих родителей к зятю -- они желали только мира и покоя и, вероятно, не ожидали, а быть может, даже и не хотели еще одного ребенка. Но она родилась, ценою жизни своей матери, и ей никогда не суждено было об этом позабыть. Ее воспитала та самая старая дева -- тетка, которая пыталась навязать городу

-- вопреки его желанию -- не только жениха ее старшей сестры, но и самую свадьбу; она выросла в замкнутой, доступной лишь женщинам масонской ложе и самый факт своего существования считала не только единственным оправданием жертвы своей матери, не только ходячим живым упреком своему отцу, но и живым обвинением -вездесущим и даже не требующим личного присутствия -- всего мужского начала (того начала, из-за которого ее тетка в тридцать пять лет все еще оставалась девственницей). Итак, первые шестнадцать лет своей жизни она прожила в этом мрачном тесном домике с отцом, которого она, сама того не зная, ненавидела, -- с этим странным молчаливым человеком, чьим единственным товарищем и другом, казалось, была его совесть, а единственным предметом забот -- его доброе имя в глазах сограждан, -- с человеком, который впоследствии запрет себя на чердаке собственного дома и умрет голодной смертью, чтобы не видеть, как его родная земля судорожно отбивается от неприятельской армии, и с теткой, которая даже десять лет спустя все еще продолжала мстить за неудачную свадьбу Эллен, набрасываясь на город и на весь род человеческий в лице всех и каждого из его созданий -- брата, племянниц, мужа племянницы, самой себя и так далее -- со слепою бессмысленной яростью меняющей кожу змеи. Тетка приучила мисс Розу к мысли, что сестра ее ушла не только из семьи и из дома, но и из самой жизни в некое подобие замка Синей Бороды, где превратилась в маску, которая с покорной и безнадежной тоской оглядывается на безвозвратно утерянный мир; ее держит там взаперти, глумливо играя с нею, точно кошка с мышью, человек, который еще до того, как она родилась, ураганом ворвался в ее жизнь и в жизнь всей их семьи и, опустошив и разорив все вокруг, двинулся дальше. В мрачной кладбищенской атмосфере пуританской

добродетели и оскорбленной женской мстительности протекли детские годы мисс Розы -- это старческое, дряхлое, бесконечное отсутствие молодости; подобно Кассандре, она подслушивала у закрытых дверей, пряталась в полутемных коридорах, казалось, дышавших мрачными и черными пресвитерианскими предчувствиями, в ожидании младенчества и детства, коих природа предательски ее лишила, наделив отвращением ко всему, что могло бы проникнуть в стены этого дома через любого мужчину, в особенности через ее отца -- этим тетка, казалось, наделила ее при рожденье вместе с пеленками.

Быть может, она видела в смерти отца и в вызванной этим необходимости, чтобы она -- сирота и нищая -- обратилась за пропитанием, кровом и защитой к своей ближайшей родне -- а этой родней оказалась племянница, которую ее просили спасти, -- быть может, в этом она видела не что иное, как перст судьбы, предоставившей ей возможность исполнить последнюю волю умирающей сестры. Быть может, она считала себя орудием возмездия: пусть она недостаточно активна и сильна, чтоб вступить с ним в единоборство, но зато в виде некоего пассивного символа неотвратимой памяти, бескровная и бестелесная, восстанет с жертвенника брачного ложа. Ведь до шестьдесят шестого года, когда он вернулся из Виргинии и нашел ее там вместе с Джудит и Клити (да, Клити тоже была его дочерью. Клитемнестра. Он сам дал ей это имя. Он всем давал имена сам -- всем своим отпрыскам, равно как и отродью своих диких черномазых, как только они начали ассимилироваться с местными. Мисс Роза не говорила тебе, что среди черномазых в том фургоне были две женщины?

Нет, сэр, {сказал Квентин}.

Да. Их было две. И привезены они были сюда вовсе не случайно и не по недосмотру. Об этом он

позаботился сам, ибо он, без сомнения, заглядывал вперед много дальше, нежели на те два года, которые потребовались ему, чтобы построить себе дом и доказать свои добрые намерения, пока соседи не позволили ему скрестить его дикое поголовье с их прирученным -- ведь различие в языке между теми и другими черномазыми могло оставаться препятствием лишь несколько недель, а возможно даже, и дней. Он привез этих двух женщин нарочно; он, вероятно, выбирал их так же расчетливо и тщательно, как выбирал прочий живой инвентарь -- лошадей, мулов и рогатый скот, который покупал позже. И он прожил там почти пять лет, прежде чем свел знакомство хоть с какой-нибудь белой женщиной в округе и по той же причине, по какой в доме у него не было мебели -- в то время ему нечего было предложить за них взамен. Да, он нарек ее Клити точно так же, как нарекал их всех -- того, кто был до Клити, до Генри и даже до Джудит, с одинаковой бодрой и насмешливой отвагой, собственными устами нарекая посеянные им самим зубы дракона, по иронии судьбы давшие хороший урожай. Впрочем, мне всегда хотелось думать, что какой-то чисто драматургический инстинкт побудил его не только породить дочь, но и дать ей имя верховного прорицателя собственной погибели, и что он намеревался назвать Клити Кассандрой и просто перепутал имена по ошибке, естественной для человека, который наверняка выучился грамоте чуть ли не самоучкой), -- до его возвращения домой в шестьдесят шестом году мисс Роза за всю свою жизнь едва ли видела его сотню раз. И видела она его лишь как лицо людоеда из своего детства -- увиденное однажды, оно затем появлялось с перерывами и при случаях, которых она не могла ни вспомнить, ни сосчитать, подобно маске греческой трагедии, переходящей не только из сцены в сцену, но и от

актера к актеру, маске, за которой события и происшествия совершаются без всякого порядка и последовательности; она и в самом деле не могла сказать, сколько в отдельности раз она его видела, и по той простой причине, что тетка научила ее не видеть ничего другого ни во сне, ни наяву. Во время этих натянутых, мрачных, почти официальных визитов, когда они с теткой выезжали на целый день в Сатпенову Сотню и тетка отправляла ее играть с племянником и племянницей, как могла бы попросить ее сыграть на рояле какую-нибудь пьесу для развлечения гостей, она не видела его даже за обеденным столом -- тетка ухитрялась наносить эти визиты в его отсутствие, и к тому же мисс Роза, вероятно, постаралась бы уклониться от встречи с ним, даже если бы он был дома. А когда Эллен три или четыре раза в год привозила детей к деду, тетка (эта сильная злопамятная женщина, которая, очевидно, вдвое больше мистера Колдфилда заслуживала звания мужчины и которая поистине была для мисс Розы не только матерью, но и отцом) придавала этим визитам ту же атмосферу мрачного вооруженного заговора и союза против двоих врагов, из которых один -- мистер Колдфилд -- независимо от того, мог он постоять за себя или нет -- давно уже снял свои посты, разобрал пушки и окопался в неприступной крепости своей пассивной добродетели; а второй -- Сатпен -вероятно, способный вступить с ними в бой и даже их разгромить, понятия не имел, что он -- находящийся в боевой готовности неприятель. Он даже не являлся домой к обеду. Возможно, он просто щадил чувства тестя. Зачем и как возникли взаимоотношения между ним и мистером Колдфилдом, навсегда осталось тайной и для тетки, и для Эллен, и для мисс Розы; Сатпен же впоследствии откроет эту тайну одному лишь человеку, да и то под клятвенное обещание молчать, пока жив

мистер Колдфилд -- из уважения к тщательно оберегаемой репутации мистера Колдфилда как человека безупречной нравственности; твой дед говорил мне, что сам мистер Колдфилд по тем же соображениям никогда никому ее не открывал. Но, быть может, причина заключалась в том, что теперь, когда Сатпен получил от тестя все, что он мог бы использовать или что ему просто было нужно, у него не хватало ни смелости для встречи с тестем, ни чувства такта и приличия хотя бы четыре раза в год присоединяться к торжественной семейной группе. А может быть, у Сатпена не было иной причины, кроме той, которую он сам назвал и которой тетка потому и отказывалась верить, а именно, что ездит он в город далеко не каждый день, а уж если приезжает, то предпочитает проводить время (он теперь посещал бар) с мужчинами, которые каждый полдень встречаются в Холстон-Хаусе.

Таково было то лицо, которое -- когда мисс Розе случалось его видеть -смотрело на нее через его же собственный обеденный стол -- лицо неприятеля, который даже не знал, что находится в состоянии боевой готовности. Ей в то время исполнилось десять лет, и после бегства тетки (мисс Роза теперь вела хозяйство отца, как прежде тетка, пока та в одну прекрасную ночь не вылезла в окно и не исчезла) не только не было никого, кто во время этих официальных похоронных визитов мог бы заставить ее поиграть с племянником и племянницей, ей даже не приходилось выезжать туда и дышать тем же воздухом, что и он, и где, хотя его и не было, он все еще присутствовал, как ей казалось, затаившись в глумливом и настороженном торжестве. Теперь она бывала там всего лишь раз в год, когда они с отцом, облачившись в воскресное платье, на крепкой, видавшей виды повозке, запряженной парой крепких низкорослых лошадок, отправлялись за

двенадцать миль провести день в Сатпеновой Сотне. Теперь на этих визитах настаивал мистер Колдфилд -- при тетке он с ними ни разу туда не ездил -- как он утверждал, из чувства долга, в чем ему поверила бы даже и тетка, возможно оттого, что настоящая причина заключалась не в этом; без сомнения, даже мисс Роза не поверила бы настоящей причине, а именно, что мистер Колдфилд хотел видеть внуков, все больше и больше страшась наступления того дня, когда их отец расскажет хотя бы одному только сыну о той их стародавней сделке -- причем мистер Колдфилд вовсе не был уверен, что зять уже о ней не рассказал. Хотя тетки уже не было, она все еще ухитрялась в какой-то мере придать каждой из этих экспедиций прежний дух ожесточенной военной вылазки -- теперь еще более яростной, чем прежде, -против врага, который и знать не знал, что находится в состоянии войны. Ведь теперь, после исчезновения тетки, Эллен отпала от этого тройственного союза, который мисс Роза, сама того не сознавая, пыталась превратить в двойственный. Теперь она была совсем одна; она сидела напротив него за обеденным столом, не имея поддержки даже от Эллен (с Эллен к этому времени произошла полная метаморфоза, и она вступила в свой следующий люструм окончательно перерожденной); сидела за столом напротив врага, который даже не знал, что сидит там не как хозяин и муж сестры, а как одна из двух заключивших перемирие сторон. Он едва удостаивал взглядом эту маленькую щуплую девочку, чьи ноги, даже когда она вырастет, не будут доставать до полу с ее же собственных стульев; он обращал на нее почти так же мало внимания, как на жену и детей -- на Эллен, которая, хотя тоже хрупкого сложения, была, что называется, в теле (и, если б жизнь ее не склонилась к упадку в ту пору, когда даже мужчины не могли раздобыть себе достаточно еды, и если б конец

ее дней не был омрачен невзгодами, она и впрямь была бы в теле. Не тучной, нет, всего лишь налитой и зрелой; седые волосы, все еще молодые глаза, даже слабый румянец на теперь уже несколько обвислых щеках; пухлые пальцы унизаны кольцами, гладкие ручки терпеливо сложены в предвкушении еды на камчатной скатерти перед хевилендовским сервизом под хрустальными канделябрами); он смотрел на нее не чаще, чем на Джудит, уже переросшую Эллен, и на Генри, хотя и не такого рослого для своих шестнадцати лет, какою Джудит была для своих четырнадцати, но уже обещавшего скоро догнать отца; он совсем не замечал лица этой девочки, редко говорившей во время еды, ее глаз, наподобие угольков (если можно так выразиться), воткнутых в мягкое тесто, ее аккуратно зачесанных волос того характерного мышиного оттенка, какой приобретают волосы, редко освещаемые солнцем, рядом с обветренными лицами Джудит и Генри -- у Джудит волосы матери и глаза отца, у Генри волосы черные, как у матери, с рыжеватым оттенком, унаследованным от отца, и светло-карие глаза, -- не замечал щуплого тельца мисс Розы, отличавшегося какой-то странной неловкостью, словно на ней был костюм, в последнюю минуту и по необходимости взятый напрокат для маскарада, на который ей вовсе не хотелось ехать; не замечал этой ауры вокруг человека, который заточил себя по собственному выбору и который так и не научился добровольно или хотя бы просто покорно дышать, но все еще претерпевает муки обучения из-под палки; эту рабыню собственной плоти и крови, которая даже и теперь пыталась бежать от жизни, сочиняя ученические вирши о своих тоже умерших земляках. Это лицо, самое маленькое из тех, что его окружали, смотрело на него через стол молча, с таким любопытством и напряженным вниманием, словно у мисс Розы и в самом деле было какое-то

предчувствие, внушенное ей связью с текучей колыбелью событий (временем), которую она приобрела или развила в себе, подслушивая у закрытых дверей, но слышала она не то, что из-за них доносилось, потому что сделалась восприимчивой и безучастной, лишилась всяких пристрастий, убеждений и сомнений и обрела те свойства, что превращают людей в прорицателей, порою даже и правдивых; она явственно различала, как нарастает предвещающая лихорадку температура бедствий, грядущей катастрофы, в которой лицо людоеда из ее детства исчезнет, по-видимому, до такой степени бесследно, что она согласится выйти замуж за его бывшего обладателя.

Возможно, тогда она видела его в последний раз. Ибо они перестали туда ездить. То есть ездить перестал мистер Колдфилд. Определенный день для этих визитов никогда установлен не был. Просто в одно прекрасное утро он выходил к завтраку в скромном черном сюртуке из толстого сукна, в котором он женился и который до свадьбы Эллен надевал пятьдесят два, а после бегства тетки пятьдесят три раза в год, покуда не надел, чтобы больше не снимать, в тот день, когда поднялся на чердак, заколотил за собою двери, выбросил из окна молоток и так в этом сюртуке и умер. Тогда мисс Роза после завтрака уходила к себе и возвращалась в ужасающем черном или коричневом шелковом платье, которое тетка купила ей много лет назад и которое она все еще надевала по воскресеньям и другим праздникам даже после того, как оно совершенно износилось, вплоть до того дня, когда отец понял, что тетка больше не вернется, и разрешил мисс Розе пользоваться одеждой, которую тетка бросила в ночь своего побега. Затем они садились в повозку и уезжали, причем мистер Колдфилд предварительно высчитывал из жалованья обеих негритянок плату за приготовление обеда, который им

в тот день не нужно было варить, и (как думали в городе) также и стоимость вчерашних остатков, которыми им предстояло кормиться. А потом они целый год туда не ездили. По всей вероятности, мистер Колдфилд просто не вышел к завтраку в черном сюртуке, и дни проходили, а он его все так и не надевал, и на этом дело кончилось. Возможно, теперь, когда внуки выросли, он счел оплаченным лежавший на его совести долг, тем более что Генри уехал в университет штата в Оксфорд, а Джудит отправилась даже еще дальше -- в стадию перехода от детства к женской зрелости, став еще более недосягаемой для деда, с которым и прежде виделась мало, а интересовалась им, вероятно, еще меньше, в то состояние, в котором, хотя еще и видимые глазу, молодые девушки как бы видны сквозь стекло, куда до них не доносится даже и голос, и где они (да, и эта девчонка-сорванец, что бегала быстрее и лазала выше брата, скакала верхом не хуже его, вступала в драку с ним и с его врагами) пребывают в жемчужном призрачном сиянье и, не отбрасывая тени, сами тоже его излучают; неуловимые, бесплотные и текучие, они плывут сквозь этот непостижимый зыбкий туман, но ничего в нем не ищут, а, словно висящий на плаценте зародыш, безмятежно ожидают, пока могучая первичная клетка, питаясь и наливаясь материнскими соками, обрастет спиной, плечами, грудью, бедрами и боками.

Теперь начался период, закончившийся катастрофой, которая заставила мисс Розу перемениться настолько, что она согласилась выйти замуж за того, кого с детства привыкла считать людоедом. Это не было переломом характера -он у нее не изменился. Даже поведение ее ничуть не изменилось. Даже если бы Чарльз Бон не умер, она после смерти отца, по всей вероятности, рано или

поздно переехала бы в Сатпенову Сотню, а совершив этот шаг, скорее всего провела бы там остаток дней своих. Но если бы Бон остался в живых и женился на Джудит, а Генри не пропал без вести, она перебралась бы к ним, только когда сочла бы это удобным и жила бы в семье своей покойной сестры лишь в качестве тетки, каковою в действительности и была. Изменился у ней не характер, хотя прошло шесть или семь лет с тех пор, как она не видела Сатпена, и к тому же четыре из них она тайком кормила по ночам отца, скрывавшегося на чердаке от военной полиции конфедератов. В это самое время она сочиняла героические оды о тех самых людях, от которых отец ее скрывался и которые расстреляли бы его или повесили без суда, если б им удалось его найти, и, между прочим, людоед ее детства был одним из них, и даже вполне достойным (он вернулся домой с наградой за доблесть, подписанной собственноручно генералом Ли). Лицо, с которым мисс Роза отправилась туда проводить остаток дней своих, было тем же лицом, которое смотрело на него через обеденный стол и о котором он тоже навряд ли мог сказать, сколько раз он его видел, когда или где, и вовсе не потому, что не мог его забыть, а оттого, что стоило ему отвернуться, как он, по всей вероятности, уже через десять минут не смог бы его описать, и теперь с этого лица на него с тем же холодным пристальным вниманием смотрели глаза женщины, которая прежде была той самой девочкой.

Хотя ей несколько лет не придется вновь встретить Сатпена, с сестрой и племянницей она виделась теперь чаще, чем прежде. Эллен теперь достигла высшей точки того, что тетка назвала бы ее изменой. Казалось, она не только сдалась, смирилась со своею жизнью и замужеством, но даже по-настоящему ими гордилась. Она расцвела, словно нормальное бабье лето, когда женщине полагается постепенно расцветать и

грациозно увядать шесть или восемь лет, Рок втиснул года в три-четыре -- то ли в возмещение за все, что должно еще произойти, то ли с целью произвести полный расчет -- оплатить чек, скрепленный подписью жены Рока, Природы. Эллен приближалась к сорока, она была полной, все еще без единой морщинки на лице. Казалось, ничем не потревоженная, закаленная прожитыми годами плоть стерла с ее лица все следы, какие оставило на нем пребывание .в этом мире до самого побега тетки, вытеснило их из пространства между скелетом и кожей, между совокупностью жизненного опыта и оболочкой, в которую он был заключен. Ее осанка и манеры стали теперь чуть ли не царственными -- они с Джудит теперь частенько наезжали в город с визитами к тем самым дамам (многие из них уже успели стать бабушками), которых тетка пыталась насильно загнать на свадьбу двадцатью годами раньше, и в пределах скудных возможностей города делали покупки -- словно ей наконец удалось отринуть не только пуританское наследие, но и самую действительность; превратить невыносимого мужа и непостижимых детей в бестелесные тени; бежать, наконец, в мир чистой иллюзии и там в полной безопасности двигаться и жить, попеременно принимая позы владетельницы поместья самого обширного, супруги самого богатого, матери самых счастливых. Когда она делала покупки '(в Джефферсоне к тому времени было уже двадцать лавок), она, не выходя из коляски, самоуверенно и любезно несла невозможнейшую дичь, повторяя пестрый набор бессмысленных фраз из сочиненной ею самой для себя роли странствующей герцогини, наделяющей бутафорскими бульонами и снадобьями необузданных безземельных поселян, -- эта женщина, будь она достаточно стойкой, чтобы выдержать лишения и горе, и в самом деле могла бы стать звездою первой

величины в роли прародительницы и, расположившись возле очага, горделиво вершить судьбами своего семейства, вместо того чтоб в свой последний час обратиться к младшей его представительнице с просьбою защитить остальных.

Обычно два, а порою и три раза в неделю обе они приезжали в город и в дом мистера Колдфилда -- глупая, болтливая, моложавая женщина-кукла, уже шесть лет живущая в мире, созданном ее воображением, женщина, что, уносимая потоком слез, покинула отчий дом и семью и в призрачных, дышащих миазмами краях наподобие скорбных берегов Стикса произвела на свет двоих детей, а затем, словно взращенная на болоте бабочка, не обремененная ни желудком, ни какими-либо иными тяжелыми органами жизненного опыта и страданья, взмыла в сверкающую пустоту, где навек остановилось солнце, -- и Джудит, молодая девушка, что не жила, а грезила и чья полная отрешенность и отстраненность от действительности граничила с чисто физическою глухотой. Для них мисс Роза теперь, наверное, вообще ничего не значила ни как девочка -- предмет и жертва неусыпной мстительной заботы и внимания сбежавшей тетки, ни даже как женщина, выполняющая обязанности домоправительницы, и уж, во всяком случае, как настоящая родная тетка. И было бы трудно сказать, которая из двух -сестра или племянница -- в свою очередь казалась мисс Розе более нереальной -взрослая, бежавшая от действительности в теплый, населенный куклами рай, или молодая девушка, спавшая наяву в состоянии какого-то смутного ожиданья, напоминавшем физическое состояние плода перед рождением на свет, и столь же далекая от реальной жизни, сколь и сама Эллен; два или три раза в неделю они подъезжали к дому мисс Розы, а однажды, тем летом, когда Джудит исполнилось семнадцать,

остановились там по дороге в Мемфис, куда ехали покупать Джудит наряды; да не что-нибудь, а приданое.

Это было лето за первым учебным годом Генри в университете, после того, как он привез Чарльза Бона домой на рождество, а потом еще на неделю во время летних каникул, перед тем как Бон отправился верхом к Реке, чтобы ехать пароходом к себе в Новый Орлеан; то лето, когда Сатпен тоже уехал из дому, по делам, как сказала Эллен, очевидно не сознавая -- именно так она в то время жила, -- что понятия не имеет, куда уехал ее муж, и даже не отдавая себе отчета, что это нисколько ее не интересует. Никто кроме твоего деда и, быть может, еще Клити так никогда и не узнал, что Сатпен тоже отправился в Новый Орлеан. Они входили в дом мисс Розы, в этот полутемный мрачный тесный домик, где даже через четыре года после своего побега за каждой дверью, казалось, стоит тетка, готовая вот-вот ее открыть, и который Эллен минут десять или пятнадцать оглашала своею шумной болтовней, после чего удалялась, забрав с собой свою погруженную в грезы, безразличную ко всему на свете, не произнесшую ни слова дочь, а мисс Роза, которая приходилась этой девушке теткой, тогда как по годам должна была бы приходиться ей сестрой, не обращая внимания на мать, следовала по пятам за уходящей и недоступной дочерью с немою тоской в близоруких глазах, без тени зависти перенося на Джудит все несбыточные мечты и надежды своей собственной загубленной молодости и предлагая ей в дар (о чем не раз с хохотом рассказывала Эллен) свое единственное достояние -- она предложила научить Джудит вести домашнее хозяйство, составлять меню и считать белье, однако вместо ответа увидела непонимающий бездонный взгляд, услышала недоуменный вопрос: "Что? Что ты сказала?" -- и изумленные и одобрительные выкрики Эллен. И вот уже нет ничего -- ни коляски, ни узлов, ни

Эллен с ее глупым смехом, ни живущей в мире смутных мечтаний племянницы. Когда они в следующий раз приехали в город и коляска остановилась перед домом мистера Колдфилда, на крыльцо вышла одна из негритянок и объявила, что мисс Розы нету дома.

Тем летом она еще раз увидела Генри. Она не встречала его с предыдущего лета, хотя на рождество он приезжал домой с Чарльзом Боном, своим товарищем по университету, и до нее доносились слухи о праздничных вечеринках и балах в Сатпеновой Сотне, но они с отцом туда не ездили. А когда Генри после Нового года, возвращаясь вместе с Боном в университет, заехал навестить свою тетушку, ее и в самом деле не оказалось дома. Поэтому она не видела его целый год, до следующего лета. Однажды, когда она отправилась за покупками в город и остановилась на улице побеседовать с твоею бабушкой, он проехал мимо. Он ее не заметил; он ехал на новой кобыле, подаренной ему отцом, теперь уже взрослый мужчина, в сюртуке и в шляпе; твоя бабушка рассказывала, что он был такого же высокого роста, как его отец, и сидел верхом на кобыле так же спесиво, хотя и был не так крепко сложен, как Сатпен, словно его кости, уже способные выдержать эту спесь, были еще слишком легки и слабы для отцовского чванства. Ибо и Сатпен тоже играл свою роль. Он развратил Эллен более чем в одном отношении. Он был теперь самым крупным плантатором и производителем хлопка в округе, чего он добился тою же тактикой, что и при постройке дома, -- тем же бьющим в одну точку неослабным упорством и полнейшим пренебрежением к тому, как выглядят в глазах горожан его поступки, которые они видели и какими представляются им те, которых они видеть не могли. Многие из его сограждан все еще считали, что тут дело нечисто: одни думали, что плантация -- всего лишь прикрытие для его настоящих, темных махинаций;

другие думали, что он измыслил какой-то способ воздействовать на рынок и потому выручал за кипу своего хлопка больше, чем честные люди; третьи, очевидно, думали, что дикие негры, которых он сюда привез, с помощью колдовства ухитрялись собрать с акра больше хлопка, чем их прирученные собратья. Его не любили (чего он, впрочем, и не домогался), но боялись, что, казалось, его забавляет, если не радует. Но его приняли; теперь у него было так много денег, что его нельзя было и дальше не признавать или даже сколько-нибудь серьезно ему докучать. Он добился своего -- уже через десять лет после свадьбы дела у него на плантации пошли гладко (теперь у него был надсмотрщик -- сын того самого шерифа, который арестовал его у ворот дома его будущей жены в день помолвки), и теперь он тоже играл свою роль -- роль человека надменного, живущего в довольстве и праздности, и по мере того, как он благодаря праздности и довольству обрастал мясом, надменность его приобретала оттенок чванства. Да, он развратил Эллен не только тем, что заставил ее перейти на свою сторону, хотя, подобно ей, понятия не имел, что его расцвет тоже был вынужденным искусственным цветеньем и что, пока он все еще разыгрывал перед публикой свою роль, за его спиной Рок, судьба, возмездие, ирония -- словом, режиссер, как его ни называй, уже менял декорации и тащил на сцену фальшивый реквизит для следующей картины. "Вот едет..." -- сказала твоя бабушка. Но мисс Роза уже увидела Генри. Она стояла рядом с твоей бабушкой, едва доставая головою ей до плеча, щупленькая, в одном из брошенных теткою платьев, которые мисс Роза укоротила себе по росту, хотя никто никогда не учил ее шить -- равно как она взяла на себя ведение домашнего хозяйства и предложила обучить этому Джудит, хотя никто никогда не учил ее ни стряпать, ни

вообще делать что-либо, кроме как подслушивать у закрытых дверей; стояла, повязав голову платком, словно ей было не пятнадцать лет, а все пятьдесят, смотрела на племянника и говорила: "Ой... да ведь он уже бреется".

Потом она перестала встречаться даже и с Эллен. Вернее, Эллен перестала их навещать; она нарушила свой ритуал, согласно которому еженедельно объезжала одну за другою все лавки и, не выходя из коляски, заставляла лавочников и приказчиков показывать ей сукно, жалкие украшения и безделушки -- они выносили ей товары, отлично зная, что она ничего не купит, а только подержит в руках, помнет, пощупает, разбросает и в конце концов отвергнет, сопровождая все это потоком пустой беспечной болтовни. Не с презрением и даже не свысока, а добродушно и даже по-детски злоупотребив учтивостью и полной беспомощностью этих мужчин -- приказчиков и лавочников, она отправится в отцовский дом, где тоже поднимет бессмысленный шум и суету и примется самоуверенно давать нелепые, несуразные советы касательно мисс Розы, отца, домашнего хозяйства, мисс Розиных туалетов, расстановки мебели, приготовления пищи и даже часов, когда следует завтракать, обедать и ужинать. Между тем уже близилось время (шел 1860 год, и даже мистер Колдфилд, наверное, признал, что война неизбежна), когда семья Сатпена, чья судьба последние двадцать лет напоминала Озеро, -- питаясь тихими ключами, оно колышется в тихой долине, еле заметно разливаясь и поднимаясь, а на поверхности вод в теплых лучах солнца безмятежно качаются четверо членов семьи, -- уже ощутила первые подземные толчки -- ясное предвестие земного катаклизма -- теснящие воды к выходу в узкое ущелье, и вот четыре мирных пловца, внезапно повернув друг к другу головы, еще не ведая тревоги и сомнений, а лишь слегка

настораживаясь, смотрят, как над ними сгущается тьма, хотя ни для кого из них еще не настал тот миг, когда человек, оглянувшись на товарищей по несчастью, мысленно задает себе вопрос: {Не пора ли оставить заботы о спасении других и подумать, как спастись самому?} еще не понимая, что этот миг вот-вот наступит.

Итак, мисс Роза ни с кем из них больше не встречалась; она никогда не видела (и никогда не увидит живым) Чарльза Бона -- Чарльза Бона из Нового Орлеана, друга Генри, который был не только на несколько лет его старше, но и вообще слишком великовозрастным для университета, и тем более не у места в этом маленьком новом университете на задворках, даже в диких дебрях штата Миссисипи, за три сотни миль от блестящего и как бы даже чужестранного города, откуда он был родом -- элегантный, блестящий, не по годам самоуверенный молодой человек, красивый, несомненно богатый, за спиной которого вместо родителей маячила призрачная фигура адвоката-опекуна, -столь важная персона обитателям миссисипского захолустья тех лет должна была казаться чем-то вроде феникса, не ведавшего детства, рожденного не от женщины -- он неподвластен времени, а исчезнув с лица земли, не оставит нигде ни костей, ни праха -- мужчина с изысканными манерами, столь светский и галантный, что рядом с ним спесь и чванство Сатпена казались неуклюжей позой, а Генри выглядел просто неотесанным мальчишкой. Мисс Роза никогда его не видела, это была лишь картина, плод воображения. И совсем не то, что рассказывала ей о нем Эллен, мотылек, бабочка Эллен, что безмятежно млела в ласковой летней неге, а теперь еще вдобавок приобрела очарование и грацию женщины, великодушно уступающей молодость своей наследнице -- ведь иная матрона между помолвкой и свадьбой

дочери ухитряется вести себя так, будто она-то и есть настоящая невеста. Слушая Эллен, чужой человек мог бы даже подумать, что бракосочетание, о котором -- как покажут последующие события -молодые люди и родители между собой даже и словом не обмолвились, уже состоялось. Эллен ни разу не упомянула также и о любви между Джудит и Боном. Даже и не намекала. Любовь -- поскольку речь шла о них -- была темой раз и навсегда исчерпанной, все равно что девственность после рождения первого внука. Она говорила о Боне так, словно он являл собою три неодушевленных предмета в одном или скорее один неодушевленный предмет, который она и ее семья используют сразу для трех целей -- как костюм, который Джудит могла бы надеть в качестве бального платья или амазонки, как предмет мебели, который дополнит и завершит обстановку ее дома, и, наконец, как ментора, следуя примеру которого Генри мог бы усовершенствовать свои провинциальные манеры, одежду и речь. Она, казалось, перехитрила самое время. Сделав вид, будто за прошедшие годы не было ни медового месяца, ни вообще каких-либо изменений, она превратила их в нечто вроде рамы, из которой смотрели пять (теперь уже пять) навеки застывших лиц, словно их запечатлели в заранее предугаданный момент их наивысшего расцвета, стерев с них все мысли и следы пережитого; они висели в пустоте, как живописные портреты людей, живших и умерших в столь давние времена, что об их радостях и горестях ныне, без сомнения, забыли даже и самые подмостки, на которых они расхаживали, становились в позы, плакали и смеялись. Так говорила Эллен; между тем мисс Роза, пропуская мимо ушей все ее речи, представляла себе эту картину по одному лишь первому слову, быть может, даже только по имени: Чарльз Бон; мисс Роза, в шестнадцать лет уже обреченная на вечное девство,

ослепленная ярким блеском призрачных иллюзий, словно лучами разноцветных лампочек в кабаре, где она впервые в жизни случайно очутилась; близоруко щурясь, она сидит там, а в лучах бесплотной мишурою сверкают мириады пылинок -- вихрем обрушившись на нее и секунду помедлив, они вновь устремляются в свой бешеный полет. Она нисколько не завидовала Джудит. Нельзя также сказать, будто она испытывала жалость к себе, когда сидела и смотрела на без умолку болтавшую Эллен, одетая в одно из перешитых на живую нитку домашних платьев (платья, которые время от времени дарила ей Эллен, иногда поношенные, но чаще совершенно новые, были, разумеется, всегда только из шелка) -- тетка бросила их, когда сбежала с барышником; быть может, надеясь или даже твердо намереваясь больше никогда ничего подобного не носить. Это была скорее просто немая тоска и даже чувство облегчения от сознанья, что теперь она может окончательно и бесповоротно похоронить все свои надежды -- ведь Джудит вот-вот претворит их в живую волшебную сказку. Позднее Эллен и впрямь рассказывала это твоей бабушке словно сказку, только сказку, сочиненную для членов фешенебельного дамского клуба и ими же разыгранную. Однако для мисс Розы все это должно было казаться вполне достоверным и не только правдоподобным, но и вполне справедливым; отсюда ее замечание, которое заставило Эллен опять покатиться со смеху от изумления (об этой, по ее словам, детской шутке она тоже рассказала). "Мы его достойны", -- изрекла мисс Роза. "Достойны? Его? -проговорила или, наверное, воскликнула Эллен. -- Разумеется, мы его достойны -- если ты предпочитаешь выразить это так. Надеюсь, ты понимаешь, что Колдфилды могут только сделать честь любому самому именитому и блестящему жениху".

Ответить на это, разумеется, нечего. По крайней мере, из рассказов Эллен никак не следует, что мисс Роза хотя бы попыталась найти какой-нибудь ответ. Она просто проводила Эллен, а затем начала готовить для Джудит второй подарок -- больше ей нечего было подарить. Теперь у нее в распоряжении было два подарка; второй тоже достался ей в наследство от тетки -- выскочив ночью в окно, та одним махом научила мисс Розу и вести хозяйство, и подгонять по фигуре платья; правда, второй дар развился позже (был, так сказать, запоздалым отзвуком), ибо, когда тетка сбежала, мисс Роза еще не доросла до ее брошенных платьев и потому их бесполезно было укорачивать. Она принялась тайком шить наряды для приданого Джудит. Материю она взяла в отцовской лавке. Больше брать ей было неоткуда. Твоя бабушка мне рассказывала, что в то время мисс Роза просто не умела считать деньги, то есть в теории она знала достоинство монет, но никогда не держала в руках наличных денег, которые можно было бы увидеть, пощупать и сосчитать; в определенные дни она отправлялась с корзинкой в город делать покупки в определенных, заранее назначенных мистером Колдфилдом лавках; никакими монетами или ассигнациями при этом -- ни на словах, ни на деле -- никто не обменивался, а позднее мистер Колдфилд шел по следу, оставленному ею в виде счетов, нацарапанных на бумаге, на стенах или прилавках, и сам их оплачивал. Поэтому ей пришлось взять материю у него, хотя своими запасами, с самого начала состоявшими лишь из предметов первой необходимости, он не мог даже прокормить себя и дочь, и запасы эти отнюдь не увеличились и тем более не стали разнообразней. И, однако, именно к нему в лавку ей пришлось отправиться в поисках материи для изготовления интимных предметов девичьего туалета, которым на самом деле следовало стать ее

собственным подвенечным нарядом, и можно лишь вообразить, какими представляла себе мисс Роза эти вещи, не говоря о том, на что они были похожи, когда она без всякой посторонней помощи их закончила. Никто не знает, как она ухитрилась взять материю в лавке у отца. Он ей ничего не давал. Он счел бы своим долгом снабдить внучку одеждой, чтобы прикрыть ее наготу или защитить ее от холода, но уж никак не для свадьбы. Поэтому я думаю, что она ее украла. Должна была украсть. Она, наверное, вытащила ее прямо из-под носа у отца (лавка была маленькая, он сам был у себя приказчиком и, находясь в любой точке, мог видеть все) со свойственным женщинам бесстыдством и склонностью к мелкому воровству, но скорее всего, я думаю, с помощью какой-то отчаянно дерзкой уловки, обманувшей его самой своею невинностью и простотой.

Итак, она даже больше не встречалась с Эллен. Эллен теперь, очевидно, уже выполнила свое предназначение и, завершив пустой короткий век веселой бабочки, исчезла -- если не из Джефферсона, то уж во всяком случае из жизни своей сестры; мисс Роза увидит ее еще всего лишь раз, на смертном одре в затемненной комнате, в доме, на который жестокая судьба уже наложила свою руку, разметав его черный фундамент и лишив его главной опоры -- обоих мужчин, мужа и сына, из которых один отправился на полное опасностей и риска поле битвы, а другой -- во тьму забвенья. Генри попросту исчез. Слухи об этом донеслись до нее, когда она целыми днями (и ночами -- ей приходилось ждать, пока отец уснет) старательно и неумело шила для приданого племянницы наряды, которые ей приходилось прятать не только от мистера Колдфилда, но и от обеих негритянок, чтобы те ему не донесли; она плела кружева из распущенных шнурков и припрятанных ниток и пришивала их к этим нарядам в то время, как пришла весть об избрании Линкольна и о

падении форта Самтер; она слушала, но все это едва ли доходило до ее сознания, и погребальный звон, возвещавший гибель ее родной земли, затерялся где-то между двумя старательными, но кривыми стежками на платье -- она никогда не наденет и не снимет его ради мужчины, которого ей даже не придется увидеть живым. Генри попросту исчез; она слышала только то, что слышал весь город, -- накануне рождества Генри снова приехал на каникулы домой вместе с Боном, красивым и богатым уроженцем Нового Орлеана, о чьей помолвке с дочерью мать за последние шесть месяцев прожужжала уши всему городу. Они приехали снова, и теперь город ждал, когда наконец объявят о торжественном дне. А потом что-то случилось. Никто не знал, что именно -- то ли что-то между Генри и Боном с одной стороны и Джудит с другой, то ли что-то между тремя молодыми людьми с одной стороны и родителями с другой. Но как бы там ни было, когда настало рождество, Генри и Бон уехали. А Эллен нигде не показывалась (она, очевидно, удалилась в затемненную комнату, откуда уже не выйдет до самой своей смерти двумя годами позже), а так как выражение лиц и поведение Сатпена и Джудит никому ничего не говорили, пришлось довольствоваться рассказами негров: о том, как в ночь под рождество вспыхнула ссора -- не между Боном и Генри и не между Боном и Сатпеном, а между сыном и отцом и что Генри по всей форме отрекся от отца, отринул свое право первородства и кров, под которым был рожден, и в ту же ночь они с Боном уехали из дому, оставив убитую горем мать -- правда, как думали в городе, ее сразило не то, что расстроилась свадьба, а просто грубое вторжение действительности в ее жизнь -- как бы удар топора, которым из жалости оглушают животное, прежде чем перерезать ему горло.

Итак, вот что услышала мисс Роза. Что она при этом подумала -- никто не знает. В городе поступок Генри приписали его горячему нраву, ведь он так молод, да притом тоже Сатпен, и решили, что время все загладит. Безусловно, такому мнению отчасти способствовало то, как Сатпен и Джудит вели себя по отношению друг к другу и к городу. Они теперь часто приезжали в Джефферсон, как будто -- по крайней мере между ними -- ровно ничего не произошло; этого, разумеется, не могло бы быть в случае ссоры отца с Боном и, вероятно, в случае какого-либо недоразумения между отцом и Генри: в городе знали, что Генри и Джудит связаны взаимоотношениями более тесными, нежели обычная привязанность между братом и сестрой; взаимоотношения очень странные, нечто вроде жестокого, но не личного соперничества между двумя юнкерами отборной роты -- они едят из одного котелка, спят под одним одеялом, подвергаются одинаковому смертельному риску и готовы пожертвовать друг за друга жизнью, однако не ради товарища, а чтобы не образовалась брешь в боевой линии части. Вот все, что узнала мисс Роза. Она не могла узнать больше того, что знал весь город, ибо те, кто знали (Сатпен и Джудит, но только не Эллен -- ей, во-первых, никто бы ничего не сказал, а во-вторых, она все равно бы забыла, не осознала, если б ей даже и сказали -- мотылек, бабочка Эллен, из-под которой вдруг ни с того ни с сего вырвали пронизанный солнцем воздух, бросив ее в затемненную комнату, и вот она лежит там совсем одна -- пухлые ручки на покрывале, а в глазах даже не боль, а просто тупое недоуменье), сказали бы ей не больше, чем любому случайному человеку в Джефферсоне или где бы то ни было. Мисс Роза, наверное, съездила туда, наверное, всего один раз, и больше уже не ездила. И наверное, сказала мистеру Колдфилду, что там все в порядке -- в чем, вероятно, не сомневалась и сама,

поскольку продолжала шить наряды для свадьбы Джудит.

Она все еще занималась этим, когда штат Миссисипи отделился и первые люди в форме конфедератов стали появляться в Джефферсоне, где полковник Сарторис и Сатпен набирали полк, который в шестьдесят первом году выступил из города -- Сатпен, помощник командира, гарцевал по левую руку полковника Сарто-риса на вороном жеребце, носившем имя героя романа Вальтера Скотта, под полковым знаменем -- знамя по их с Сарторисом наброску сшили из шелковых платьев Сарторисовы женщины. Сатпен теперь раздобрел -- не только по сравнению с тем, каким он в тот воскресный день тридцать третьего года впервые въехал в Джефферсон, но даже и с тем, каким он был, когда они с Эллен поженились. Он еще не был грузным, хотя ему уже пошел пятьдесят пятый год. Жир и толстый живот появились позднее. Они навалились на него внезапно, сразу, в тот год, когда почему-то расстроилась его помолвка с мисс Розой и она, покинув его кров, вернулась в город и с тех пор жила одна в отцовском доме и больше ни разу с ним не говорила, за исключением того единственного случая, когда, узнав, что он умер, она обратилась к нему с гневною речью. Тучность навалилась на него внезапно, словно этот, как выражались Уош Джонс и негры, видный мужчина достиг предела своего совершенства и пребывал в этом состоянии, пока не пошатнулась самая основа его жизни, и тогда что-то в его теле, между внешней формой, которую знали люди, и несгибаемым остовом, который являл собой истинную его сущность, растаяло и осело, как безжизненно обвисший воздушный шар, что держится одной лишь обманчивою оболочкой.

Она не видела, как выступил полк, потому что отец запретил ей выходить из дому, пока он не уйдет, не позволил вместе с другими женщинами и девушками

участвовать и даже присутствовать на торжествах по случаю его выступления, -- впрочем, вовсе не потому, что в полку случайно оказался его зять. Он никогда не был раздражительным человеком, и до формального объявления войны и отделения штата Миссисипи его поступки и речи протеста были не только спокойными, но логичными и вполне разумными. Но когда жребий был брошен, он, казалось, за одну ночь совершенно переменился -- точно так же, как переменился характер его дочери Эллен несколькими годами раньше. Как только в Джефферсоне стали появляться войска, он запер свою лавку и не отпирал ее все то время, пока набирали и обучали рекрутов, а после ухода полка, когда проходящие мимо воинские части располагались ночью на бивуак, ни за какие деньги ничего не продавал военным и, как говорили, не только родственникам солдат, но даже и людям, которые поддерживали отделение южных штатов и войну хотя бы только в своих словах и суждениях. Он не позволил своей сестре вернуться домой, когда ее барышник-муж вступил в армию; он даже не разрешал мисс Розе смотреть в окно на проходивших по улице солдат. Лавка теперь постоянно была закрыта, и он по целым дням сидел дома. Они с мисс Розой жили в задних комнатах; парадная дверь была заперта, ставни выходивших на улицу окон закрыты. По словам соседей, он проводил весь день, сидя у окна возле узкой щелки между шторами, словно часовой на посту, вооруженный вместо ружья большой семейной Библией, в которой его четким приказчичьим почерком были записаны даты рождения его самого и сестры, его свадьбы, рождения и свадьбы Эллен, рождения обоих внуков и мисс Розы, а также смерти жены (однако даты бракосочетания тетки там не было, ее вписала мисс Роза вместе с датой смерти Эллен в тот день, когда она вписала дату смерти самого мистера Колдфилда, Чарльза Бона и

даже Сатпена); он сидел там, пока не появлялся какой-нибудь военный отряд; тогда он раскрывал Библию и громким хриплым голосом, заглушавшим даже топот марширующих сапог, начинал декламировать древние, исполненные страстного мистического гнева отрывки, которые он заранее отметил, -- так настоящий часовой разложил бы на подоконнике свои патроны. Затем в одно прекрасное утро он узнал, что его лавку взломали и разграбили, очевидно, какие-то чужие солдаты, которые раскинули бивуак на окраине города и которых, очевидно, подстрекали, хотя, быть может, только на словах, его же собственные сограждане. В ту же ночь он поднялся на чердак с молотком и горстью гвоздей, заколотил за собою дверь и выбросил молоток из окна. Он отнюдь не был трусом. Это был человек непоколебимой нравственной силы: он приехал на новые места с небольшим запасом товаров, на которые сумел содержать в достатке и покое семью из пяти человек. Разумеется, он достиг этого сомнительными сделками -- иначе как сомнительными сделками или плутовством достичь он этого не мог, -- а твой дед говорил, что человека, который в таком краю, как штат Миссисипи в те годы, нажился бы только на продаже соломенных шляп, вожжей и солонины, его же собственная родня упрятала бы в дом умалишенных как клептомана. Но трусом он не был, хотя, как говорил твой дед, совесть его возмущалась не столько при мысли о кровопролитии и убийстве, сколько при мысли о расточительстве -- о том, что люди напрасно пожирают, уничтожают и портят добро, -- ради чего это делалось, ему было безразлично.

Теперь существование мисс Розы сводилось к тому, чтобы поддерживать жизнь в себе и в отце. Пока лавку не разграбили, они жили старыми запасами. С наступлением темноты она отправлялась с корзиной в лавку и приносила провизии, которой хватало на день

или два. Между тем запасы, и до того давно не пополнявшиеся, значительно сократились даже до разграбления лавки, и вскоре мисс Роза, которую не учили делать ничего практически полезного, ибо тетка воспитывала ее в убеждении, что она -- существо не только нежное, но еще и драгоценное, стряпала еду, день ото дня становившуюся все менее и менее доступной и все более и более неудобоваримой, а по ночам поднимала ее на чердак отцу с помощью колодезного блока и привязанной к слуховому окошку веревки. И так она три года ночами тайком снабжала человека, которого ненавидела, пищей, едва достаточной для одного едока. Возможно, она прежде не знала, что его ненавидит, возможно, она не знала этого даже теперь, и тем не менее первая из од к солдатам армии южан в том портфеле, который в 1885 году, когда его видел твой дед, содержал их свыше тысячи, была датирована первым годом добровольного заключения ее отца и написана в два часа ночи.

Потом он умер. Однажды утром рука, поднимавшая корзину с едой, за ней не протянулась. Старые гвозди все еще торчали в двери, и соседи помогли мисс Розе взломать ее топорами и нашли того, кто видел, как единственный источник его существования был разграблен его же собственными защитниками, -- правда, он отрекся и от них и от дела, за которое они боролись, -- нашли его и три нетронутых порции еды возле его соломенного тюфяка, словно за эти три последних дня он мысленно свел все счеты с этим миром, подвел итог, проверил его, а потом обратил свой мертвый, равнодушный, неумолимо осуждающий взор на картину всеобщего безумия, несправедливости и произвола. Теперь мисс Роза была не только сиротою, но и нищей. Лавка превратилась в пустую скорлупу; от брошенного строения, из которого бежали даже крысы, не осталось ничего, даже и доброго имени, ибо его

хозяин своим поведением навсегда отринул, оттолкнул от себя и соседей, и город, и сражающуюся страну. Теперь не было даже и обеих негритянок -- он освободил их тотчас, как они ему достались (кстати, он их не купил, а согласился взять в погашение долга), выправил им вольные, которых они не умели прочитать, и назначил еженедельное жалованье, которое полностью удерживал в счет их текущей цены на невольничьем рынке; и в благодарность за все это они, чуть ли не первые из джефферсонских негров, бежали и последовали за войсками янки. И потому, когда он умер, у него не оставалось ничего -- ни добра, ни сбережений. Без сомнения, единственная радость его жизни состояла не в жалком спартанском имуществе, накопленном прежде, чем его путь скрестился с путем его будущего зятя, -- не в деньгах, а в воплощаемом ими текущем счете в неком духовном банке, из которого он надеялся когда-нибудь получить проценты на вложенные туда самоотречение и стойкость. И без сомнения, во всей истории с Сатпеном его задела не столько потеря денег, сколько то, что ему пришлось пожертвовать своим имуществом, символизирующим стойкость и самоотречение, дабы сохранить в неприкосновенности тот духовный платежный баланс, который он считал раз и навсегда признанным и обеспеченным. Дело, однако, обернулось так, словно из-за какой-то ничтожной ошибки в подписи или дате ему пришлось дважды платить по одному и тому же счету.

Итак, мисс Роза была сиротою и нищей, и на всем белом свете у нее не осталось никакой родни, кроме Джудит и тетки, о которой в последний раз слышали два года назад, когда она пыталась пересечь боевые линии янки, чтобы добраться до Иллинойса, поближе к Рок-Айлендской тюрьме, где сидел теперь ее муж -- он предложил свои таланты по части поставки лошадей и мулов кавалерии конфедератов и был при этом схвачен.

Эллен уже два года как умерла -мотылек, бабочка Эллен, которую ураганом прибило к стене и которая еле-еле бьется, цепляясь за эту стену, -- нельзя сказать, чтобы она упорно цеплялась за жизнь или испытывала невыносимую боль: ведь она слишком легка, чтобы сильно ушибиться, и даже не очень ясно помнит, какою была солнечная пустота до урагана, нет, она просто оглушена и сбита с толку, эта пестрая суетная оболочка, которая даже не очень изменилась за год, что она жила впроголодь -ведь вслед за войсками янки сбежали и все Сатпеновы негры, дикая кровь, которую он привез сюда и пытался слить, смешать с прирученною местной, так же старательно и с тою же целью, как смешивал кровь своего жеребца да и свою собственную. И с одинаковым успехом: словно лишь его присутствие могло заставить этот дом принять и сохранять человеческую жизнь; словно дома и в самом деле обладают чувствами, личностью и характером, не столько приобретенными от людей, которые в них дышали или дышат, сколько изначально присущими дереву и кирпичу или сообщенными этому дереву и кирпичу тем или теми, кто их задумал и построил; этот дом, бесспорно, тяготел к заброшенности и пустоте, упорно сопротивляясь любым обитателям, если только их не поощрял и не поддерживал кто-то жестокий и сильный. Эллен, конечно, немного похудела -- но лишь так, как распадается бабочка, вступившая в стадию распада: площадь туловища и крыльев и в самом деле еле заметно уменьшается, пятнистый узор чуть-чуть сжимается, не образуя при этом, однако, ни единой морщинки, -- все то же гладкое, почти девичье лицо на подушке (правда, теперь мисс Роза обнаружила, что Эллен, очевидно, уже многие годы красила волосы), те же, почти такие же пухлые (правда, теперь уже без колец) ручки на покрывале; и только растерянность в темных непонимающих глазах свидетельствовала, что в

ней еще теплится остаток жизни, необходимый лишь для того, чтобы в предчувствии приближающейся смерти попросить семнадцатилетнюю сестру защитить ее оставшееся дитя. (Генри все еще пребывал в нетях, он добровольно отказался от права первородства и еще не вернулся, чтобы сыграть последнюю, роковую роль в судьбе своей семьи -- и эта чаша, как сказал твой дед, тоже миновала Эллен; не то чтобы это нанесло ей последний сокрушительный удар, нет, скорее это осталось бы без последствий -- ведь цепляющаяся за стену бабочка, даже еще и живая, уже не смогла бы ощутить ни потрясений, ни ветра.) Поэтому для мисс Розы было вполне естественно перебраться к Джудит; столь же естественно для нее, как и для любой другой женщины, южанки из хорошей семьи. Ей вовсе не требовалось никакого приглашения: никому бы и в голову не пришло, что она станет его ожидать. Ибо такова благородная дама с Юга. Мало того, что она без гроша за душой и без каких-либо видов на будущее, и притом зная, что это знают все, кто знает ее, с зонтиком, с собственным ночным горшком и с тремя сундуками вторгается к тебе в дом, в ту комнату, где твоя жена стелит простыни с вышивкой ручной работы, и начинает командовать всеми чернокожими слугами, которым, как и белым, доподлинно известно, что у нее никогда не будет денег на чаевые; мало того что она идет прямо на кухню, отстраняет кухарку и приправляет твой обед по своему вкусу; дело даже не в этом; оказывается, для поддержания жизни ей этого недостаточно; оказывается, она, как вампир, и впрямь питается живою кровью -- нельзя сказать, чтобы ненасытно и, уж конечно, без особой алчности, а просто с безмятежной и царственною праздностью цветка она добывает себе пропитание из старой крови -- ведь она течет и в ее жилах, -- из той крови, что пересекла

неведомые моря и континенты и вступила в бой с затаившимся в пустыне злым роком.

Именно этого от нее и ожидали. Но этого она как раз и не сделала. Между тем у Джудит все еще оставались заброшенные клочки земли, которые могли ее поддержать, не говоря уже о Клити, которая ей помогала и составляла ей компанию, и об Уоше Джонсе, который кормил ее, как кормил Эллен, пока та не умерла. Однако мисс Роза переехала туда не сразу. Возможно, она вообще никогда бы не переехала. Хоть Эллен и просила ее защитить Джудит, она, вероятно, чувствовала, что Джудит пока еще не нуждается в защите -- ведь если даже отсроченная любовь могла укрепить в ней волю к жизни и долготерпение, то эта же самая любовь, пусть даже и отсроченная, должна сохранить и действительно сохранит Бона до той поры, пока безумие мужчин истощится, зайдет в тупик, и он вернется оттуда, где был, и привезет с собою Генри -Генри, жертву того же безумия и злосчастья. Она, наверное, время от времени виделась с Джудит, и Джудит, возможно, уговаривала ее переехать в Сатпенову Сотню, но я думаю, что не поехала она туда именно по этой причине, хотя понятия не имела, где находятся Бон и Генри, а Джудит, по-видимому, не пришло в голову ей об этом сообщить. Ибо Джудит это знала. Она, вероятно, знала это уже давно, и даже Эллен могла это знать. Но может быть, Джудит не рассказала об этом даже и матери. Может быть, Эллен так до самой смерти и не узнала, что Генри и Бон теперь служили рядовыми в роте, сформированной их однокашниками по университету. Первое за все четыре года известие о том, что племянник ее еще жив, мисс Роза получила в тот день, когда Уош Джонс верхом на единственном оставшемся у Сатпена муле подъехал к ее дому и принялся громко звать ее по имени. Она видела его и раньше, но теперь не узнала -долговязый,

костлявый, желтый от малярии детина со светлыми глазами и физиономией, которая с одинаковым успехом могла принадлежать человеку любого возраста от двадцати пяти до шестидесяти лет, сидел верхом на неоседланном муле у калитки и до тех пор выкрикивал: "Эй, эй!", пока она не подошла к дверям, после чего он чуть-чуть понизил голос, хотя и не слишком. "Вы будете Рози Колдфилд?" -- спросил он.

IV

Квентин ждал дома - было еще слишком светло, во всяком случае, слишком светло для мисс Колдфилд, даже если принять во внимание, что предстоит проделать двенадцать миль туда и двенадцать обратно. Квентин это знал. Казалось, он видит, как она сидит и ждет в одной из душных темных комнат своего унылого одинокого домика. Света она не зажигала - ведь она скоро уедет из дому, а какой-то духовный наследник или родич тех, кто некогда объяснял ей, что от света и движения воздуха веет жаром, наверное, внушил ей также, будто стоимость электричества, которую показывает счетчик, зависит не от фактической продолжительности горения, а от количества энергии, затраченной на преодоление инерции при повороте выключателя. Она уже, наверное, надела черную шляпку с черными блестками - он знал и это, - а также шаль; она сидит в сгущающихся мертвых сумерках и уже сейчас держит в руках или на коленях ридикюль со всеми ключами: от кладовки, буфета и от дома, который она собирается покинуть всего на каких-нибудь шесть часов, и, подумал он, непременно зонтик от солнца и от дождя; она сидит и думает, что теперь ей не страшна любая непогода; хотя до сегодняшнего дня он за всю свою жизнь не обменялся с ней и сотнею слов, ему было известно, что она до этого вечера, возможно даже за все свои сорок три года, ни разу не выходила из дому после захода солнца, если не считать

молитвенных собраний по средам и воскресеньям. Да, зонтик она возьмет непременно. С ним она выйдет на порог, когда он за нею заедет; она не выпустит его из рук весь вечер, душный, знойный, сухой вечер без капли росы - даже теперь, когда стало темнеть, жара нисколько не спала, и лишь светляки чуть-чуть быстрее и суматошнее закружились вокруг веранды, где он сидел, когда мистер Компсон с письмом в руке вышел из комнат и мимоходом щелкнул выключателем лампочки, освещавшей крыльцо.

- Здесь его не разберешь, тебе, наверно, придется войти в дом, - сказал мистер Компсон.

- Я, пожалуй, и здесь разберу, - ответил Квентин, поднимаясь со стула.

- Возможно, ты и прав. Возможно, дневной свет, не говоря уже о ней, мистер Компсон махнул рукой в сторону единственной засиженной мухами, за долгое лето покрывшейся толстым слоем пыли лампочки, которая, впрочем, и без того светила очень слабо, - возможно, и такой свет будет слишком ярок для них. Да, для них, кто жил в те дни, в те времена, в те мертвые времена; люди, как и мы, жертвы, как и мы, они были, однако, жертвами других, более простых и - если рассматривать каждое поколение в целом - более значительных, более героических обстоятельств, и потому сами они тоже не жалкие запутавшиеся пигмеи, а фигуры более крупные, героические, простые и ясные; наделенные даром любить только раз и умирать только раз; это не жалкие марионетки, чьи головы, руки и ноги ярмарочный комедиант наудачу вытаскивает из мешка и, как попало прикрепив к туловищу, заставляет тысячу раз подряд становиться то убийцами, то жертвами убийства, тысячу раз сходиться и снова расходиться. Возможно, ты и прав. Возможно, более яркий свет им совершенно не нужен. - Однако письмо он дал Квентину не сразу.

Он снова сел; Квентин тоже сел, взял с перил веранды сигару, кончик ее снова начал тлеть; аромат глицинии разноцветным дымом плыл по лицу Квентина; мистер Компсон поднял ноги на перила веранды, в руке он держал письмо, и рука его на фоне полотняной штанины казалась черной, как у негра.

- Ведь Генри любил Бона. Он отрекся от права первородства и от материального достатка ради человека, который если и не был законченным негодяем, то уж во всяком случае намеревался стать двоеженцем; ради человека, на мертвом теле которого Джудит четыре года спустя найдет фотографию другой женщины и ребенка. Он (Генри) так сильно его любил, что бросил отцу обвинение во лжи, хотя должен был понять, что отец не мог и не стал бы утверждать ничего подобного без веских к тому оснований и доказательств. И все же Генри это сделал, он сам, своей рукою, нанес удар, хотя и должен был знать: то, что отец говорил ему про женщину и ребенка, правда. Он должен, непременно должен был сказать себе в тот сочельник, когда в последний раз закрыл за собою дверь библиотеки, и должен был повторять, когда вместе с Боном сквозь студеную тьму того рождественского утра скакал верхом прочь от дома, в котором он родился и который увидит снова всего один лишь раз - в тот день, когда руки его обагрятся свежей кровью того самого человека, что теперь ехал рядом с ним; он должен был сказать себе: {Я хочу верить. Хочу, хочу. Даже если это так, даже если отец сказал мне правду и если я наперекор себе не могу не признать, что это правда, я все равно хочу и буду верить}. Да и что еще мог он надеяться найти в Новом Орлеане, если не правду? Но кто знает, почему человек, даже страдая, цепляется не за здоровую руку или ногу, а за ту, которую, как он знает, должны у него отнять? Ведь он любил Бона. Мне кажется, я вижу его и Сатпена в

библиотеке в тот сочельник отца и сына; слышу утверждение и обвинение во лжи, как звук и отзвук, как громовой раскат и эхо сразу вслед за ним, и Генри тотчас делает свой непреложный выбор между отцом и другом, выбор (как ему, наверное, казалось) между честью и любовью, с одной стороны, и кровью и выгодой - с другой, хотя в то самое мгновенье, когда он обвинял отца во лжи, он знал, что это правда. Отсюда эти четыре года, этот искус. Даже тогда, в тот сочельник, он должен был знать, что это напрасно, а тем более когда узнал и собственными глазами увидел все в Новом Орлеане. К тому времени он, вероятно, уже настолько изучил Бона, что должен был понять: раз тот не изменился прежде, то, скорей всего, не изменится и позже, и все равно он (Генри) не мог сказать другу: {Я сделал то из любви к тебе, сделай же это из любви ко мне}. Понимаешь, он не мог этого сказать - он, этот человек, этот юноша, едва достигший двадцати лет, отвернулся от всего, что у него было в жизни, чтобы связать свою судьбу с единственным другом, которого - даже в ночь их отъезда он должен был это знать, как знал, что отец сказал ему правду, - которого он обречен и вынужден убить. Он должен был знать это точно так же, как знал, что надежда его напрасна; какая надежда, на что - он и сам не мог бы сказать; какая надежда, в каком сне ему могло привидеться, будто изменился друг или обстоятельства, в которые они попали; какая надежда, какой сон, от которого он в одно прекрасное утро пробудится и поймет, что это был лишь сон, - так в горячечном бреду раненому мерещится, будто его нежно любимая рука или нога цела и невредима, а болят у него только здоровые.

Это был искус для самого Генри, и Генри заставил всех троих ждать, на что - до известного предела - пошла даже и Джудит. Она не знала, что случилось в библиотеке в ту ночь. По-моему, она ничего не

подозревала, до того, как четыре года спустя увидела их снова в тот день, когда в дом внесли тело Бона и она нашла в кармане его мундира фотографию, на которой было не ее лицо и не лицо ее ребенка; а в то рождество она просто проснулась утром и узнала, что они уехали, и осталось только письмо, записка - от Генри, ведь он, без сомнения, запретил Бону ей писать - весть о перемирии, об искусе, и Джудит до известного предела на это пошла - Джудит, которая ослушалась бы любого приказа отца так же мгновенно, как Генри бросил ему вызов; она ведь и Генри послушалась не потому, что он был родственником, братом, а лишь в силу их особых отношений - они составляли как бы одно существо с двумя телами, и обоих одновременно обольстил человек, которого Джудит к тому времени еще ни разу не видела. Оба - и Джудит и Генри - знали, что она выдержит искус и позволит ему (Генри) использовать этот перерыв, но лишь до обоюдно ими признанного, хотя точно и не названного и не обозначенного предела, причем оба, конечно, не сомневались, что, когда дойдет до этого предела, она так же спокойно откажется от уступок, традиционно свойственных слабому полу, нарушит перемирие и встретит его как врага, отнюдь не требуя и даже не желая присутствия и помощи Бона, и, без сомнения, даже не позволит ему вмешаться, если б он при сем и присутствовал, а сначала - как мужчина с мужчиной вступит в бой с Генри и лишь потом согласится снова стать женщиной, возлюбленной и невестой. Ну, а Бон? Генри едва ли мог рассказать Бону, что говорил ему отец, равно как едва ли мог возвратиться к отцу и заявить ему, что Бон это отрицает - ведь, чтобы сделать одно, ему пришлось бы сделать и другое, а он знал, что отрицание Бона было бы ложью, и хотя сам мог стерпеть ложь Бона, ни за что бы не повторил ее ни отцу, ни Джудит. К тому же Генри

вовсе не нужно было рассказывать Бону о происшедшем.

Ведь как только Бон тем первым летом приехал домой, он, несомненно, узнал, что Сатпен был в Новом Орлеане. Он, несомненно, понял, что Сатпен теперь знает его тайну - если только Бон, прежде чем он увидел, как отнесся к его тайне Сатпен, вообще считал, что такие вещи следует хранить в тайне, а тем более что они могут быть серьезным препятствием для женитьбы на белой женщине - ведь в подобном положении, по всей вероятности, находились все его современники, которые могли себе это позволить, и ему так же мало могло прийти бы в голову извещать об этом свою жену или невесту, как раскрывать им секреты студенческого братства, в которое он вступил до женитьбы. В сущности, единственное, чем родственники его нареченной невесты когда-либо его удивили, так это именно своим отношением к этому открытию. Если кто из них производит на меня странное впечатление, так это именно он. Он явился в эту обособленную пуританскую семью почти так же, как сам Сатпен некогда явился в Джефферсон, - человек неизвестного происхождения, по всей видимости совершенно сложившийся, без прошлого, без детства, без родни, с виду немного старше своих лет, в ореоле какого-то языческого великолепия; человек, который, очевидно, без всяких усилий и даже без особого желания обольстил двух провинциалов - брата и сестру, вызвал всю эту сумятицу и тем не менее с той самой минуты, когда он понял, что Сатпен старается помешать свадьбе, превратился как бы в простого зрителя - бездеятельного, слегка насмешливого и в высшей степени загадочного. Кажется, будто он почти бесплотной тенью витает где-то позади или выше всех этих прямолинейных и логичных, хотя и не совсем (для него) понятных требований, заявлений, утверждений и

отрицаний с видом насмешливой и ленивой отчужденности, словно юный римский консул, который, дабы пополнить свое образование, путешествует по областям, где обитают орды варваров, некогда покоренные его дедом, и вынужден остановиться на ночлег посреди дышащего миазмами, населенного призраками глухого леса, в жуткой землянке, принадлежащей сварливому ребячливому семейству. Кажется, будто он находит всю эту историю не то чтобы непонятной, а попросту ненужной; будто он сразу понял, что Сатпен узнал про его любовницу и ребенка, и теперь действия Сатпена и ответные действия Генри представляются ему (Бону) бестолковой суетой одержимых моральными запретами людей, недостойных называться мыслящими, он рассматривает их с тем бесстрастным вниманием, с каким изучает мышцы захлороформированной лягушки постигший всю бездну премудрости ученый, по сравнению с которым Генри и Сатпен просто троглодиты. И это странное впечатление производит не столько его внешность, манера ходить, говорить, одеваться, провожать Эллен к столу и к карете и (возможно, даже наверное) целовать ей руку, чем Эллен с такой завистью восхищалась, мечтая, чтобы все это перенял Генри, сколько он сам невозмутимое фаталистическое спокойствие, с которым он наблюдал за этими людьми, предоставляя им действовать по своему усмотрению, словно все время знал, что ему надо ждать удобного случая - и только; знал, что окончательно и бесповоротно обольстил и Генри и Джудит, а раз так, то ему нечего бояться, что он не сможет жениться на Джудит, когда захочет. Не основанная частью на инстинкте, частью на вере в удачу, частью на мускульной привычке нервов и чувств почти бессознательная хитрость игрока, который ждет случая урвать как можно больше из того, что само идет ему в руки, а какой-то сдержанный стойкий оптимизм,

много поколений назад освободившийся от всех побрякушек и трескучих фраз таких людей (да, таких, как Сатпен, Генри, да и Колдфилды тоже), которые еще не совсем вышли из варварства и ближайшие две тысячи лет все еще будут торжествующе сбрасывать с себя ярмо латинской культуры и интеллекта - никогда, впрочем, особенно им не угрожавшее.

Ведь он любил Джудит. "По-своему", - несомненно, добавил бы он, ибо, как вскоре узнал его нареченный тесть, он уже не первый раз играл эту роль, не первый раз давал такие клятвенные обещания, какие он давал Джудит, не говоря уже о том, что не в первый раз намеревался связать себя этими узами, на свой лад проводя различие (он был или, по крайней мере, считался, католиком) между торжественным обрядом с белой женщиной и с той, другой. Сейчас ты увидишь письмо - не первое его письмо к ней, но, во всяком случае, первое, единственное, как было в то время известно твоей бабушке, которое она когда-либо показывала, и, поскольку ее теперь нет на свете, мы можем считать его единственным, которое она сохранила, если, конечно, после ее смерти мисс Роза или Клити не уничтожили все остальные, да и это сохранилось не потому, что Джудит его сберегла, а потому, что она сама принесла и отдала его твоей бабушке после смерти Бона, возможно, в тот самый день, когда она уничтожила остальные его письма (разумеется, если считать, что уничтожила их она сама), надо думать, в тот день, когда она нашла в мундире Бона портрет его любовницы-окторонки и мальчика. Ведь он был ее первым и последним возлюбленным. Она, наверное, смотрела на него точно такими же глазами, как Генри. И было бы трудно сказать, кому из них он казался великолепнее - той, что лелеяла надежду, пусть даже неосознанную, присвоить его себе посредством обладания, или тому, кто был

лишен всякой надежды, ибо знал, что их разделяет непреодолимый барьер пола - он, этот человек, которого Генри, быть может, впервые увидел, когда он ехал по университетской роще верхом на одной из принадлежащих ему двух лошадей, или когда он пересекал дворик в плаще отчасти французского покроя и в шляпе, или же (так мне хотелось бы думать) когда его по всей форме представили Бону, причем тот в цветастом, почти женском халате сидел, откинувшись на спинку кресла у залитого солнцем окна одной из своих комнат - красивый, элегантный, со слегка кошачьими повадками, он был слишком стар для своего окружения, слишком стар не по годам, а по жизненному опыту; от него почти осязаемо веяло духом пресыщенья, как от человека, который все познал, завершил все свои дела, удовлетворил все вожделения, исчерпал и даже позабыл все наслажденья. И потому не только для Генри, но и для всех студентов этого нового, маленького провинциального университета он должен был составлять источник не зависти - ибо завидовать можно лишь тому, кто, как тебе кажется, не имеет над тобою никаких преимуществ, разве что случайных; ведь и тебе когда-нибудь улыбнется фортуна, и ты их тоже приобретешь, - не зависти, а отчаяния, горького, страшного, нестерпимого, безнадежного отчаяния юности, которое порой выливается в оскорбление и даже насилие, обращенное против того, кто это отчаяние породил, или, в крайних случаях, как это было с Генри, в оскорбление и насилие, обращенное против всех и каждого, кто посмеет этого человека опорочить - о чем свидетельствует бешеная ярость, с какою Генри отрекся от отца и права первородства, когда Сатпен запретил свадьбу. Да, он любил Бона, который обольстил его столь же неоспоримо, сколь он обольстил Джудит - этот парень, родившийся и выросший в глуши, подобно остальным пяти или шести студентам, тоже

сыновьям плантаторов, которых Бон приблизил к своей особе и которые, как обезьяны, подражали его одежде, манерам и (в меру своих возможностей) его образу жизни, - и этот парень смотрел на Бона, как герой некоей "Тысячи и одной ночи" для юношества, который случайно наткнулся на волшебный камень или талисман, наделивший его не мудростью, не властью, не богатством, а способностью и возможностью непрерывно, неустанно и ненасытно переходить от одного невообразимого наслаждения к другому. Их изумление и безнадежная горькая обида еще больше усиливались оттого, что этот сибарит, который нежился в роскошных покоях, разодетый в диковинные, почти женские наряды, ничуть не скрывал от них своей пресыщенности. Генри провинциал, чуть ли не простак, склонный скорее к диким безотчетным выходкам, нежели к размышлениям и, как всякий провинциал, страстно гордившийся девственностью своей сестры, - не мог не сознавать, что эта гордость противоречит самой себе, ибо девственность ценится и существует лишь благодаря своей недолговечности, и лишь ее утрата, отсутствие могут доказать, что она вообще когда-либо существовала. В сущности, это, вероятно, и есть кровосмешение в его чистом, законченном виде - брат понимает: для того чтоб девственность его сестры существовала, ее надо уничтожить, и он отнимает у сестры девственность через посредство зятя, человека, которым он был бы, если бы мог превратиться, воплотиться в любовника, мужа - того человека, которого он принял бы, избрал в качестве похитителя своей собственной невинности, если бы мог превратиться, воплотиться в сестру, любовницу, невесту. Быть может, именно это и происходило - если не в сознании Генри, то в его душе. Ибо он никогда не думал. Он чувствовал и мгновенно переходил от чувства к действию. Он знал верность и хранил ее, он

знал гордость и ревность, он любил, скорбел и убивал, все еще скорбя и, я думаю, все еще продолжая любить Бона, человека, которому он дал четыре года, чтобы тот прошел искус, отринул и расторг свой первый брак, хотя и сознавал, что все эти четыре года надежд и ожиданий пропадут напрасно.

Да, Джудит обольстил Генри, а вовсе не Бон, доказательством чему служит весь их на редкость безмятежный роман; помолвка (если вообще можно говорить о помолвке), длившаяся целый год, но включавшая лишь два визита на каникулах, во время которых Бон в качестве гостя ее брата, по-видимому, либо катался верхом и охотился вместе с Генри, либо изображал томный, изящный, загадочный тепличный цветок с одним лишь названием города вместо происхождения, истории и прошлого, цветок, вокруг которого бабочка Эллен беспечно порхала и трепыхалась последние дни своего бабьего лета; им, живым человеком, понимаешь ли, завладели, как вещью. Дни были заполнены до предела, и не было никакого просвета, промежутка, перерыва, когда он мог бы поухаживать за Джудит. Его просто невозможно представить себе наедине с Джудит. Попробуй - ив лучшем случае вместо них ты увидишь лишь тени, тогда как сами они, без сомнения, каждый в отдельности, пребывали где-то в другом месте - две тени, не ведая тревог и плотских вожделений, прогуливаются летним днем по саду - два безмятежных призрака, бесстрастно, внимательно и молча витают, глядя сверху и сзади на зловещую грозовую тучу, из которой несокрушимый как скала Сатпен и неуемный, неистовый Генри, вспыхивая, сверкая и угасая, мечут друг на друга ослепительные молнии запретов, ослушания и непокорства - Генри, который до того ни разу не был даже и в Мемфисе, который ни разу не покидал родного дома до того сентября, когда он в своем провинциальном костюме

отправился в университет верхом на новой кобыле в сопровождении конюха-негра; ты увидишь их всех, шесть или семь человек одинакового происхождения, живших в одно и то же время, которые если и отличались от своих кормильцев - чернокожих рабов, то чисто внешне пищей, одеждой и повседневными занятиями - одинаковый пот, с тою лишь разницей, что одни проливали его, работая в поле, а для других он был ценою скудных спартанских развлечений - бешеных скачек и охоты, доступных им лишь потому, что им не приходилось потеть на полях; одинаковые забавы - у одних игра на старые ножи, медные побрякушки, табак, пуговицы или куртки, потому что это всегда под рукой; у других - на деньги, лошадей, часы и пистолеты, и по той же причине; одинаковые вечеринки с танцами под одинаковую музыку одинаковых, грубо сработанных скрипок и гитар - здесь, в господском доме, со свечами, шелковыми туалетами и шампанским, там, в хижине с земляным полом, при дымящих сосновых лучинах, в ситцевых платьях и с водой, подслащенною патокой, - да, конечно, Джудит обольстил Генри, потому что Бон в то время еще даже ни разу ее не видел. Он, наверное, слушал только краем уха косноязычные рассказы Генри о его жизни и о короткой, весьма заурядной родословной и потому едва ли запомнил, что у Генри есть сестра - он, этот ленивец, человек слишком старый, чтобы водить компанию с юношами, почти детьми, среди которых он теперь жил; этот человек, который временно играл не свою роль и хорошо это знал, мирился с этим потому, что была причина, заставлявшая его терпеть, достаточно веская и явно слишком важная, или, во всякое случае, слишком личная, чтобы открыть ее своим теперешним знакомым, этот человек, который позже выказал такую же лень, почти полное отсутствие интереса, такое же безразличие, когда поднялся шум вокруг помолвки,

которая - сколько было известно в Джефферсоне - так и не состоялась и существования которой сам Бон никогда не подтверждал и не отрицал; он оставался на заднем плане, пассивный и бесстрастный, словно в этой истории был замешан не он и даже не какой-то отсутствующий приятель, от чьего имени он действовал, а словно человек, который и в самом деле был в ней замешан и получил отказ, совершенно ему неизвестен и даже безразличен. Казалось, никакого романа не было даже и в помине. Судя по всему, он оказал Джудит весьма сомнительную честь тем, что не сделал даже попытки ее погубить, и к тому же отнюдь не настаивал на свадьбе - ни до, ни после запрещения Сатпена, - и это, заметь себе, человек, который еще в университете пользовался репутацией сердцееда задолго до того, как Сатпен нашел тому доказательства. Итак, не было ни помолвки, ни даже романа; они с Джудит за два года виделись три раза, всего-навсего семнадцать дней, включая время, которое отняла Эллен, и расстались, даже не попрощавшись. И тем не менее четыре года спустя Генри пришлось убить Бона, чтобы помешать им жениться. Вот почему обольстил Джудит именно Генри, а отнюдь не Бон - обольстил ее, а заодно и самого себя с расстояния, отделявшего Оксфорд от Сатпеновой Сотни, а ее - от человека, которого она еще даже и не видела; обольстил, очевидно, посредством той телепатии, благодаря которой они в детстве порою, казалось, заранее предвидели поступки друг друга, как две птицы, что одновременно вспархивают с ветки, - это не та взаимосвязь, что, согласно ходячему заблуждению, существует между близнецами, а скорее та, что может существовать между двумя людьми, которых, невзирая на их пол, возраст, наследственность, расу и язык, сразу после рождения высадили на необитаемый остров - островом здесь была Сатпенова Сотня, а уединение,

одиночество создавала тень отца, с которым не только город, но даже и семья их матери всего лишь заключили перемирие, а отнюдь не приняли и с ним не породнились.

Ты представляешь себе? Вот они - эта девочка, эта выросшая в глуши девушка видится с человеком в среднем по одному часу в день на протяжении двенадцати дней его жизни, к тому же за период в полтора года, и тем не менее так жаждет выйти за него замуж, что вынуждает своего брата прибегнуть к последнему средству - убийству, чтобы это замужество предотвратить, и это после четырех лет, в течение которых она даже не всегда была уверена, что он еще жив; отец, который видел того человека всего лишь раз и тем не менее отправился за шестьсот миль, чтобы навести о нем справки и найти либо то, что он - не иначе как в силу ясновиденья - уже подозревал, либо по крайней мере нечто такое, на основании чего можно запретить свадьбу; брат, для которого честь и счастье сестры - принимая во внимание их странные и необычные взаимоотношения - еще более драгоценны, чем для отца, и который тем не менее отстаивает эту свадьбу до такой степени, что отрекается от отца, от родного дома и семьи и четыре года сопровождает отвергнутого жениха, служит ему, а затем его убивает, очевидно по той же причине, по какой четырьмя годами раньше покинул свой дом; и, наконец, возлюбленный, который явно помимо своей воли и желания был втянут в помолвку, чего, казалось, он хотя и не домогался, но и не избегал, который столь же иронически и бесстрастно принял отказ и тем не менее четыре года спустя так возжаждал этой женитьбы, прежде совершенно его не интересовавшей, что вынудил брата, ранее отстаивавшего эту женитьбу, убить его, только чтобы ее предотвратить. Да, если даже допустить, что для неискушенного в правилах светского обращения Генри,

не говоря уж об его умудренном житейским опытом отце, уже одного существования любовницы с одной восьмою и сына с одной шестнадцатою долей негритянской крови (даже если принять во внимание морганатический брак - такую же неотъемлемую часть общественной и светской экипировки богатого молодого жителя Нового Орлеана, как его бальные туфли) было достаточно - хотя такая щепетильность в вопросах чести несколько чрезмерна даже для тех призрачных образцов добродетели, какими были наши предки - равно и мужчины и женщины, родившиеся на Юге и достигшие совершеннолетия около 1860 или 1861 года. Это просто невероятно. Это просто ничего не объясняет. Или может быть так: они нам ничего не объясняют, а нам самим ничего знать не полагается. До нас дошли лишь кой-какие изустные предания; мы извлекаем из старинных сундуков, ящиков и картонок письма без обращения и подписи, в которых некогда жившие мужчины и женщины теперь являют собой лишь инициалы или прозвища, символы каких-то теперь совершенно непонятных страстей, которые звучат для нас как санскрит или язык индейцев чокто; мы видим смутные силуэты людей, в чьей горячей плоти и крови дремали в ожидании мы сами, людей, которые, все больше и больше удаляясь в смутную глубину веков, принимают теперь размеры поистине героические и разыгрывают перед нами сцены неподвластных времени и непостижимых первобытных страстей и первобытного насилия. Да, все они - Джудит, Бон, Генри, Сатпен. Они все здесь, и все равно чего-то не хватает; они напоминают химическую формулу, которую мы осторожно извлекли вместе с письмами из того самого забытого сундука - старинная выцветшая бумага крошится, чернила поблекли, мы с трудом разбираем почерк, странно знакомый, полный глубокого значения и смысла, знак и след неуловимых,

наделенных чувствительностью элементов; мы соединяем их в требуемых пропорциях, но ничего не происходит; мы внимательно, сосредоточенно, вдумчиво перечитываем все сначала, убеждаемся, что ничего не забыли, не допустили ни малейшей погрешности в расчетах, мы соединяем их снова, и снова ничего не происходит - перед нами всего лишь слова, символы, формы - смутные, загадочные, равнодушные - на бурном фоне кровавых и страшных человеческих деяний.

Бон и Генри приехали из университета на эти первые рождественские каникулы. Джудит, Эллен и Сатпен увидели его впервые, - Джудит увидела человека, в обществе которого проведет всего двенадцать дней, но запомнит настолько, что четыре года спустя (за это время он ни разу ей не написал. Генри не позволял ему - понимаешь, ведь он проходил искус), получив от него письмо со словами Мы ждем уже достаточно долго, тотчас начнет вместе с Клити шить из лоскутков и обрезков фату и подвенечное платье; Эллен увидела в нем изысканное, причудливое и как бы даже бесполое произведение искусства, которым она с детской жадностью вознамерилась украсить свой дом; Сатпен после первой же встречи, когда помолвка существовала только в воображении его жены, усмотрел в Боне потенциальную угрозу достигнутому им (наконец-то) блестящему завершению всех его долгих трудов и честолюбивых замыслов, угрозу, представлявшуюся ему настолько очевидной, что для доказательства ее реальности он предпринял путешествие за шестьсот миль - и это сделал человек, который вызвал бы на дуэль и застрелил любого, кого он опасался или невзлюбил, но и десятка миль бы не проехал, чтоб навести о нем справки. Понимаешь? Может даже показаться, что путешествие Сатпена в Новый Орлеан просто случайность, еще один

бессмысленный подвох злого рока, избравшего своею жертвой именно эту семью из всех остальных жителей округа или даже всей страны - точно так же мальчишка, сам не зная почему, обливает кипятком именно этот муравейник - и никакой другой. Бон и Генри пробыли в Сатпеновой Сотне две недели и отправились назад в университет; по дороге они заехали навестить мисс Розу, но ее не оказалось дома; весь долгий весенний семестр они болтали, ездили верхом и учились (Бон изучал право. Ему, в сущности, не оставалось ничего другого, - если не считать ту причину, что заставила его оставаться здесь - ибо только эти занятия, это копанье в запыленных ветхих фолиантах Блэкстоуна и Коука отлично сочетались с его томной ленью, лишь они могли скрасить его пребывание в этом университете, число студентов которого все еще обозначалось двузначной цифрой, а на юридическом факультете кроме него и Генри числилось всего шесть человек, - да, он соблазнил Генри и на это - Генри перешел на юридический в середине семестра), причем Генри обезьянничал, скорее даже повторял в карикатурном виде его манеру говорить и одеваться. А Бон, хотя уже и познакомился с Джудит, очевидно, оставался все тем же ленивцем с кошачьими повадками, которому Генри теперь навязал роль жениха своей сестры, подобно тому как во время осеннего семестра Генри и его однокашники навязали Бону роль Лотарио; Эллен и Джудит теперь два или три раза в неделю ездили за покупками в город и однажды заглянули к мисс Розе по дороге в Мемфис, куда они отправились в карете; впереди ехал фургон для багажа, а на облучке рядом с кучером восседал второй черномазый, в чьи обязанности входило через каждые несколько миль разводить костер и калить кирпичи, на которых грели себе ноги Эллен и Джудит; они ездили по лавкам, покупая приданое на свадьбу, хотя помолвка

существовала пока только в воображении Эллен; между тем Сатпен, который видел Бона всего лишь один раз, теперь, когда тот вторично приехал в его дом, находился в Новом Орлеане, где наводил о нем справки, и кто знает, о чем он думал, какого дня, какой минуты ожидал, чтобы поехать в Новый Орлеан и найти там нечто, очевидно, уже давно ему известное? Ему не с кем было поговорить, не с кем поделиться своими страхами и подозрениями. Он не доверял ни одному мужчине, ни одной женщине, он, этот человек, которого не любил никто - ни один мужчина, ни одна женщина, - ведь Эллен была не способна любить, а Джудит была слишком на него похожа, а что до сына, то Сатпен, наверное, с первого взгляда увидел, что Бон - хотя дочь еще можно от него спасти - сына его уже соблазнил. Понимаешь, он добился слишком большого успеха и был одинок из-за презрения и недоверия, которые успех приносит тому, кто добился его благодаря своей силе, а не просто удаче.

Потом настал июнь и конец учебного года, и Генри с Боном вернулись в Сатпенову Сотню - Бон собирался провести там день или два, а потом отправиться верхом к Реке, чтоб ехать пароходом домой в Новый Орлеан, куда уже уехал Сатпен. Он пробыл там всего два дня, и только теперь ему представился случай объясниться с Джудит, а быть может, даже в нее и влюбиться. Это был единственный случай, другого ему не представится, хотя, конечно, ни он, ни Джудит не могли этого знать - ведь хотя Сатпен всего две недели назад уехал из дома, он наверняка уже разведал про любовницу-окторонку и мальчика. Итак, Бон и Джудит в первый и в последний раз, можно сказать, получили свободу действий - то есть могли бы ее получить, потому что на самом деле свободу действий имела только Эллен. Воображаю, как она трудилась над этим романом, предоставляла Джудит и Бону возможности для объяснений и

свиданий, ходила за ними по пятам с робким, но железным упорством, от которого они напрасно старались уклониться: Джудит хотя и сердито, но все еще невозмутимо, Бон - с насмешливым недоуменьем и досадой, что, очевидно, было обычным проявлением этого непроницаемого и неуловимого характера. Да, именно неуловимого - это был миф, призрак, нечто ими же самими порожденное и созданное - некая эманация сатпеновской крови и характера, словно как человек он вовсе и не существовал.

Однако было мертвое тело, которое мисс Роза видела, а Джудит похоронила на фамильном кладбище рядом с матерью. И еще: то обстоятельство, что даже такая, совершенно неопределенная, никогда никем не упомянутая помолвка не распалась, доказывается хотя бы и от обратного, - что они действительно любили друг друга - ведь за эти два дня какой-нибудь легкомысленный флирт сошел бы на нет, погиб от одной только приторной сладости и слишком многочисленных возможностей. Потом Бон поехал к Реке и сел на пароход. И вот еще что: кто знает, быть может, если бы Генри поехал с ним в то лето, не дожидаясь следующего, Бону не пришлось бы умереть так, как он умер; если б только Генри тогда поехал в Новый Орлеан и тогда же, пока еще не стало слишком поздно, узнал про любовницу и ребенка, он мог бы отнестись к этому открытию точно так же, как Сатпен, как можно было ожидать от ревнивого брата; ведь кто знает - быть может, Генри бросил свое обвинение во лжи не потому, что речь шла о любовнице и ребенке, то есть о двоеженстве, а потому, что услышал об этом от отца, который его опередил, от отца - естественного врага и сына и жениха дочери, чьим союзником выступает мать, тогда как после свадьбы отец становится союзником зятя, который приобретает себе смертельного врага в лице тещи. Но Генри в тот раз не

поехал. Он проводил Бона до Реки и вернулся обратно; через некоторое время возвратился домой и Сатпен - куда и зачем он ездил, никто до следующего рождества не узнает; и прошло то лето, последнее лето мира и довольства, когда Генри, - разумеется, сам того не сознавая, - способствовал сближению Бона с Джудит гораздо больше, нежели сам Бон - этот ленивый фаталист вряд ли стал бы до такой степени себя утруждать, - а Джудит внимала ему с тем безмятежным непроницаемым спокойствием, которое еще год назад было смутной и бесцельной мечтательностью молодой девицы, теперь же превратилось в спокойную сдержанность зрелой - зрелой и влюбленной - женщины. Именно тогда начали приходить письма, и Генри читал их все подряд, без всякой ревности, самоотверженно и безоглядно перевоплощаясь в того, кто должен был стать возлюбленным его сестры. А Сатпен еще ничего не говорил о том, что он узнал в Новом Орлеане, а только ждал, не внушая ни малейших подозрений ни Джудит, ни Генри, ждал неизвестно чего, быть может, надеясь, что Бон, узнав - а он неизбежно должен был это узнать, - что Сатпен открыл его тайну, поймет, что его карта бита, и на следующий год даже не вернется в университет. Однако Бон вернулся. Они с Генри снова встретились в университете; письма - теперь уже и от Генри и от Бона - каждую неделю привозил в Сатпенову Сотню конюх Генри, а Сатпен все еще ждал, теперь уж поистине неизвестно чего, - ведь нельзя же предположить, что он ждал рождества и неминуемой катастрофы - он, человек, о котором говорили, будто он не только шел навстречу своим невзгодам, но порою создавал себе их сам. Но на этот раз он их ждал и дождался: наступило рождество, Генри с Боном снова приехали в Сатпенову Сотню, и теперь Эллен удалось даже убедить весь город, будто помолвка и в самом деле существует;

настало 24 декабря 1860 года; черномазые ребятишки с ветками остролиста и омелы уже притаились на задах господского дома в ожидании минуты, когда можно будет пожелать белым людям веселого рождества; столичный богач приехал ухаживать за Джудит, а Сатпен все еще молчал, не внушая подозрений никому, разве что Генри, который в тот же вечер довел дело до катастрофы; между тем как Эллен качалась на гребне волны своей придуманной пустопорожней жизни, что на рассвете следующего дня рухнет, оглушит ее и, оторопевшую и растерянную, унесет и бросит в затемненную комнату, где она спустя два года и скончается, - итак, сочельник, взрыв, и никто никогда не узнает, что и почему произошло между Генри и Сатпеном, и только негры будут шепотом передавать из хижины в хижину рассказ о том, как Генри с Боном ночью уехали из дому и как Генри по всей форме отрекся от семьи и права первородства.

Они отправились в Новый Орлеан. Ясным студеным рождественским утром они подъехали к Реке, где сели на пароход, и Генри всю дорогу шел впереди - так будет до самого конца, когда впервые за все время их знакомства впереди пойдет Бон, а Генри последует за ним. Генри совсем не нужно было ехать. Он добровольно стал нищим, а ведь он мог бы пойти к деду. Нет, ему совсем не нужно было ехать. Бон скакал верхом рядом с ним, пытаясь выведать у него, что же случилось. Бон, конечно, знал, что Сатпен обнаружил в Новом Орлеане, но ему хотелось узнать, что именно и сколько тот рассказал Генри, но Генри ничего ему не говорил. Генри, без сомнения, уехал на новой кобыле, вероятно, зная, что ему придется отдать, принести в жертву и ее вместе со всей своей жизнью и наследием; он ехал быстро, держался прямо, он окончательно и бесповоротно повернулся спиной к родному дому, к привычному миру детства и юности, которые отринул

ради друга, с кем, несмотря на жертву, только что принесенную им на алтарь верности и любви, он все еще не мог быть до конца откровенным. Ведь он знал, что Сатпен сказал ему правду. Он, без сомнения, понял это в ту самую секунду, когда обвинил отца во лжи. Поэтому он не смел попросить Бона это опровергнуть, понимаешь, просто не смел. Он не боялся стать нищим, лишиться наследства, но услышать ложь от Бона было для него нестерпимо. И тем не менее он поехал в Новый Орлеан. Он поехал прямо туда, в то единственное место, где его ждало неопровержимое доказательство, что он напрасно обвинил отца во лжи. Он поехал туда именно с этой целью, именно чтоб это доказать. А Бон ехал рядом с ним, пытаясь выведать, что сказал ему Сатпен, - Бон, который уже полтора года наблюдал, как Генри подражает его манере говорить и одеваться; он уже полтора года видел в себе предмет такой полной и беззаветной преданности, что только юноша - но отнюдь не женщина может подарить другому юноше или мужчине; он уже целый год видел, как сестра покоряется чарам, которым уже покорился брат, меж тем как сам соблазнитель не сделал для этого ровно ничего, даже и пальцем не двинул, и получилось, будто сестру зачаровал, обольстил ее брат, как бы переселившись в тело Бона. Однако вот письмо, отосланное четыре года спустя; оно было написано печным лаком, захваченным на складе янки, на листе бумаги, взятом из разграбленного дома в Каролине, и это после того, как Джудит четыре года не получала о нем (о Боне) никаких известий, лишь Генри порою извещал ее, что тот еще жив. Словом, знал Генри о другой женщине или не знал - он неминуемо должен был узнать про нее теперь. Бон это понял. Я даже представляю себе, как они едут - Генри все еще разгорячен отчаянной схваткой за честь друга; Бон - более мудрый, более хитрый, хотя бы только потому,

что обладал большим жизненным опытом и был на несколько лет старше, - выведывает у простодушного Генри, что сказал ему Сатпен. Ибо теперь Генри уже это знал. И я не думаю, что Бон просто хотел удержать Генри при себе на случай каких-либо осложнений в будущем. Бон не только по-своему любил Джудит, он любил также и Генри, и, я думаю, гораздо глубже, чем просто "по-своему". Быть может, в своем фатализме он любил Генри даже сильнее; быть может, он видел в сестре лишь тень, лишь женскую особь, на которую ему пришлось излить свою любовь, чьим истинным предметом был юноша, - быть может, этот рассудочный Дон Жуан, наперекор естественному порядку вещей научившийся любить то, что сам же ранил; быть может, он любил даже нечто большее, чем Генри или Джудит, а именно их существование, самый их образ жизни. Кто знает, какую мирную картину увидел он в этой унылой провинциальной глуши; какое облегчение и избавление нашел в этом скромном сельском, одетом в гранит роднике томимый жаждой путник, что слишком молодым проделал слишком долгий путь.

Я представляю себе, как Бон сообщил, рассказал это Генри. Могу также представить себе Генри в Новом Орлеане - Генри, который не бывал даже в Мемфисе, Генри, все знакомство которого с внешним миром сводилось к посещению других плантаторских домов и усадеб, почти ничем не отличавшихся от его собственных, где царил тот же издавна заведенный порядок, что и дома, - та же охота, те же петушиные бои, те же неумелые скачки по разбитым ухабистым дорогам на лошадях, хотя и чистых кровей, но не приученных к этому спорту и, наверно, лишь полчаса назад выпряженных из двуколки или даже из кареты; та же кадриль с совершенно одинаковыми, как две капли воды похожими друг на друга провинциальными девицами, под музыку точь-в-точь такую же, как дома;

то же шампанское, несомненно, наивысшего сорта, но неуклюже поданное неотесанными, карикатурно расфранченными лакеями-неграми - ни дать ни взять персонажи ярмарочного балагана - они (равно как и гости, глотавшие его залпом, словно неразбавленное виски, под пошлые и выспренние тосты) точно так же обошлись бы и с простым лимонадом. Я вижу, как этот юноша, воспитанный в пуританских традициях, в чисто англосаксонских традициях неистового гордого мистицизма, очутившись в этом чужеземном, полном противоречий городе, в атмосфере одновременно женственно-мягкой и твердой, как стальной клинок, одновременно гибельной и томной, мучительно стыдится своей неопытности и неискушенности; я вижу, как этот угрюмый грубоватый парень из суровой, как гранит, страны, где даже дома, не говоря об одежде и поведении, сработаны по образу и подобию подозрительного и злобного Иеговы, внезапно попадает в край, обитатели которого создали своего Всемогущего вкупе с его иерархическим сонмом благообразных святых и обворожительных ангелов по образу и подобию своих домов, своих роскошных украшений и сладострастной неги. Да, я могу себе представить, как Бон подводил Генри ко всему этому, к этому потрясению; как искусно и расчетливо готовил к нему пуританский ум Генри - так земледелец готовит к вспашке и посеву скудное каменистое поле, надеясь вырастить на нем богатый урожай. Обряд бракосочетания - неважно, какой именно, - вот что должно было возмутить Генри, и Бон это знал. Не любовница, не ребенок, даже не любовница-негритянка с ребенком: ведь Генри и Джудит сами выросли вместе со сводной сестрой-негритянкой; само по себе существование любовницы не смущало Генри, а то, что эта любовница - черномазая, и вовсе не имело значения для юноши из такой среды, выросшего и живущего в

обществе, где слабый пол делится на три четко разграниченные категории, разделенные (по крайней мере, две из них) пропастью, которую можно перейти только один раз и только в одну сторону: благородные дамы, женщины и девки - девственницы, на которых джентльмены рано или поздно женятся; куртизанки, которых они посещают по воскресеньям в городе; рабыни, без которых первая каста не могла бы существовать и которым она в известных случаях безусловно обязана своей девственностью, - нет, это не смущало Генри, здорового, крепкого юношу, чью кровь горячили верховая езда и охота, целомудренные забавы, в которых вынуждены проводить время он сам и ему подобные, для кого девушки их собственного круга - нечто запретное и недоступное, женщины второй категории столь же недоступны по причине недостатка денег и дальности расстояния, и остаются лишь рабыни: служанки, приученные к чистоте и опрятности белыми хозяйками, а то и потные работницы с полей; и вот молодой человек едет верхом в поле, подзывает надсмотрщика, велит ему прислать Юнону, Миссилену или Хлори, а потом скрывается в роще, спешивается и ждет. Нет, без сомнения, думал Бон, тут все дело в обряде, правда, с участием негритянки, но все же в обряде. Я представляю себе, как он это делает, как он берет невинную душу и разум провинциала Генри и постепенно подвергает их воздействию этой экзотической среды, словно художник, мазок за мазком нанося на эту чистую доску картину, которую она, согласно его замыслу, должна принять и сохранить. Я вижу, как он постепенно завлекает Генри в тенета роскошной жизни; как без объяснений, без предупреждений, показывая сначала следствие, а уж потом причину, открывает ему лишь внешнюю сторону - строения несколько причудливой, женственно пышной и потому на вкус Генри чересчур

роскошной, чувственной и греховной архитектуры; огромную легкую добычу, что измеряется грузом в трюмах пароходов, а не изнурительным трудом людей, обливающихся потом на хлопковых полях; блеск и сверканье колес проносящихся вихрем бесчисленных экипажей, в которых женщины, величественно неподвижные, словно на живописном портрете, восседают рядом с мужчинами - сорочки на них чуть более тонкие, костюмы чуть более щегольские, бриллианты чуть более чистой воды, шляпы чуть более лихо заломлены, лица чуть более самодовольные, нежели все, какие Генри доводилось встречать прежде; меж тем как наставник, человек, ради которого Генри отрекся не только от родного дома, но и от хлеба насущного, крова и одежды, чью манеру одеваться, ходить, говорить, равно как обращение с женщинами и понятия о гордости и чести он пытался перенять, наблюдает за ним с холодным непроницаемым расчетом, словно кошка; наблюдает, как эта картина становится четкой и ясной, и говорит Генри: "Но это еще не главное. Это лишь основание, фундамент. Это может получить каждый"; а Генри говорит ему: "Ты хочешь сказать, что главное не это? Что оно еще выше, значительнее и важнее?" - "Да, - продолжает Бон. - Это лишь фундамент. Это доступно каждому" - диалог без слов, речь, которая закрепит, а потом, не стирая ни единого штриха, удалит с картины задний план, и вот доска уже опять чиста, опять готова принять новое изображение; податливая доска с пуританским смирением перед всем, что относится к чувству, а не к логике, не к фактам, а за всем этим стоит человек со страждущей душою, задыхаясь, он твердит {Я хочу верить! Хочу! Хочу! Правда это или нет, я все равно хочу верить!} а между тем доска ждет следующей картины, которую наставник, совратитель, уже для нее задумал; когда эта следующая картина будет

воспринята и закреплена, наставник снова произнесет, быть может, на этот раз уже словами - все еще наблюдая это бесстрастное задумчивое лицо, он все еще уверен, что этот пуританин не удивится, не впадет в отчаяние, а выкажет только неодобрение или не выкажет ровно ничего, лишь бы его осуждение не истолковали как удивление или отчаянье, - наставник произнесет: "Но даже и это еще не главное", и тогда Генри спросит: "Ты хочешь сказать, что оно даже выше этого, что оно превосходит даже и это?" Ведь теперь Бон будет говорить - лениво, чуть ли не таинственно; он теперь будет сам рисовать задуманную им картину; я даже вижу, как он это делает: точный расчет, ловкость и холодная отчужденность хирурга; мазки быстрые, настолько быстрые, что кажутся отрывистыми, таинственными; доска еще не знает, какова будет картина в законченном виде; картина еще едва намечена, но ее уже нельзя смыть: двуколка и верховая лошадь остановились перед закрытыми воротами, удивительно похожими на монастырские, в квартале несколько ущербном, даже несколько зловещем; Бон мимоходом называет имя хозяина совращение продолжается, он искусно внушает Генри, будто они беседуют как два светских человека, и потому он уверен, что Генри поймет его с полуслова, а Генри, пуританин, остается невозмутимым - лишь бы не выказать своего удивления или недоумения - глухой фасад с закрытыми ставнями дремлет в туманной дымке солнечного утра; тихий таинственный голос намекает на тайные странные неизъяснимые наслажденья. Генри не понимал, что он видит; казалось, будто эта глухая замшелая преграда, исчезая, открыла нечто, недоступное разуму, интеллекту, привыкшему взвешивать и отвергать, нечто, мгновенно и безошибочно бьющее прямо в цель, в самую первооснову слепых и бездумных желаний и надежд

всякого молодого мужчины - ряд лиц, словно выставленные на прилавок цветы: наивысший апофеоз рабства, торговли человеческим телом, которое посредством смешения двух рас специально вырастили на продажу, длинный ряд обреченных, трагически прекрасных, как цветы, лиц, стесненный с одной стороны шеренгой свирепых старух-дуэний, с другой - строем молодых щеголей, элегантных, хищных и (в эту минуту) сильно смахивающих на козлов, все это Генри видит мельком, картину быстро открывают и тут же снова закрывают, голос наставника все еще звучит вкрадчиво, мягко, таинственно; он все еще изображает дело так, будто один светский человек беседует с другим о чем-то им обоим хорошо известном; он все еще надеется, рассчитывает, что провинциал-пуританин побоится выказать удивление или неведение; он знает Генри неизмеримо лучше, чем Генри знает его; но и Генри тоже ничем не выдает себя, он все еще подавляет этот первый крик ужаса и горя {Я хочу верить! Хочу! Хочу!} Да, картина появляется и исчезает мгновенно, прежде чем Генри успевает понять, что он увидел, но теперь темп замедляется, теперь должен наступить тот миг, ради которого Бон столько трудился; перед ним неприступная стена, ворота, запертые тяжелым засовом; бесстрастный задумчивый деревенский юноша ждет, смотрит, он еще не спрашивает, что и почему; ворота сделаны из массивных балок, а не из тонкого железного кружева; они подходят ближе, Бон стучится в маленькую калитку, появляется смуглый человек, напоминающий фигурку с гравюры времен французской революции; встревоженный, даже несколько ошеломленный, он смотрит на дневной свет, потом на Генри и обращается к Бону на французском языке, которого Генри не знает; зубы Бона на мгновенье блеснули, и он отвечает тоже по-французски: "С ним? С американцем? Он мой гость;

мне следовало бы предоставить ему право выбрать оружие, но я не хочу драться на топорах. Нет, нет, только не это. Всего лишь ключ". Всего лишь ключ; и вот массивные ворота закрываются - не перед ними, а за ними; высокие толстые стены скрывают город и заглушают городской шум; непроходимые заросли олеандров, жасмина, лантаны и мимозы окружают полоску голой земли, приглаженную и посыпанную толчеными ракушками; она тщательно подметена и безукоризненно чиста, вот только не успели засыпать свежие бурые пятна; голос наставника он теперь отошел в сторону и наблюдает сумрачное лицо провинциала - звучит небрежно, непринужденно: "Обычно поступают так: становятся спиной к спине, в правой руке ты держишь пистолет, в левой - конец плаща противника. Затем по сигналу ты идешь вперед и, когда почувствуешь, что плащ натянулся, оборачиваешься и стреляешь. Правда, те, у кого кровь слишком уж горячая они по большей части из крестьян, - предпочитают пару ножей и один плащ. Завернувшись в плащ, они стоят лицом к лицу, и каждый левой рукой держит запястье противника. Но я никогда к этому способу не прибегал...", понимаешь, так это легко, небрежно; он ждет вопроса медлительного провинциала Генри, а тот, еще не успев спросить: "А зачем тебе... зачем им надо драться?", уже знает ответ.

Да, Генри теперь уже знает или думает, что знает; более того, он, наверное, сочтет все остальное менее важным, хотя на самом деле это не так это последний удар, штрих, мазок, последний смелый надрез хирургических ножниц, которого усыпленный наркозом больной даже и не ощутит, полагая, что после первых грубых вторжений самое худшее уже позади. Ведь оставался еще этот обряд. Бон знал, что именно его Генри не сможет стерпеть, проглотить и переварить. О, он был хитер, этот человек, которого Генри - как ему за

эти недели стало ясно - понимал все меньше и меньше, этот чужестранец, который, теперь забыв обо всем на свете, занялся тщательными, почти ритуальными приготовлениями к предстоящему визиту, словно женщина, дотошно обсуждая фасон нового костюма, который он для этого случая заказал и чуть ли не насильно заставил Генри от него принять, и потому впечатление, которое этот визит должен был на Генри произвести, составилось еще прежде, чем они успели выйти из дому, прежде, чем Генри увидел эту женщину, а Генри, сельский житель, окончательно сбитый с толку, уже чуял под собою едва заметное течение, которое несло его туда, где ему придется либо изменить самому себе, всем своим привычкам, убеждениям и взглядам, либо лишиться друга, ради которого он уже отрекся от родного дома, от семьи и от всего остального; сбитый с толку и (в эту минуту) совершенно беспомощный, он хотел верить, но сомневался, сможет ли, а друг, наставник, уже вводил его через непроницаемые глухие ворота, наподобие тех, перед которыми он видел лошадь и двуколку, вводил прямо туда, где, по его провинциальным пуританским понятиям, мораль перевернута с ног на голову, а честь безвозвратно утрачена, - в обитель сладострастья, созданную сладострастьем и бесстыдной беззастенчивой чувственностью; и вот уже этот деревенский парень с его простым, дотоле непоколебимым представлением о мире, где женщины лишь благородные дамы, блудницы или рабыни, взирает на апофеоз смешения двух обреченных рас; здесь царствует его же собственная жертва - женщина с лицом трагически прекрасным, как цветок магнолии, воплощение вечной женственности, вечная страстотерпица; а ребенок, мальчик, хотя и спит в шелках и кружевах, все же остается рабом того, кто уже во время зачатия безраздельно владел его телом и

душою и (при желании) мог продать его как теленка, ягненка или щенка; а между тем наставник опять за ним наблюдает, быть может, даже как игрок, стараясь угадать {Выиграл я или проиграл?} теперь, когда они вышли и возвращались на квартиру к Бону, тот на время лишился дара речи, лишился даже хитрости; он уж больше не рассчитывал на это пуританское свойство ни под каким видом не выказывать ни удивленья, ни отчаяния; теперь он мог рассчитывать (если оставалось на что) лишь на любовь совращенного им Генри; спросить: "Ну как? Что ты на это скажешь?" - он не мог. Он мог только ждать, а ведь один бог знает, каких выходок можно ожидать от человека, который руководствуется не разумом, а инстинктом, - ждать, пока Генри скажет: "Но ведь это продажная женщина, блудница", и тогда Бон, на этот раз даже ласково, возразит: "Нет, не блудница. Не говори так. Никогда не называй их так в Новом Орлеане; иначе не меньше тысячи мужчин заставят тебя кровью заплатить за эту вольность", и возможно, все еще ласково, возможно, теперь даже отчасти и с жалостью - с горькой, насмешливой, рассудительной жалостью умного человека ко всякой людской несправедливости, глупости или страданью: "Нет, они не блудницы. Не блудницы благодаря нам, благодаря этой тысяче. Мы - эта тысяча, белые мужчины - создали их, сделали их тем, что они есть; мы даже издали законы, согласно которым одна восьмая крови определенного сорта должна превысить семь восьмых крови другого сорта. Я это признаю. Но ведь та же белая раса тоже сделала бы из них рабынь, служанок, кухарок, быть может, даже заставила бы их работать на полях, если б не эта тысяча, не эти несколько мужчин, таких, как я, на твой взгляд, быть может лишенных принципов и чести. Мы не способны, возможно, даже не хотим спасти их всех; возможно, мы спасаем не более одной тысячной доли.

Но эту тысячную долю мы спасаем. У господа бога каждая пичужка на счету, но ты пойми, что никто из нас не претендует на роль бога. Возможно, никто из нас даже и не хочет быть богом - ведь каждому нужна всего одна пичужка. И быть может, загляни господь бог в обитель, подобную той, какую ты видел сегодня вечером, он не пожелал бы сделать богом никого из нас, особенно теперь, когда он уже стар. Хотя, конечно, когда-то и он был молод, даже наверное был, и, наверно, прожив столько лет, сколько он, и насмотревшись на то, как люди безудержно, безрассудно и бесстыдно предаются грубому беспорядочному греху, каждый захочет наконец насладиться зрелищем того (хотя подобные случаи встречаются реже одного на миллион), как принципы чести, благопристойности и добра распространяются на совершенно нормальный человеческий инстинкт, который вы, англосаксы, упорно называете похотью и которому по воскресеньям предаетесь в первобытных пещерах; при этом ваше отпадение от так называемой благодати затмевается и затуманивается богопротивными словами извинений и оправданий, которыми вы дерзко бросаете вызов всевышнему, а возвращение под сень благодати сопровождается воплями пресыщенного самоуничижения и самобичевания, которыми вы пытаетесь задобрить всевышнего; но ни в том, ни в другом - ни в дерзком вызове, ни в самоуничижении - всевышний не находит ничего интересного, а после двух-трех раз даже ничего забавного. Так, может быть, коль скоро господь уже стар, ему неинтересно даже и каким способом мы служим тому, что вы называете похотью; может быть, он даже не требует, чтобы мы спасали одну пичужку или хотя бы ту, которую мы действительно спасаем ради его похвалы. Но ведь эту-то мы действительно спасаем, а иначе ее продадут любому негодяю, у

которого достанет денег, и продадут не на одну ночь, как белую проститутку, а на всю жизнь, душой и телом, и притом человеку, который безнаказанно будет обращаться с нею хуже, чем со скотиной - коровой или кобылой, а потом выбросит, продаст или просто убьет, когда она станет ни на что не пригодной или когда расходы на ее содержание превысят ее рыночную цену. Да, пичужку, которой не заметил сам господь бог. Ведь хотя люди, белые люди, ее создали, господь бог им не помешал. Он посеял зерно, из которого она выросла и расцвела - белую кровь, которая придала форму и цвет тому, что белый человек зовет женской красотой, тому женскому началу, что, исполненное царственного совершенства, таилось в жарких тропических чреслах земли задолго до того, как наши белые прародительницы спустились с деревьев на землю, потеряли свою шерсть и побелели; вечной женственности, податливой, мягкой как воск и изначально наделенной способностью дарить изысканные, древние как мир, неизъяснимые плотские наслажденья (и это все, ничего другого не существует), от которых ее высоконравственные белые сестры шарахаются в священном ужасе и возмущенье; женственности всемогущей и мудрой, что, как на троне, царит распростершись на закрытом от солнца шелковом ложе, тогда как белая ее сестра тщится превратить свои женские чары в некий капитал - подобно кому-то, кто захотел бы поставить в магазине прилавок или купить весы или сейф, а за это потребовал бы свою долю прибыли. Нет, они не блудницы. И даже не куртизанки, эти созданья, которых с раннего детства отбирают, воспитывают, холят и лелеют куда более заботливо, чем любую белую девушку, любую монахиню, даже любую чистокровную кобылу, и окружают такой неусыпной заботой и вниманием, на какую не способна ни одна родная мать. Разумеется, за

плату, но эту плату предлагают, принимают или отклоняют по правилам куда более строгим, нежели те, по каким продают белых девушек, потому что они товар более ценный, чем белые девушки; каждая из них прекрасно вышколена и обучена выполнять единственную цель и назначение женщины - любить, блистать красотою и развлекать; она не видит ни одного мужского лица до тех пор, пока ее не привезут на бал и не выставят на продажу, до тех пор, пока ее не выберет какой-либо мужчина, который, со своей стороны, не то чтобы может или хочет, а просто обязан поместить ее в соответствующее окружение, где она будет любить, блистать красотою и развлекать; мужчина, который ради этого права обычно ставит на карту свою жизнь или, во всяком случае, свою кровь. Нет, они не блудницы. Порой мне кажется, что они - единственные по-настоящему целомудренные женщины во всей Америке, и они хранят верность и преданность тому мужчине не только до тех пор, пока он не умрет или не даст им свободу, а до тех пор, пока не умрут они сами. А где ты найдешь блудницу или порядочную женщину, на которую ты мог бы настолько положиться?", а Генри: "Но ведь ты на ней женился. Ты на ней женился", и Бон - на этот раз быстрее, резче; голос звучит все еще мягко, все еще терпеливо, но в нем уже появляются железные, стальные, нотки - игрок еще придерживает свой последний козырь - Бон отвечает: "А, ты вот о чем, об этом брачном обряде. Но ведь он не более чем формула, заклинание, бессмысленное, как детская считалка; его совершает первый, кто попадется под руку, когда в том возникнет надобность: старая карга в подземелье, освещенном клоком горящих волос, бормочет что-то на языке, которого не понимает ни девушка, ни, может статься, даже и сама карга; все это не имеет никакого практического смысла ни для нее, ни для возможного

потомства: ведь наше молчаливое согласие участвовать в этом фарсе было для нее единственным доказательством и подтверждением того, что сам обряд подтвердить не может, ибо он не облекает никого никакими новыми правами и не лишает старых - ритуал столь же нелепый, сколь тайное ночное сборище студентов и даже с теми же архаическими, давно утратившими всякий смысл символами, и ты называешь это женитьбой, если ночь медового месяца и случайная встреча с проституткой в сущности совершенно одинаковы: точно так же получаешь во временное распоряжение отдельную комнату, точно так же снимаешь одежду и точно так же совокупляешься на односпальной кровати? Почему бы не назвать женитьбой и это?", и тут Генри: "Да, я знаю. Знаю. Ты умножаешь два на два и говоришь мне, что получилось пять, и действительно получается пять. Но женитьба все равно остается. Допустим, я беру на себя обязательство по отношению к человеку, который не знает моего языка, обязательство изложено на его языке, и я на это соглашаюсь; так разве я обязан меньше от того, что случайно не знаю языка, на котором он облек меня своим доверием? Нет, наоборот, больше, больше", и теперь Бон идет с козыря, теперь его голос звучит даже ласково: "Ты забыл, что эта женщина и этот ребенок - черномазые? Ты, Генри Сатпен из Сатпеновой Сотни, что в штате Миссисипи? И ты будешь тут толковать мне о женитьбе, о свадьбе?" - а Генри теперь это крик отчаянья, последний горький вопль бесповоротного непораженья: "Да. Я знаю. Знаю. Но свадьба все равно была. Это нехорошо. И даже ты не можешь этого исправить. Даже ты".

Вот и все. Так и должно было быть; то, что случилось четыре года спустя, должно было случиться на следующий день; эти четыре года, этот промежуток был всего лишь проволочкой: давно созревшую развязку

отсрочила и задержала Война, нелепая и кровавая ошибка, заставившая Соединенные Штаты отклониться от своего высокого (и несбыточного) назначения; быть может, ей способствовал злой рок этой семьи - как и все в жизни, он тоже отличался странным несоответствием причин и следствий, которое всегда характерно для судьбы, если ей приходится в качестве своих орудий и материала использовать людей. Как бы то ни было, Генри ждал четыре года, держа всех троих в состоянии неопределенности и напряженья; он ждал, надеялся, что Бон бросит эту женщину и расторгнет брак, который, как он (Генри) признавал, был вовсе и не брак, но который, как он, наверно, сразу понял, стоило ему увидеть эту женщину и ребенка, Бон никогда не расторгнет. В сущности, с течением времени Генри начал привыкать к мысли об этом обряде, который все равно не был женитьбой, и если его теперь что-то смущало, так это не два обряда, а две женщины - не то, что Бон намеревался стать двоеженцем, а то, что он хотел сделать его (Генри) сестру чем-то вроде младшей жены в гареме. Но, как бы то ни было, он четыре года ждал и надеялся. Весной они возвратились на север, в штат Миссисипи. Уже произошло сражение при Булл-Ране, и студенты университета сформировали роту. Генри с Боном в нее записались. Генри, вероятно, сообщил Джудит, где они находятся и что намерены делать. Как видишь, они вступили в армию вместе, Генри сторожил Бона, а Бон позволял себя сторожить: это было испытание, искус - Генри не смел спустить глаз с Бона, не из опасения, что тот женится на Джудит, а он, Генри, не сможет этому помешать, а оттого, что Бон женится на Джудит, и тогда он (Генри) до конца дней своих будет жить с сознанием, что ему нравится быть обманутым, как трус, торжествующий при мысли, что сдался, не потерпев поражения, а Бон по той же причине - ведь Джудит без Генри была совершенно ему

не нужна, он никогда не сомневался, что сможет жениться на Джудит, когда захочет, наперекор и брату и отцу, потому что, я уже говорил, и Бон любил не Джудит, и Генри вовсе не о ней заботился. Она была всего лишь пустою оболочкой, полым сосудом, в котором каждый из них стремился сохранить не собственное иллюзорное представление и о себе и о другом, а то, что каждый считал мнением о себе другого - мужчина и юноша, обольститель и обольщенный; оба отлично друг друга знали, взаимно друг друга обольстили, принесли друг друга на закланье - победитель пал жертвой собственной силы, побежденный сразил противника своею слабостью еще прежде, чем Джудит, хотя бы одним лишь именем, появилась в их общей жизни. И кто знает? Ведь шла Война; и кто знает, быть может, и сам рок и его жертвы равно думали, надеялись, что Война все решит, освободит одного из двух непримиримых противников - ведь уже не первый раз молодость принимает мировую катастрофу за акт Провидения, единственная цель которого - разрешить ее личные проблемы, которых она сама разрешить не умеет.

Ну, а Джудит: как еще можно объяснить ее поступки? Едва ли Бон мог за каких-нибудь двенадцать дней совратить ее своим фатализмом, коль скоро он не только не покушался ее совратить, но даже и не пытался заставить ее ослушаться отца. Нет, кем-кем, а фаталисткой она не была, ведь из двоих детей Сатпена настоящим Сатпеном, усвоившим жестокий сатпеновский закон: бери, что хочешь, если достанет силы, - была именно она, Генри же был Колдфилдом, одержимым колдфилдовской моралистической абракадаброй и колдфилдовскими понятиями о добре и зле; и в тот вечер, когда Генри плакал и его тошнило, Джудит смотрела с чердака, как полуголый Сатпен борется с одним из своих полуголых негров, смотрела с

таким холодным напряженным вниманьем, с каким сам Сатпен следил бы за борьбой Генри с негритянским мальчиком его возраста и веса. Ведь она не могла знать, почему отец возражает против свадьбы. Генри не стал бы ей объяснять, а отца она бы не спросила. Да если б она и узнала, это ничего б не изменило. Она поступила бы так, как Сатпен поступил бы с каждым, кто бы посмел ему перечить - она бы все равно взяла Бона. Я уверен, что в случае необходимости она бы даже убила другую женщину. Но она уж, во всяком случае, не стала бы сперва наводить справки, а после пускаться в рассуждения о том, как примирить желаемое со своими моральными принципами. И все-таки она ждала. Она ждала четыре года, не получая от Бона никаких вестей, кроме сообщений Генри, что Бон еще жив. Это было испытание, искус; они все трое на него согласились, и я не думаю, что Генри с Боном были связаны какими-нибудь обещаниями. А Джудит и подавно - она ведь не могла знать, что и почему произошло... Замечал ли ты, как часто, пытаясь восстановить причины, толкнувшие людей на те или иные поступки, мы с изумлением приходим к выводу, к единственному возможному выводу, что они коренятся в одной из вечных добродетелей? Вор совершает кражу не из алчности, а из любви, убийца убивает из жалости, а не из вожделенья. Безоглядное доверие Джудит к тому, кому она отдала свою любовь, ее безоглядная любовь к тому, кто дал ей жизнь и гордость - не ложную гордость, которая презирает и оскорбляет то, чего не может сразу понять, и таким образом находит себе выход в обидах и терзаньях, нет, истинную гордость, которая без всякого унижения может сказать себе {Я люблю, я не приму никакой замены; что-то произошло между ним и моим отцом; если отец был прав, я больше никогда его не увижу, если отец был не прав, он приедет или пришлет за мной; если можно, я хочу быть

счастливой, если мне суждены страданья, я могу взять их на себя}. Ведь она ждала; она не пыталась делать ничего другого; ее отношения с отцом не изменились ни на йоту: посмотреть на них вместе, Бона будто никогда и не было на свете - те же спокойные непроницаемые лица; следующие несколько месяцев их можно было видеть в карете, когда они вдвоем приезжали в город после того, как Эллен слегла, между рождеством и тем днем, когда Сатпен уехал со своим и Сарторисовым полком. Они не разговаривали, понимаешь, они ничего друг другу не сказали Сатпен о том, что он узнал про Бона, Джудит о том, где Генри и Бон теперь находятся. Они не нуждались в разговорах. Они были слишком похожи друг на друга. Такими порой становятся два человека, которые, очевидно, настолько хорошо друг друга изучили или настолько друг на друга похожи, что способность и необходимость общаться посредством речи от неупотребления атрофируется, и, постигая смысл сказанного без помощи слуха и разума, они перестают понимать самые слова. Поэтому она не сказала ему, где находятся Генри и Бон, и он не узнал об этом до ухода университетской роты, потому что Генри с Боном в нее записались, а потом куда-то спрятались. Они наверняка спрятались; они наверняка оставались в Оксфорде ровно столько, сколько требовалось, чтобы записаться, а потом уехать - ведь в то время никто из их знакомых ни в Оксфорде, ни в Джефферсоне не знал, что они состоят в роте, а скрыть это как-либо иначе было бы просто невозможно. Потому что теперь люди - отцы, матери, сестры, родичи, возлюбленные всех этих юношей - собирались в Оксфорд из мест гораздо более дальних, чем Джефферсон; они приезжали семьями, привозили провизию, постели и слуг, останавливались у жителей Оксфорда и приходили любоваться бравыми театральными маршами и контрмаршами, в которых

участвовали их доблестные сыновья и братья; и всех до единого богачей и бедняков, аристократов и простолюдинов - неодолимо притягивало зрелище, способное самым глубочайшим образом взволновать огромные массы людей, зрелище много более волнующее, чем даже вид толпы девственниц, влекомых на закланье какому-нибудь языческому божеству, какому-нибудь Приапу, и все они завороженно смотрели, как эти обманутые юноши, гибкие и стройные, пылкие и сильные, в воинственном блеске меди и разноцветных плюмажей торжественным маршем отправляются в бой. А вечерами музыка, звуки скрипки и треугольников, мерцание свечей, трепет и колыханье занавесок на высоких окнах в темноте апрельской ночи, шуршанье кринолинов в вихрящемся кругу серых мундиров - гладкие обшлага солдат, золотые нашивки офицеров если это и не война аристократов, джентльменов, то, во всяком случае, армии джентльменов, где рядовой и полковник обращаются друг к другу по имени - не как два фермера в поле за плугом, не как продавец и покупатель в лавке возле ящиков с сыром, кусков ситца и бочонков с колесной мазью, а как джентльмены, либо поверх округлых напудренных плеч своих дам, либо за бокалом домашнего красного вина или привозного шампанского - музыка, последний вальс каждый вечер, пока, в ожидании отправки на фронт, проходят дни; нарядный суетный блеск в черной ночи - она еще не катастрофа, а всего лишь темный фон; извечная благоуханная последняя весна юности; но все это без Джудит, без романтика Генри, без фаталиста Бона, ибо они в каком-то укрытии сторожат друг друга; напоенные ароматом цветов бессчетные рассветы того апреля, мая и июня; звуки рожков врываются в сотни комнат, где, разметав локоны черных, каштановых и золотых волос, спят беззаботным сном праведниц сотни обреченных на

вдовство невест; но Джудит нет среди них; пятеро солдат из роты, в новой, с иголочки, серой форме, верхами, в сопровождении фуражной повозки с лакеями и конюхами едут по всему штату; они везут флаг, ротное знамя, составленное из сметанных на живую нитку, но еще не сшитых шелковых лоскутьев, везут его из дома в дом, и возлюбленная каждого солдата делает на знамени несколько стежков; но Генри и Бона нет и среди них - ведь они присоединились к роте лишь после того, как она отправилась на фронт. Они, наверное, вышли из своего укрытия и, когда рота проходила мимо, незаметно появившись из придорожных кустов, встали в строй - юноша и зрелый мужчина; юноша, теперь уже дважды лишившийся права первородства, которому следовало быть там, среди свечей и скрипок, среди поцелуев и горьких слез; он должен был вместе с другими знаменщиками везти по штату несшитое ротное знамя; и мужчина, которому там вообще нечего было делать, ибо он был для этого слишком стар и по годам, и по жизненному опыту; обреченный на интеллектуальное и духовное сиротство, на прозябание где-то на полдороге между той частью пространства, где пребывала его телесная оболочка, и той, куда влекли его интеллектуальные и нравственные побуждения - недоучившийся великовозрастный студент, вынужденный в силу своего старшинства посещать дополнительный юридический семинар, состоящий всего-навсего из шести слушателей, а на Войне в силу того же обстоятельства отделенный от остальных офицерским чином. Его произвели в лейтенанты даже прежде, чем рота вступила в первую перестрелку. Я не думаю, чтобы он хотел получить этот чин, я почти уверен, что он пытался от этого уклониться, отказаться. Но так случилось, и то самое положение, в силу которого он уже заранее был обречен, еще раз его осиротило; и вот они оба теперь

уже солдат и офицер, но все еще сторож и тот, кого сторожат, ждут, сами не зная чего - то ли перста судьбы, рока, то ли непреложного приговора некоего Судии или Арбитра, который только и может решить, кто из них прав, кто виноват, ибо на меньшее, ни на какие полумеры, они не согласны - офицер, лейтенант, обладающий сомнительным преимуществом командовать и хотя бы изредка оставаться позади вверенного ему взвода; солдат, который вынес с поля боя этого офицера, раненного в плечо, когда их полк отступал под огнем янки в битве при Питсберг-Лендинге, и доставил в безопасное место, по-видимому, с единственной целью сторожить его еще два года, после чего написал Джудит, что они оба еще живы, и только.

И еще Джудит. Она теперь жила одна. Быть может, она жила одна с того самого рождества - год, два, три и, наконец, четыре; ведь хотя Сатпен уехал со своим и Сарторисовым полком, а негры - дикари, чьими руками он создал Сатпенову Сотню, - сбежали за первыми же войсками янки, которые прошли через Джефферсон, она никогда не оставалась в одиночестве - в затемненной комнате лежала прикованная к постели Эллен, словно малый ребенок, требующий неусыпных забот, она в изумлении и полной растерянности ждала смерти; она (Джудит) и Клити возделывали какое-то подобие огорода, чтобы не умереть с голоду; в пойме реки, в заброшенной полуразвалившейся рыбачьей хижине, построенной Сатпеном, когда первая женщина - Эллен - вошла в его дом, а последний охотник на медведей и оленя из него вышел, теперь с разрешения Сатпена жил с дочерью и маленькой внучкой Уош Джонс, который выполнял тяжелую работу на огороде и иногда приносил Эллен и Джудит, а позже одной только Джудит рыбу и дичь; теперь он даже был вхож в дом - до отъезда Сатпена он никогда не появлялся ближе

виноградной беседки за кухней, где воскресными вечерами они с Сатпеном пили виски из большой оплетенной бутыли, запивая ключевой водою из ведра, которую Уош приносил с родника чуть ли не за милю; при этом Сатпен лежал в гамаке, сделанном из бочарных досок, и разглагольствовал, а Уош, прислонившись к столбу, сидел на корточках, фыркал и ухмылялся. Нет, Джудит не знала одиночества, а праздности и подавно; ее лицо, как всегда непроницаемое, невозмутимое, лишь чуть-чуть осунулось, чуть-чуть постарело с тех пор, как стало известно, что ее жених и брат ночью покинули дом и исчезли; не прошло и недели, как она с отцом появилась в карете в городе. Теперь, когда она приезжала в город, в перешитом старом платье, какие ныне носили все южанки, все еще в карете, но теперь запряженной мулом - его сейчас только выпрягли из плуга, а потом снова впрягут в плуг; без кучера, который бы этого мула погонял, запрягал и распрягал, она (эта девственница, воспитанная в освященной традициями полнейшей праздности) вместе с другими женщинами в импровизированном лазарете - в Джефферсоне уже появились раненые - обмывала грязные, вонючие тела убитых незнакомцев, перевязывала раны и щипала корпию из занавесей, простынь и скатертей, взятых в домах, где они родились и выросли, и ни одна из этих женщин, рассказывавших друг другу о братьях, сыновьях и мужьях быть может, с тоской и со слезами, но по крайней мере нечто, известное им наверняка, - ни одна из них не спрашивала ее о женихе и брате. Джудит, подобно Генри и Бону, тоже ждала, сама не зная чего, но, в отличие от Генри и Бона, не зная даже и зачем. Потом умерла Эллен, бабочка забытого лета, которой уже два года не было среди живых - пустая бесплотная оболочка, тень, из-за самой своей невесомости

неподвластная ни измененьям, ни распаду, и не было тела, чтобы предать его земле, а была лишь форма, воспоминание, которое мирным летним вечером без погребального звона и катафалка перенесли в можжевеловую рощу, где оно превратится в прах, эфемерное ничто под тысячефунтовым мраморным надгробьем, которое Сатпен (теперь уже полковник Сатпен, потому что годом раньше на ежегодных выборах полковых офицеров Сарторис был смещен со своей должности) привез в полковом фуражном фургоне из Чарльстона, что в штате Южная Каролина, и водрузил над небольшим поросшим травою углублением, где, по словам Джудит, была могила Эллен. А потом на заколоченном гвоздями чердаке собственного дома умер с голоду дед Джудит, и она, наверное, предложила мисс Розе переехать в Сатпенову Сотню, но мисс Роза отказалась, вероятно тоже ожидая этого письма, первой за все четыре года вести от самого Бона, письма, которое она (Джудит), похоронив Бона рядом с памятником матери, через неделю самолично привезла в город в двухместном экипаже, запряженном мулом, - они с Клити теперь научились ловить его и запрягать - и отдала твоей бабушке, по собственной воле отдала твоей бабушке; она (Джудит), которая теперь ни к кому не ездила, у которой теперь не было друзей, наверное, как и твоя бабушка, не смогла бы объяснить, почему выбрала хранительницей этого письма именно ее; она теперь не просто похудела, а совсем отощала, и под иссохшей колдфилдовской плотью ясно проступал сатпеновский череп; лицо, давно забывшее молодость, было совершенно непроницаемым, совершенно невозмутимым; ни траура, ни даже скорби, и твоя бабушка спросила: "Я? Вы хотите, чтобы его хранила я?"

"Да, - отвечала Джудит. - Вы можете его уничтожить. Как хотите. Хотите - прочитайте, не хотите

- не читайте. Видите ли, человек не оставляет по себе почти никаких следов. Рождаешься на свет, пытаешься что-то делать, сам не зная почему, но все равно продолжаешь свои попытки; родившись одновременно со множеством других людей, ты связан с ними, и потому, пытаясь двинуть рукой или ногой, ты как бы дергаешь за веревочки, но веревочки привязаны к рукам и ногам всех остальных, и все они тоже пытаются за них дергать и тоже не знают почему, знают только, что все веревочки перепутались и мешают друг другу, все равно как если бы пять или шесть человек пытались соткать ковер на одном ткацком станке, причем каждый хотел бы вплести в него свой собственный узор, но ты знаешь, что это не имеет никакого значения иначе те, кто сотворил этот станок, устроили бы все гораздо лучше, и все же это не может не иметь значения - ведь ты продолжаешь свои попытки, во всяком случае должен их продолжать, а потом вдруг оказывается, что все кончено, и от тебя осталась всего лишь каменная глыба, на которой что-то нацарапано если, конечно, кто-нибудь удосужился этот мрамор поставить и что-то на нем нацарапать, и вот на него льет дождь и светит солнце, и вскоре никто уже не помнит ни имени, ни что эти царапины означают, и это тоже не имеет значения. Так вот, если вы можете пойти к кому-нибудь, лучше всего к совсем чужому, и дать ему что-нибудь, хотя бы клочок бумаги, неважно, что именно, пусть даже оно само по себе не имеет никакого смысла, а этот человек не станет даже его читать, хранить, не удосужится даже выбросить его и уничтожить, все равно это будет нечто, хотя бы только потому, что когда-то случилось и запомнилось, пусть даже только тем, что перешло из рук в руки, из одной головы в другую, и пусть это будет хотя бы царапина, хотя бы нечто, оставившее след на чем-то, что когда-то было - было хотя бы лишь по одному тому, что однажды

оно может умереть, тогда как о каменной глыбе нельзя сказать, что она {есть}, ибо о ней никогда нельзя сказать, что она {была} ведь она никогда не может ни погибнуть, ни умереть..."

И твоя бабушка, глядя на нее, на это спокойное, непроницаемое, совершенно невозмутимое лицо, воскликнула: "Нет! Нет! Только не это! Подумайте о вашем..." - и хотя на этом все еще невозмутимом лице не было даже и тени горечи, убедилась, что Джудит ее поняла.

"А, вот вы о чем. Нет, нет, этого не бойтесь. Ведь кому-то надо позаботиться о Клити, а скоро и об отце - ему надо будет что-то есть, когда он вернется домой; ведь теперь, наверное, осталось недолго, раз они уже начали стрелять друг в друга. Нет, нет, этого не бойтесь. Женщины из-за любви так не поступают. Я даже не верю, что так поступают мужчины. Во всяком случае, не теперь. Ведь теперь там, где бы это место ни находилось, если оно вообще существует, будет слишком тесно. Там уже и так все переполнено. Набито до отказа. Как в театре, в опере, если ты ищешь забвенья, развлечения, забавы; как в постели, в которой уже кто-то лежит, если ты хочешь спокойно лечь и спать, спать, спать..."

Мистер Компсон задвигался. Квентин привстал, взял у него письмо и под тусклой, засиженной мухами лампочкой развернул - бережно и осторожно, словно этот листок, этот иссеченный складками квадратик был не бумагой, а лишь сохранившим прежнюю форму и содержание пеплом; между тем голос мистера Компсона все еще звучал, а Квентин, не слушая, все еще слышал:

- Теперь ты видишь, почему я сказал, что он ее любил. Ведь были и другие письма, их было много - изящных, высокопарных, небрежных, похожих друг на друга, неискренних писем, которые посыльный

привозил за сорок миль из Оксфорда в Джефферсон, начиная с того первого рождества - праздные, изысканные (и для него, несомненно, лишенные всякого смысла) комплименты, которые столичный фат расточает наивной деревенской девице, и эта наивная деревенская девица спокойно, терпеливо, с глубоким, совершенно необъяснимым женским ясновиденьем, по сравнению с которым претенциозное позерство этого столичного фата кажется просто кривляньем глупого мальчишки, получает письма, ничего в них не понимает и, невзирая на все их изящные, тщательно продуманные метафоры и фигуры речи, не хранит ни одного даже до прихода следующего. Однако это письмо, которое после четырехлетнего перерыва, казалось, свалилось на нее как гром среди ясного неба, она хранит; она считает его таким важным, что отдает совершенно чужой женщине, предоставляя той по своему усмотрению хранить его или не хранить, читать или не читать, лишь для того, чтоб нанести ту царапину, оставить тот бессмертный след на пустом и гладком лике забвенья, которому, по ее словам, мы все обречены...

Квентин слушал краем уха; он разбирал эти письмена, бледные, тонкие, как паутина, словно их оставила на бумаге не рука некогда жившего на земле человека, а тень - упав на бумагу, она рассеялась за секунду до того, как он на нее взглянул, и, пока он читает, может в любое мгновенье раствориться и окончательно исчезнуть; до него доносился голос умершего, который четыре года, а потом еще пятьдесят лет назад язвительно и мягко произносил замысловатые, исполненные неизбывной горечи слова, без подписи, без даты:

{Я думаю, что не оскорблю ни себя, ни Вас, утверждая, будто к Вам взывает голос одного из побежденных, а тем более мертвых. В самом деле, будь

я философом, я вывел бы из этого письма, которое Вы сейчас держите в руках, любопытные и исчерпывающие выводы касательно нынешних времен, а также предсказание на будущее - из этого листа почтовой бумаги с превосходнейшими, как Вы сами можете убедиться, французскими водяными знаками семидесятилетней давности, найденного (или, если угодно, похищенного) в разграбленном имении разоренного аристократа и исписанного превосходнейшим произведенным не более двенадцати месяцев назад на одной из фабрик Новой Англии печным лаком. Да, печным лаком. Мы его реквизировали, но это особая история. Представьте себе нас, сборище совершенно одинаковых огородных чучел, я не скажу голодных, ибо женщине, будь то аристократка или простолюдинка, находящейся за пределами линии Мейсон-Диксон в нынешнем благословенном 1865 году, это слово, несомненно, показалось бы попросту излишним, все равно как если б я сказал, что мы дышим. Я не скажу также - оборванных или даже, босых, ибо мы так долго ходим в лохмотьях и без сапог, что могли бы уже к этому привыкнуть; но слава богу (и это восстанавливает мою веру - если не в человеческую природу, то, по крайней мере, в людей), человек, в сущности, не привыкает к нужде и лишениям; к ним привыкает только его дух, грубая, всеядная, пресытившаяся падалью душа; само же тело, слава богу, никогда не забывает прежнего приятного ощущения мыла, чистого белья и чего-то такого между ступнею и землей, что отличает его ногу от лапы дикого зверя. Итак, скажем, что мы просто нуждались в амуниции. А теперь вообразите, как мы, огородные чучела, носимся с одним из тех планов, какие только могут зародиться в головах отчаявшихся чучел, и не только должны, но и не могут не удаться - по той простой причине, что ни у бога, ни у человека нет иного

выбора, а на земле и под землей нет места, где в случае поражения можно было бы либо остановиться и передохнуть, либо сойти в могилу, и вот мы (чучела) беремся за дело с величайшим пылом, чтобы не сказать - с шумом; и теперь представьте себе нашу добычу и награду - десять тяжелых беззащитных маркитантских фургонов; вообразите, как чучела сбрасывают один за другим великолепные ящики, на которых по трафарету выведены буквы С и Ш - они были для нас символом трофеев, принадлежавших побежденным, символом рыб и хлебов, как во время оно пылающее чело, осиянное нимбом тернового венца; и вот чучела взламывают эти ящики камнями, штыками и даже голыми руками, в конце концов их открывают и находят - что бы вы думали? Печной лак. Галлоны, галлоны и галлоны, наилучшего печного лака, все ящики сработаны не больше года назад и, очевидно, все еще догоняют генерала Шермана во исполнение какого-то запоздалого приказа, предписывающего ему покрыть лаком печку, прежде чем поджечь дом. Как мы смеялись! Да, мы смеялись, ибо за эти четыре года я, по крайней мере, понял одно - смеяться можно лишь на голодный желудок, и лишь когда ты голоден или напуган, ты можешь извлечь некую квинтэссенцию из смеха - так пустой желудок извлекает квинтэссенцию из алкоголя. Но, по крайней мере, у нас теперь есть печной лак. У нас его очень много. Даже слишком много, ибо, как Вы сами можете убедиться, для того, что я имею Вам сказать, много не потребуется. И потому, даже не будучи философом, я вывожу нижеследующее заключение и предсказание:

Мы ждем уже достаточно долго. Заметьте, я не обижаю Вас, говоря, что я жду достаточно долго. И потому, коль скоро я не обижаю Вас словами, что жду только я один, я не добавляю: ожидайте моего возвращения. Ибо я не могу сказать, когда вернусь.

Ведь то, что БЫЛО, - это одно, и теперь его нет, ибо оно мертво, оно умерло в 1861 году, и поэтому то, что ЕСТЬ... Ну вот. Они снова начали стрелять. Впрочем, упоминать о последнем так же излишне, как о том, что мы дышим или нуждаемся в амуниции. Ибо порою мне кажется, что стрельба никогда не прекращалась. Разумеется, она не прекращалась, но дело не в этом. Я хочу сказать, что никакой стрельбы больше не было с тех пор, как четыре года назад был произведен первый залп; он прогремел и умолк; жерло одного орудия, в изумлении и ужасе от содеянного, поднялось ввысь и, завороженное гипнозом, остановилось и застыло против другого; залп больше никогда не повторялся, и теперь до нас доносятся лишь жуткие раскаты эха от дребезжания ружья, выпавшего из рук усталого часового, или глухой стук от падения изможденного тела; они гулко отдаются в воздухе, окутавшем землю там, где залп впервые прозвучал и где он должен оставаться, ибо нет для него иного места под небом. Итак, это значит, что вновь наступает рассвет, и потому я должен кончать. Кончать что? - спросите Вы. Ну, например, думать, вспоминать - заметьте, я не говорю: надеяться... снова очутиться вне времени и пространства, снова стать бездумным неразумным спутником и обитателем тела, которое даже спустя четыре года с каким-то понурым, непоколебимым, достойным величайшего восхищения постоянством, презрев действительность, все еще самозабвенно грезит о прежнем мире и довольстве - правда, я даже не уверен, помню ли еще хотя бы названия тех запахов и звуков - тела, которое даже не замечает, что у него оторвана нога или рука и что ему грозит опасность их лишиться, словно кто-то по секрету дал ему слово и уверил в том, что оно бессмертно. Однако пора кончать. Я не могу сказать, когда вернусь. Ведь то, что ЕСТЬ, - это что-то другое, ибо его в то время даже не было на

свете. И коль скоро этот лист бумаги содержит все лучшее, что осталось на старом Юге, который уже умер, а слова, которые Вы читаете, написаны, на нем лучшим (на каждом ящике было сказано: наилучшим) из того, что есть на новом Севере, который победил и которому теперь - хочет он того или не хочет - придется выжить, я уверен, что мы с Вами, как это ни странно, включены в число тех, кто обречен жить}.

- Вот и все, - сказал мистер Компсон. - Она получила это письмо и вместе с Клити принялась шить подвенечное платье и фату из лоскутков и обрезков, которые скорее всего должны были пойти на корпию, но почему-то не пошли. Она не знала, когда он вернется, потому что этого не знал он сам, и, может быть, он сообщил об этом Генри и показал ему письмо, прежде чем его отослать, а может быть, и нет; может быть, Генри все еще его сторожил, и оба ждали, и он сказал Генри {Я жду уже достаточно долго, а Генри спросил его: "Значит, ты отказываешься? Отказываешься? и он ответил Я не отказываюсь. Я четыре года предоставлял судьбе возможность сделать это за меня, но мне сдается, что я обречен жить, что мы с нею обречены жить} - ультиматум и отказ прозвучали у костра на бивуаке; ультиматум был предъявлен у ворот, к которым оба, вероятно, подъезжали почти рядом - один спокойно и непреклонно, быть может, он даже не сопротивлялся, оставшись фаталистом до конца; другой беспощадно, с жестоким неизбывным отчаяньем и скорбью...

(Квентину казалось, будто он видит, как они стоят друг против друга у ворот. Некогда ухоженный парк, теперь заросший, запущенный и жуткий, как небритое сонное лицо больного, просыпающегося после наркоза, простирается от ворот до огромного дома, где в подвенечном платье, сшитом из утаенных лоскутков, ждет молодая девушка; в доме тоже царит запустенье,

он не пострадал от вторжения неприятеля, но напоминает раковину, выброшенную на берег и случайно уцелевшую после шторма - пустой каркас, из которого мало-помалу удалили мебель и ковры, белье и столовое серебро, чтобы облегчить смерть измученным и израненным людям, которые, даже умирая, понимали, что уже много месяцев их жертвы и мучения напрасны. Сидя на тощих изможденных лошадях, эти два человека смотрят друг на друга; они еще молоды, они прожили на свете еще слишком мало, жизненные бури еще не успели их состарить, но они уже смотрят на мир глаза-, ми стариков; волосы у них всклокочены, изможденные обветренные лица словно отлиты из бронзы чьей-то суровой расчетливой рукой, потрепанные, выцветшие серые мундиры приобрели цвет палой листвы; один с потускневшими офицерскими галунами, другой без всяких знаков различия; пистолет, пока ни на кого не нацеленный, еще лежит на луке седла; лица спокойны; голоса звучат ровно: {Не переступай тень этого столба, этой ветки, Чарльз;} и: {Я ее переступлю, Генри)}... а после Уош Джонс верхом на неоседланном муле остановился против дома мисс Розы и на всю залитую солнцем, тихую и мирную улицу прокричал: "Вы будете Рози Колдфилд? Тогда езжайте поскорее туда. Генри убил этого треклятого француза. Пристрелил, как собаку".

V

{Они, конечно, вам уже рассказывали, как я велела этому Джонсу отвести на конюшню этого чужого мула и запрячь его в нашу повозку, а сама надела шляпу и шаль и заперла дом. Вот и все, больше делать было нечего: ведь вам, конечно, уже рассказали, что мне не нужен был ни сундук, ни саквояж, потому что весь мой гардероб - теперь, когда одежда, доставшаяся мне в наследство от тети, благодаря ее доброте, забывчивости или поспешности, давно износилась, -

состоял из платьев, которые Эллен время от времени приходило в голову мне подарить, а ведь Эллен уже два года не было в живых, и потому мне оставалось только запереть дом, сесть в повозку и проехать двенадцать миль, чего я после смерти Эллен еще ни разу не делала, рядом с этим тупым скотом, которого при жизни Эллен даже не подпускали к парадным дверям, с этим скотом и прародителем скотов, чья внучка впоследствии займет мое место, если не в доме моей сестры, то, по крайней мере, в ее постели, к чему (как вам скажут) стремилась я сама; с этим скотом (с этим тупым орудием справедливости, что правит делами людскими - она до поры до времени действует незаметно, не царапает, а гладит, но стоит кому-нибудь ее раздразнить, как она, беспощадно попирая общепризнанную истину и право, подобно раскаленной стали, сокрушит на своем пути всех - и праведных, но слабых и сильных, но неправедных, и победителя, и невинную жертву), с этим скотом, который будет не только сопутствовать всем обличьям и воплощениям судьбы этого дьявола Томаса Сатпена, но под конец еще предоставит ему женскую плоть, которая положит предел земному существованию его имени и рода; с этим скотом, который, казалось, счел свою миссию выполненной, когда, остановившись возле моего дома, принялся во все горло орать о крови и о пистолетах, но, очевидно, решил, что дальнейшие подробности, которые он может мне сообщить, настолько скудны, пусты и незначительны, что ради них не стоит выплюнуть табачную жвачку, и потому за все двенадцать миль не удосужился даже объяснить мне, что же, собственно, произошло.

Конечно, вам рассказали и о том, как я еще раз проехала эти самые двенадцать миль спустя два года после смерти Эллен (но может быть, это случилось спустя четыре года после исчезновения Генри или даже

спустя девятнадцать лет после того, как я родилась на свет?), ничего не зная, не имея возможности узнать ничего, кроме следующего: две женщины, две молодые женщины, одни в обветшалом доме, где уже два года не раздавался звук мужских шагов, услышали далекий, непонятно откуда донесшийся слабый выстрел, а потом, после обмена леденящими кровь предположениями и догадками над шитьем, которым они занимались, топот ног в прихожей, затем по лестнице торопливых, бегущих мужских ног, и едва Джудит успела прикрыть недошитым платьем свою наготу, как дверь распахнулась, и перед нею предстал ее брат, оголтелый убийца, которого она не видела четыре года и про которого думала, что он (если он вообще еще жив и не испустил последний вздох) находится где-то за тысячу миль, и вот они оба, эти двое отягощенных проклятьем детей, кого лишь в эту минуту поразил первый удар их дьявольского наследья, стоят и смотрят друг на друга поверх недошитого подвенечного наряда. Эти двенадцать миль я ехала рядом с диким зверем, который мог преспокойно вопить в многолюдную, навострившую уши пустоту на улице возле моего дома, что мой племянник сейчас убил жениха своей сестры, однако не мог себе позволить подгонять плетущегося шагом мула, потому что животина-то не моя, да и не евоная тоже, и как следует не жрамши аж с самого февраля, когда кукуруза кончилась, и которому, когда мы наконец въехали в ворота, непременно понадобилось остановить этого мула, махнуть кнутом и, предварительно сплюнув жвачку, пробормотать: "Эвон где оно было". - "Что было, осел ты эдакий?" вскричала я, а он все твердил свое: "Эвон где", пока я не взяла в руки кнут и не принялась стегать мула.

Но они не могут рассказать вам, как я проехала по аллее мимо истоптанных, заросших сорняками цветочных клумб Эллен, остановилась возле дома,

возле этого (как мне казалось) похожего на кокон или гроб брачного ложа юности и скорби, и поняла, что явилась не слишком поздно, как мне показалось вначале, а, напротив, слишком рано. Передо мною высились облупившиеся стены и полуразвалившийся портик никем не тронутого и не разграбленного жилища; в него не залетала вражеская пуля, его не попирала железная пята солдата; казалось, будто ему была уготована иная, еще более страшная участь, какое-то жуткое безнадежное запустенье, словно жестокое пламя объявшего весь мир пожара, стихая, убедилось в собственном бессильи и в последний решающий миг отступило, не смея поглотить этот несокрушимый железный остов; одна ступенька прогнила и даже чуть не провалилась у меня под ногой (и провалилась бы, если бы я не догадалась ее перепрыгнуть), когда я взбежала по лестнице и очутилась в прихожей, не за- Ц стланной ковром вместе с постельным и столовым бельем он давно уже пошел на корпию, - и увидела лицо Сатпена, но, едва успев воскликнуть: "Генри! Генри! Что ты наделал? О чем этот болван мне тут толковал?", убедилась, что приехала не слишком поздно, как мне показалось вначале, а, напротив, слишком рано. Потому что это бъ1ло совсем не лицо

Генри. Лицо было совершенно сатпеновское, но это было не лицо Генри; в тускло освещенной прихожей лицо кофейного цвета, казавшееся совершенно сатпеновским, загораживало лестницу; ворвавшись в оглушительное молчанье этого зловещего дома с яркого дневного солнца, я сначала не могла ничего разобрать, но постепенно передо мною возникло это лицо, лицо Сатпена; оно не приближалось, не выплывало из мрака, оно просто там было; твердое и несокрушимое, как скала, древнее самого времени, дома, судьбы и всего на свете, оно ждало (о да, он

сделал удачный выбор, он превзошел самого себя, создав по образу и подобию своему безжалостного Цербера своего собственного ада) - это лицо без признаков возраста и пола, которых оно никогда не имело, то самое лицо сфинкса, с которым она родилась, которое в тот вечер смотрело вниз с чердака рядом с лицом Джудит - она сохранила его и по сей день, в свои семьдесят четыре года; оно смотрело на меня, не дрогнув, ничего не выражая, словно с точностью до секунды рассчитало, когда я должна появиться; оно ожидало здесь, пока я тащилась все эти двенадцать миль на лениво плетущемся муле, смотрело, как я подъезжаю все ближе и ближе и наконец вхожу в дверь, как будто заранее знало, что я в эту дверь войду (а может, даже и заставило меня в нее войти - ведь существует справедливость, чье прожорливое, как у Молоха, брюхо не отличает хрустящих костей от нежного мяса)... При виде этого лица я остановилась как вкопанная (остановилось не тело: оно все еще двигалось, бежало вперед, а мое Я, та сокровенная внутренняя жизнь, которую мы ведем и для которой движенье наших рук и ног всего лишь неумелый, запоздалый аккомпанемент - как если бы доморощенные музыканты кто во что горазд исполняли какую-то мелодию на множестве ненужных инструментов) в этой пустой прихожей, перед голой лестницей (тоже без ковра), поднимавшейся к тускло освеженной площадке второго этажа, где гулко отдавалось эхо - не моего голоса, а голоса того, что могло бы быть, но потеряно навек и безвозвратно - такие голоса обитают во всех домах, во всех замкнутых стенах, возведенных руками человека не ради крова и тепла, а лишь для того, чтобы скрыть от любопытных взоров толпы извилистые темные пути старых, но вечно юных обманчивых иллюзий надежды, гордости,

честолюбия (о да, и любви). "Джудит! - позвала я. - Джудит!"

Ответа не было. Я его и не ждала; наверно, я уже тогда не ожидала, что Джудит мне ответит, - так ребенок, еще не успев понять, что именно его напугало (прежде чем ужас окончательно лишит его способности рассуждать), зовет на помощь родителей, хотя и совершенно точно знает, что их здесь нет и что они его не слышат. Я взывала не к кому-то, не к чему-то, я пыталась (криком) пробиться сквозь что-то, сквозь это противодействие, сквозь эту яростную, недвижимую, твердую как скала, враждебную мне силу, которая заставила меня остановиться: сквозь это виденье, это знакомое кофейное лицо, сквозь это тело (кофейные босые ноги неподвижно застыли на голом полу, а позади поднимался изгиб винтовой лестницы), не больше моего, которое совсем не шевелилось, ничуть не перемещалось в пространстве (она даже не отвела от меня взгляда, потому что смотрела не на меня, а сквозь меня, очевидно, все еще раздумывая о том, как мое вторжение нарушило цельность четырехугольника открытой двери), а, казалось, растягивалось, отбрасывая вверх что-то непостижимое - не душу, не дух, а скорее нечто такое, что с напряженным вниманием прислушивалось к чему-то для меля недоступному и недозволенному, постигая и воспринимая какую-то невидимую тайну, унаследованную от расы более древней и чистой, нежели моя, и именно благодаря этому в разделяющей нас пустоте возникло то, что я ожидала здесь найти (да, непременно должна была найти, а иначе - хоть я там и была и дышала, мне пришлось бы усомниться, родилась ли я вообще когда-либо на свет) - эта давным-давно запертая душная спальня, эта не застланная простыней постель (супружеское ложе любви и скорби), бледный окровавленный труп в залатанном выцветшем сером

мундире, алую кровь на голом матрасе, коленопреклоненная невенчанная вдова - меж тем как я (вернее, моя телесная оболочка) еще не остановилась (для этого требовалось прикосновение, рука), я, безрассудная жертва самовнушенья, все еще верила: то, что должно быть, будет, не может не быть, а иначе мне пришлось бы усомниться не только в своей жизни, но и в своем здравом уме; я бегу, бросаюсь на это непроницаемое кофейное лицо, на эту холодную, беспощадную, бессмысленную (нет, только не бессмысленную, все что угодно, только не бессмысленную - ведь черная податливая кровь, которую он оплодотворил, взяла от него ясновидящую волю и разбавила его абсолют безнравственного зла) копию его лица, которую он породил и которой повелел распоряжаться здесь в его отсутствие; бросаюсь, как обезумевшая ночная птица, что стремглав несется на роковой свет железного фонаря. "Постой, сказала она. - Не ходи наверх". Но я еще не остановилась - для этого нужна была рука; я все еще бежала, стремясь преодолеть последние несколько футов, через которые мы смотрели друг на друга - не как два человека, а как два противоположных абстрактных понятия, какими мы, в сущности, и были; ни та, ни другая не повышала голоса, словно каш разговор велся независимо от речи и от слуха. "Что?" - спросила я.

"Не ходи наверх, Роза". Она проговорила это так спокойно, так тихо, что мне опять почудилось, будто эти слова произнесла не она, а самый этот дом, который он построил, который вырос на нем как гнойник - таким же образом из его собственного пота могла бы образоваться какая-то (пусть даже невидимая) оболочка, кокон, в котором Эллен пришлось жить и умереть чужой для всех, в котором Генри и Джудит придется быть пленниками, жертвами или умереть. Дело было не в слове, не в имени, не в том, что она

назвала меня просто Розой. Когда мы были детьми, она называла просто по имени не только меня, но и Генри и Джудит; я знала, что даже и теперь она называет Джудит, да и Генри, если речь заходит о нем, просто по имени. И она вполне могла бы. все еще называть меня Роза, а не мисс Роза - ведь для всех моих знакомых я все еще оставалась ребенком. Дело было не в этом. Она совсем не хотела меня обидеть - ведь, в сущности, в ту секунду, когда мы стояли лицом к лицу (за секунду до того, как мое все еще бегущее тело минует ее и взбежит на лестницу), она выказала мне больше почтительности и уважения, чем кто-либо из моих знакомых; я знала, что с той секунды, как я появилась в дверях, для нее, единственной из всех моих знакомых, я перестала быть ребенком. "Роза? вскричала я. - Ты смеешь называть меня Розой? В лицо?" Тут она коснулась меня рукой, и тут я наконец остановилась. Возможно, мое тело не остановилось даже и тогда - мне показалось, будто я чувствую, как оно слепо бросается на тяжелый, но невесомый сгусток той воли (не ее воли, я и поныне утверждаю, что она служила лишь орудием), которая не подпускала меня к лестнице; возможно, еще прежде, чем оно (мое тело) могло успеть остановиться, нас объединил, отбросил друг от друга звук другого голоса, одно-единственное слово, раздавшееся с верхней площадки. Не знаю. Знаю только, что все мое существо слепо ринулось вперед и со всего размаху натолкнулось на что-то чудовищное и неподвижное, и чувство изумления и возмущения, которое я испытала, было слишком неожиданным и сильным, чтоб его могло вызвать простое прикосновение черной руки, которая, желая меня остановить, бесстрашно коснулась моей руки - руки белой женщины. Ибо прикосновение плоти к плоти мгновенно перерезает, разрубает хитроумное сплетение ниточек этикета и условностей; это хорошо знают и любовники и враги, ибо только прикосновение

делает из человека любовника или врага, - да, прикосновение, прикосновение к цитадели, в которой скрывается самый центр нашего бытия, наше сокровенное Я Есмь, а не душа, не дух, ведь разум, как похотливая и алчная тварь, готов отдаться первому встречному в любом темном закоулке нашего земного обиталища. Но стоит только плоти соприкоснуться с плотью, и вы увидите, как отпадет скорлупа всех предрассудков касты и цвета кожи. Да, я остановилась как вкопанная - мне преградила путь не рука женщины, не рука негритянки, а невидимая рука того, кто держал в узде эту свирепую непреклонную волю, - я взывала не к ней, а к нему, к нему обращалась я через эту женщину, эту негритянку - на меня словно бы нашел столбняк, который еще не вылился в возмущенье, потому что скоро должен был, превратиться в ужас, я не ждала и не получила ответа - ведь мы обе знали, что не к ней были обращены мои слова: "Руки прочь, черномазая!"

Ответа не было. Мы просто стояли - я как бы замерла на бегу, она застыла в зловещей неподвижности; и эта рука, словно туго натянутая пуповина, держала нас обеих, как двух близнецов-сестер породившей ее жуткой тьмы. Ребенком я не раз видела, как она, Джудит, и даже Генри возились и дрались (возможно, так играют все дети, я просто этого не знаю) и (как мне говорили) она и Джудит даже спали вместе в одной комнате, только Джудит спала в кровати, а она, по всей вероятности, на соломенном тюфяке на полу. Но я слышала, что Эллен не раз находила их обеих на тюфяке, а однажды нашла вместе в кровати. Но со мной ничего подобного быть не могло. Даже ребенком я ни за что не хотела играть теми игрушками, которыми играли они с Джудит, словно уродливое спартанское одиночество, которое я называла своим детством, научившее меня слушать (и

пожалуй, больше ничему), прежде чем я начала что-либо сознавать и понимать слова еще до того, как я их услыхала, научило меня не только инстинктивно бояться ее и того, чем она была, но избегать даже вещей, к которым она прикасалась. Вот так мы там и стояли. И вдруг я поняла, что кричу не от возмущения, не от ужаса, а от накопившегося во мне, бившего через край отчаянья. Я помню, что когда мы там стояли, соединенные этой безвольною рукой (да, эта рука была такой же страдающей жертвой, как я и как она), я крикнула - быть может, не вслух, не словами (и, заметьте, я обращалась не к Джудит; быть может, едва я вошла в этот дом и увидела это лицо - одновременно и нечто большее, и нечто меньшее, чем Сатпен, - быть может, даже тогда я уже знала то, чему не могла, не хотела, не должна была верить), я крикнула: "И ты тоже? И ты тоже, сестра, сестра?" Чего я ждала? Я, безрассудная жертва самовнушенья, приехавшая сюда за двенадцать миль, чего я ждала? Быть может, я ждала, что Генри сейчас появится из какой-нибудь двери, знакомой с его прикосновением, возьмется рукой за щеколду, переступит через порог, знакомый с тяжестью его ноги, и найдет в прихожей маленькое, жалкое, испуганное существо, на которое еще никто на свете не взглянул дважды, которого он сам уже четыре года не видел, да и раньше встречал не очень часто, но которое тотчас же узнает, хотя бы по изношенному коричневому шелковому платью, некогда принадлежавшему его матери, и еще по тому, что это существо назовет его по имени? Что Генри появится и скажет: "Да ведь это Роза, тетя Роза. Проснись, тетя Роза, проснись"? И я, спящая, что все еще цепляется за сон - так тяжелобольной исступленно цепляется за последний скоротечный миг невыносимой смертной муки, чтобы острее вкусить восторг, когда отпустит боль, - я пробужусь к действительности и даже, более

того, не к неизменным, нетронутым старым временам, а к новым, что изменились под стать тому сну, который, слившись воедино с самим спящим, превращается в божество или святыню: "Мама и Джудит с детьми, а папа и Чарльз гуляют в саду. Проснись, тетя Роза, проснись"? Но может быть, я ничего не жду, ни на что не надеюсь, даже не вижу никаких снов, потому что сны не приходят парами, и разве не приехала я сюда, за двенадцать миль, не на живом, подвластном смерти муле, а на кошмарном химерическом отродье самой ночи? Да, проснись, Роза, проснись, пробудись ото сна - не о былом, а о том, чего не было и не могло быть никогда; проснись, Роза, - не к тому, что будет и могло бы быть, а к тому, чего быть не может и не будет; проснись. Роза, оставь свои надежды; ведь ты верила, что существует видимость скорби, даже если самой скорби нет; ведь ты думала, что нужно спасать - если не любовь, не счастье и не мир, то хотя бы безутешную вдову, и нашла, что спасать тебе здесь нечего; ты надеялась спасти ее, как обещала Эллен (не Чарльза Бона и не Генри - никто из них не нуждался в защите от него или даже друг от друга), но было уже слишком поздно; живи ты там даже с тех пор, как вышла из чрева матери, или достигни уже полного расцвета сил человеческих, когда родилась на свет она, - все равно было бы слишком поздно; ты преодолела путь длиной в двенадцать миль и девятнадцать лет,, желая спасти нечто, что не нуждалось в спасенье, и вместо этого потеряла самое себя. Не знаю, знаю только, что этого я не нашла. Я обрела лишь состоянье сна, когда, не двигаясь с места, бежишь от ужаса, в который невозможно верить, к безопасности, которая не внушает ни малейшего доверия, и в этом состоянии меня держали не зыбкие сыпучие пески кошмара, а лицо, ставшее мучителем собственной души, рука, сама пригвоздившая себя к кресту; держали до тех пор, пока

тот самый голос нарушил эти чары и нас разъединил. Он произнес всего одно лишь слово: "Клити", - вот так, так холодно, так тихо, но хотя голос принадлежал Джудит, им говорила не она, а опять сам этот дом. О, я отлично это знала, я, верившая, в видимость скорби, знала это не хуже, чем она - Клити. Она не шевельнулась, не стало лишь руки - даже прежде, чем я осознала, что руку отняли. Я не знаю, то ли руку отняла она, то ли я сама из-под нее выбежала. Только руки не стало, а вот что было дальше, вам тоже не смогут рассказать: как я помчалась, взбежала вверх по лестнице и нашла не скорбную молодую вдову, а Джудит - она стояла перед закрытой дверью в ту комнату, на ней было то самое бумажное платье, в котором она всегда ходила после смерти Эллен; стояла и держала в опущенной руке какую-то вещицу, и если она испытывала боль и горе, она их спрятала - совсем или частично, я не знаю - вместе с недошитым подвенечным платьем. "Что, Роза?" - произнесла она тем же голосом, и я опять застыла на бегу, хотя мое тело, эта кучка слепого, бесчувственного, обманутого дыхания и праха, все еще двигалось вперед. Вам не расскажут и о том, что в этой вялой, безучастно повисшей руне я увидела фотографию, ее собственный портрет в медальоне, который она сама ему подарила; она держала его бездумно и небрежно, как держат захлопнутую на полуслове пустую развлекательную книжку.

Вот что я нашла. Быть может, я этого и ожидала, знала (я сказала бы, что знала даже в девятнадцать лет, если бы речь шла не о моих особых девятнадцати годах), что должна это найти. Быть может, ничего большего я не могла бы желать, ничего меньшего не могла бы принять: ведь даже в девятнадцать лет я, наверное, уже знала, что жизнь - одно лишь непрерывное и бесконечное мгновенье, когда узорная

завеса, скрывающая то, чему суждено случиться, покорно и даже с радостью ждет легчайшего небрежного рывка, который - стоит нам только посметь, набраться храбрости (не мудрости, она здесь ни при чем) - тотчас ее бы разорвал. Но, быть может, здесь дело не в боязни, которая признать боится, что где-то в самом основанье системы бытия таится порча, и пленница-душа, от ядовитых испарений очищаясь, всегда стремится ввысь, навстречу солнцу и тянет за собой иссохшие за время заточенья артерии и вены; а у души в плену томится эта искра, этот сон, который, вырвавшись наружу, в прекрасный округлый миг своей свободы отражает и повторяет (повторяет? нет, творит, преобразует в хрупчайшую сверкающую сферу, живущую мгновенье) весь космос, время все, тяжелую всю землю и оставляет за собой внизу кишащую миазмами безликую людскую массу, которая за время всех времен не научилась благу смерти, а знает лишь, как размножаться и плодиться, - творит и умирает, уходит прочь, в небытие, в ничто... но можно ли назвать истинной мудростью нечто, способное постигнуть, что существует некая несбывшаяся возможность, более истинная, чем сама истина, о которой спящий, пробудившись, не скажет: "Неужто это был всего лишь только сон?" - а, осуждая сами небеса, возопиет: "Зачем же я проснулся, коль никогда уж больше не усну?"

Однажды... Чувствуете ли вы, как аромат глициний, прижатых солнцем к наружной стене, проникает, сочится к нам в комнату, словно его (без помехи света) вносит сюда незаметное глазу движенье., трение бесчисленных мельчайших частичек тьмы? Это и есть сущность воспоминанья - чувство, зрение, обоняние, мышцы, посредством которых мы видим, слышим, осязаем, - не сознание, не мысль: памяти не существует, мозг воспроизводит только то, что слепо нащупывают мышцы, не больше и не меньше, и

результат, как правило, неверен, ошибочен и достоин называться лишь сном. Посмотрите, как протянутая во сне рука, коснувшись стоящей у постели свечи, отдергивается в инстинктивном стремлении избавиться от боли, меж тем как сознание и мозг продолжают спать и воспринимают этот жар лишь как некий знак спасения от реальной угрозы или как ту же руку, соприкоснувшуюся во сне с какой-либо нежной и гладкой поверхностью, то же спящее сознание и мозг превращают в такой же, лишенный материальной субстанции плод воображенья, находящийся за пределами всякого чувственного опыта. Да, горе проходит, угасает, мы это знаем, но спросите слезные протоки, разучились ли они плакать... Однажды летом буйно цвели глицинии (об этом вам тоже вряд ли кто-нибудь расскажет), буйно цвели глицинии. Везде струился аромат глициний (мне было тогда четырнадцать лет), как будто каждая весна и лето грядущего соединились; слились воедино в одну весну, в одно-единственное лето - в весну и лето, достоянье каждой женщины, что когда-либо дышала над земным тленом, и вновь зазеленели, зацвели, чтоб наверстать каждую упущенную в глубине веков, обманувшую надежды необратимую весну. Год выдался на редкость благодатный для глициний; погода, час появления побегов из корней, их бурного порыва и цветенья соединились в редкостной удаче, но я (мне было четырнадцать лет) не стану говорить вам о цветенье, ведь на меня еще ни разу ни один мужчина не взглянул - и никогда не взглянет - дважды; я не ребенок, а нечто меньшее, чем ребенок, не женщина, а нечто даже меньшее, чем существо женского пола. Не стану говорить я и о листьях - я, жалкий, бледный, хрупкий, полу распустившийся листок, чересчур пугливый и робкий, чтобы привлечь к себе нежного майского мотылька, товарища любовных детских игр, или дать

отдых сладострастным хищникам - пчелам и осам. Однако о порыве и корне я упомяну ведь разве не была и я наследницей каждой лишенной сестер Евы со времен искусителя-змея? Да, я распускалась - жалкий бутон неведомого семени, ибо кто станет утверждать, что какой-нибудь кривой забытый корень в один прекрасный день не пустит ростков и не покроется роскошными и яркими цветами лишь потому, что этот шишковатый корень не погиб, а просто, позабытый всеми, спал?

В то лето моей бесплодной юности (этого короткого мгновенья, этой короткой, скоротечной, невозвратимой весны женского сердца) мне довелось играть роль не женщины, не девушки, а скорее мужчины, которым мне, наверное, и следовало бы родиться. Я была тогда четырнадцатилетней девочкой, четырнадцатилетней по годам, если можно назвать годами проведенное в нехоженых закоулках время, которое я звала детством, но которое было не жизнью, а скорее отраженьем эмбрионального существования в лишенном света материнском чреве; мне, уже готовому родиться, созревшему, хоть и немного запоздалому плоду, недоставало лишь кесарева сечения, холодных слепых щипцов безжалостного акушера-времени, которые должны были вырвать меня оттуда на свободу - я ожидала не света, а того удела, который зовется победой женщины, но означает лишь терпенье, терпенье, терпенье без смысла, без надежды на награду, - и опять терпенье; я, как подземная слепая рыба, как одинокая искра, о чьем происхожденье эта рыба давно уже забыла; искра, что с вечной и бессонной жаждой жизни трепещет, бьется о стены своего сумрачного, объятого глубоким сном жилища, не ведая иных слов, кроме "то называлось светом", это "запахом", а то "прикосновеньем", а вот то, другое, не передаст потомству ни слова, ни даже звука, чтобы как-нибудь

назвать пчелу и птицу, аромат цветка, свет, солнце и любовь, - я даже не росла, не развивалась, не любила света и не была любима им, и, разъедаемая той коварной, зловредной язвой одиночества, что заменяет все чувства лишь одним всепожирающим и безрассудным слухом, я, вместо того чтобы размеренно и постепенно проходить все ступени детства, никем не замеченная, окутанная сырою бархатною тишиной материнского чрева, не вытесняя воздуха, не издавая ни единого предательского звука, кралась от одной запертой и запретной двери к другой и так приобретала познания о свете и пространстве, в котором движутся и дышат люди - точно так же я (этот же ребенок) могла бы получить понятие о солнце, разглядывая его сквозь закопченное стекло, - я была четырнадцатилетней, на четыре года моложе Джудит; я на четыре года опоздала к тому мгновенью, которое уже познала Джудит: оно известно лишь девственницам, это неуловимое мгновенье бесконечной духовной свадьбы двух безымянных, бесполых и нетронутых существ; это не еженощное глумленье неодухотворенной плоти над обездоленною женщиной - награда двадцати-, тридцати- и сорокалетней, а животворное слиянье, единенье в мире света и воздуха, которым она дышит. Однако то лето не было летом девичьих порывов и тревог; щипцы еще не вырвали меня - мертворожденной или даже эмбрионом - из числа живых или, свершив насилие скребка над вспаханной мужчиною же плотью, не превратили меня (сосуд скудельный, женщину) в мужчину.

Это было лето после того первого рождества, когда Генри привез его в Сатпенову Сотню, лето после тех двух дней июньских каникул, что он провел там, прежде чем отправиться к Реке, чтоб ехать пароходом домой, лето после того, как убежала тетя, а папа уехал по делам и меня отправили к Эллен (возможно, отец

остановил свой выбор на Эллен потому, что в то время Томас Сатпен тоже отсутствовал), чтобы она за мною присмотрела - родившись слишком поздно, когда в жизни моего отца произошел какой-то странный перелом, и, оставшись на руках у этого, теперь уже дважды овдовевшего человека, я к тому времени умела лишь достать что-либо с кухонной полки, сосчитать ложки, подрубить простыню и отмерить молоко в маслобойку и, хотя не годилась больше ни на что, была все же существом столь драгоценным, что меня нельзя было оставлять без присмотра. Я никогда с ним не встречалась (я вообще ни разу его не видела, я даже не видела его мертвым. Я слышала, я видела фотографию, я помогала рыть могилу - и все), хотя он однажды посетил мой дом - это было в день Нового года, когда Генри, как почтительный племянник, возвращаясь в университет, заехал вместе с ним ко мне, но меня не оказалось дома. До этого я даже не слыхала его имени и понятия не имела о его существовании. Однако в тот летний день, когда я туда поехала, казалось, будто эта случайная остановка у дверей моего дома оставила в моей подземной норе какой-то легкий след, какое-то крошечное живучее семя, и оно породило, быть может, не любовь (я не любила, как я могла его любить? Я никогда даже не слыхала его голоса и лишь со слов Эллен знала, что на свете есть такой человек) и даже не подсматриванье и подслушиванье, как вы, конечно, это назовете; нет, за следующие шесть месяцев между тем Новым годом и тем июнем оно придало некую материальную основу тени с именем человека, возникшей из глупой хвастливой болтовни Эллен, тени пока еще безликой, потому что тогда я даже еще не видела фотографии, тень, что отразилась в брошенном украдкой мечтательном взгляде юной девушки, и потому я, ничего не зная ни о какой любви, даже о родительской - об этом настойчивом и нежном насилии

над личностью, над распускающимся, как цветок, неисправимым Я, что составляет право и награду всех рожденных от женщины, - я стала не любовницей, не возлюбленной, а как бы возвысилась над любовью и превратилась во всеведущего гермафродита, поборника всех разновидностей любви.

Наверное, он все же оставил какое-то семя, иначе пустая детская мечта не ожила бы в этом саду. Ведь я вовсе не шпионила, когда ходила за нею по пятам. Я не шпионила, хоть вы и скажете, что шпионила. А если я и шпионила, то вовсе не из ревности, потому что я его не любила, (Да и могло ли это быть - ведь я ни разу его не видела.) А если я его и любила, то не так, как любят женщины - не так, как его любила Джудит, во всяком случае не так, как нам казалось, что она его любила. Если это и была любовь (а я все еще. спрашиваю: могло ли это быть?), то я любила так, как любит мать, когда, наказывая своего ребенка, шлепает не его, а как бы соседского мальчишку, с которым он только что подрался, или когда, лаская своего ребенка, ласкает не его, а скорее безымянного незнакомца, который в награду сунул ему в ручонку влажное от пота пенни. Но не так, как любит женщина. Видите ли, я ничего у него не просила. И более того: я ничего ему не давала, а ведь это и составляет всю суть любви. Я даже по нем не скучала. Я и теперь не уверена, сознавала ли я когда-нибудь, что ни разу не видела его лица, а видела лишь ту фотографию, ту тень, тот портрет в спальне молодой девушки, обыкновенный портрет в рамке на беспорядочно заставленном туалетном столике, но (как мне казалось) увитый и украшенный всеми белыми розами девичьих грез: ведь, еще ни разу не видев фотографии, я могла бы узнать, и не только узнать, а даже описать его лицо. Но я никогда его не видела. У меня нет даже никаких доказательств, что Эллен когда-нибудь его видела, что Джудит его любила, что Генри

его застрелил, и потому кто станет со мною спорить, если я скажу: А вдруг я сама его придумала, сочинила? Я знаю лишь одно: на месте господа бога я сотворила бы из этого бурлящего потока, что мы зовем прогрессом, какую-нибудь вещь (например, машину), которая украсила бы все пустые зеркала, эти алтари всех некрасивых девушек, чем-то подобным этому портрету; это очень мало, но ведь нам и нужно очень мало. И совсем не обязательно, чтобы, за ним скрывался череп; пусть это будет любое безымянное лицо, смутный намек на какое-то живое существо, предмет желаний другого существа, хотя бы даже только в призрачном мире сказки. Портрет, подсмотренный украдкой (мое детство научило меня не любви, а скрытности, и она сослужила мне добрую службу; любовь едва ли была бы мне такой надежною опорой), когда я во время обеда тайком пробралась в опустевшую комнату. Не для того, чтоб грезить: ведь я и без того жила во сне, а чтобы еще раз повторить уже затверженную роль - так неуверенный, но рьяный дилетант прокрадывается в укромный уголок за кулисами, откуда лучше слышен голос суфлера. А если это была ревность, то не ревность мужчины, не ревность влюбленного и даже не ревнивый взор влюбленного, который шпионит из любви, в надежде прикоснуться к одинокой девичьей грезе: ведь при этом впервые начинает раскрываться та завеса, которую мы называем девственностью, но не затем, чтоб вызвать краску стыдливости, непременный спутник любовных излияний, а лишь чтоб насладиться видом нежной девичьей груди, уже порозовевшей в благодатной легкой дреме, когда стыдливости еще не время просыпаться. Нет, дело ведь совсем не в том; я не шпионила, я бродила по саду, по разровненным граблями, посыпанным песком дорожкам, и думала: "Здесь был его след, и хотя его стерли эти грабли, он

все равно еще остался здесь, а рядом ее след; они здесь проходили в том медленном согласном ритме, когда ни сердцу, ни сознанью нет нужды следить за послушными (да, и покорными) ногами"; я размышляла: "Каким вздохам двух слитых воедино душ внимали сии уединенные кустарники и лозы? Какие клятвы, обещанья, какие жаркие и пламенные страсти увенчал сиреневый ливень этой глицинии, мириады опавших лепестков этой розы?" Но лучше, много лучше этого всего настоящая жизнь и дремотная нега самой плоти. О нет, я не шпионила, когда, притаившись в своем убежище под лозой или кустом, грезила, как, наверно, грезила она на уединенной скамейке, что еще хранила невидимый отпечаток его тела; подобно этому сыпучий песок, миллионы нежных листьев и ростков, солнце, мириады задумчивых созвездий, которые взирали на него с небес, всепроникающий воздух - все они хранили следы его ног, его промелькнувшую тень, его лицо, его голос, его имя: Чарльз Бон, Чарльз Добрый, Чарльз Будущий Супруг. Нет, я не шпионила, я даже не пряталась, я все еще была ребенком, и потому мне незачем было прятаться; я бы даже ничуть не помешала, если бы они сидели вместе; однако я была настолько взрослой, чтобы пойти к ней, надеясь, что она (быть может, даже радостно и благодарно) посвятит меня в свои тайны, без всякого стыда, как девушки говорят о любви да, еще настолько ребенком, чтобы пойти к ней и сказать: "Позволь мне спать с тобой"; но уже настолько взрослой, чтобы сказать: "Давай ляжем вместе в постель, и ты расскажешь мне, что такое любовь"; но я этого не сделала, ведь тогда мне пришлось бы сказать: "Не говори мне о любви, я сама расскажу тебе о ней - ведь мне уже известно о любви больше, чем ты когда-либо узнаешь и чем тебе потребуется знать". Потом отец вернулся; он приехал и забрал меня домой, и я опять превратилась в

нескладного переростка, уже не девочку, но еще не женщину; одетая в несуразные платья, оставленные теткой, я вела хозяйство в несуразном доме; я не шпионила, не пряталась, я наблюдала и ждала - не благодарности и не награды: ведь я не любила его в обычном смысле слова, потому что такая любовь не может существовать без надежды; я любила его (если то была любовь) такой любовью, о какой не пишут, в пошлых романах, такой любовью, что отдает все, чем никогда не обладала, - тот жалкий грош, что составляет все достояние дающего, но ничего не добавляет предмету его любви - и тем не менее я это отдала. Но отдала я это не ему, не ей; казалось, я ей говорила: "Возьми себе и это. Ты не можешь любить его так, как следует его любить; и хотя он не ощутит всей тяжести этого дара, как не заметит и его отсутствия, однако в вашей совместной жизни, может быть, наступит такая минута, когда он найдет эту крохотную частичку, этот атом так на знакомой клумбе ты вдруг находишь какой-то жалкий, бледный, сморщенный росток и спрашиваешь: "А это как сюда попало?" - и отвечаешь самой себе: "Не знаю". А потом я возвратилась домой, прожила там пять лет, услышала эхо далекого выстрела, как в кошмаре взбежала по лестнице и увидела...

Всего лишь женщину в бумажном платье - она стояла перед закрытой дверью в комнату и не пускала меня туда, - женщину чуждую мне даже больше, чем любому горю, потому что она его не испытывала, женщину, которая спокойными словами: "Что, Роза?" - остановила меня на бегу; этот бег (как я теперь знаю) начался пятью годами раньше, с тех пор, как он побывал и в моем доме, оставив там, впрочем, не больше следов, чем в доме Эллен, где он прошел как оболочка, тень чего-то - не человека, не живого существа, а лишь какого-то диковинного предмета -

вазы, шифоньера или кресла, который Эллен хотела бы приобрести; словно отпечаток, оставленный (или не оставленный) им на Колдфилдовых и Сатпеновых стенах, таил в себе какое-то зловещее предвестье грядущего... Да, я выбежала из того первого года (года перед началом Войны), когда Эллен беспрерывно толковала мне о приданом (а ведь это было мое приданое), о сказочном убранстве, необходимом, чтоб отдаться, а отдаться предстояло мне, хоть я и могла отдать всего лишь малость - все свое достояние, ибо существует нечто, что могло бы быть, единственный утес, за который мы цепляемся, чтоб уцелеть в водовороте жестокой действительности... И прошло еще четыре года, - все это время она, подобно мне, ждала, когда все устои, в незыблемость которых нас приучили верить, рушились в огне и дыме и наконец погибло все - мир, безопасность, гордость и надежда; остались только изувеченные ветераны чести и любви. Да, на свете должны, непременно должны быть и любовь и верность - ведь их оставили нам отцы, мужья, возлюбленные и братья, которые высоко несли знамя гордости и надежды на мир - они должны быть, а иначе за что воюют мужчины? и за что еще стоит умирать? Да, умирать не ради суетной чести, не ради гордости и даже не ради мира, а ради той любви и верности, которые они оставили нам, уходя. Ибо ему суждено было умереть - я это знаю и знала тогда, - суждено, как гордости и миру, а иначе чем доказать бессмертие любви? Но любовь и верность умереть не могли. Разве только любовь без надежды и верность, которой нечем гордиться; но все равно любовь и верность должны были остаться превыше убийства и безумия, чтобы из жалкого, отягощенного виною праха спасти хотя бы что-то от прежнего очарования души... Да, она стояла перед закрытой дверью в комнату, куда мне не позволили войти (и, насколько мне известно, куда она

сама тоже больше не входила, пока Джонс и его помощник не внесли наверх гроб), стояла с фотографией в опущенной руке, лицо ее было совершенно спокойно, она окинула меня быстрым взглядом и, слегка повысив голос - ровно настолько, чтобы его можно было расслышать внизу в прихожей, - сказала: "Клити. Мисс Роза останется обедать; раздобудь еще какой-нибудь еды", - и потом: "Может быть,

И это было все. Или, вернее, не все, потому что не существует такого понятия, как все, конец; нам причиняет боль не сам удар, а его отражение, томительное последствие, жалкий мусор, который нужно смести с порога отчаяния. Понимаете, ведь я его ни разу не видела. Я даже не видела его мертвым. Я слышала не выстрел, а только эхо; я видела закрытую дверь комнаты, но внутрь не входила; я помню, как в тот вечер, когда мы вынесли гроб из дома (Джонс и второй белый, которого он раздобыл, извлек невесть откуда, сколотили этот гроб из досок, сорванных с каретника; помню, что, пока мы ели обед, приготовленный Джудит - да, Джудит с тем же спокойным, холодным, невозмутимым лицом варила его на плите, - ели его в той комнате, над которой он лежал, было слышно, как они стучат молотками и пилят на заднем дворе; помню, как Джудит в выцветшей бумажной шляпе под стать платью дает им указания; помню, как весь этот бесконечный солнечный день они стучали и пилили прямо под окнами выходящей во двор гостиной; помню монотонный, доводящий до безумия визг пилы - ежик, ежик, ежик; глухие, ровные удары молотка - кажется, вот это уж последний, но нет, он вовсе не последний, он повторяется снова и как раз в ту секунду, когда наступает тишина, с новой силой бьет по едва успевшим расслабиться, усталым, отупевшим, до предела натянутым нервам; и наконец, я выхожу во

двор (по дороге возле сарая мне встретилась окруженная стаей кур Джудит с полным передником только что собранных яиц) и спрашиваю их: "почему? почему здесь? почему надо делать это именно здесь?", и тут они оба останавливаются и перестают стучать; это длится довольно долго, достаточно долго, чтобы Джонс мог обернуться, дважды сплюнуть и ответить: "Потому что отсюда ближе тащить ящик", и не успела я еще отойти, как он, один из них, добавил, очевидно по какой-то тупой инерции неожиданно для самого себя отыскав логическое объяснение происходящему. "Уж чего бы проще оттащить его вниз да и обколотить вокруг досками. Вот только мисс Джуди, наверно, не понравится")... Помню, когда мы несли его вниз по лестнице к стоявшему в ожидании фургону, я старалась взять на себя всю тяжесть гроба, желая убедиться, что он и в самом деле там лежит. И все равно уверенности у меня не было. Я несла вместе с остальными его гроб, но все же не могла и не хотела верить в то, чего, как я знала, не могло не быть. Ведь я его никогда не видела. Понимаете? С нами порой случается нечто такое, чего наши чувства и разум не в состоянии принять - так желудок иногда не принимает пищи, что показалась нам съедобной, но наш организм не в состоянии ее переварить происшествия, которые внезапно воздвигают перед нами какую-то неосязаемую преграду вроде стеклянной стены; мы останавливаемся как вкопанные и смотрим сквозь нее на все последующие события - едва успев возникнуть, они уходят, исчезают, словно растворившись в беззвучной пустоте, а мы, не в силах двинуться с места, беспомощно стоим и остаемся так стоять до самой смерти. Так было и со мной. Я была там; какая-то часть моего существа двигалась размеренным шагом в ногу с Джонсом и его помощником, с Теофилусом Маккаслином, который, каким-то образом узнав о происшедшем, приехал из

города, и с Клити; мы несли громоздкий, неуклюжий ящик по узкой тесной лестнице, а Джудит поддерживала его сзади, и так дотащили до фургона; какая-то часть моего существа помогла поднять и взвалить на стоявший внизу фургон нечто, чего я не смогла бы поднять одна, но во что все еще отказывалась верить; какая-то часть моего существа стояла в сумеречной тени виргинских можжевельников возле зияющей щели в земле, слушала, как комья с глухим стуком ударяются о доски, и вместе со всеми ответила нет, когда Джудит,, стоя в головах могильного холмика, спросила: "Он был католиком. Знает, ли кто-нибудь из вас, как католики...", ко. что Теофилус Маккаслин сказал: "К черту католиков, он был солдат. А уж я как-нибудь сумею прочесть молитву за конфедерата", а затем хриплым старческим голосом прокричал: "Эге-гей, Форрест! Эге-гей, Джон Сарторис! Эге-гей!" И какая-то часть моего существа вместе с Джудит и Клити пошла обратно по освещенному закатным солнцем полю и в каком-то странном невозмутимом оцепененье отзывалась на невозмутимо спокойный голос, толковавший о вспашке земли под кукурузу и о заготовке дров на зиму, а потом на кухне при свете лампы помогала стряпать ужин и даже вместе со всеми ела его в той самой комнате, над потолком которой он уже больше не лежал, после чего пошла спать (да, взяла свечу из этой твердой недрогнувшей руки и подумала: "Она даже не плакала", а увидев в тускло освещенном лампой зеркале свое лицо, подумала: "Но ведь и ты тоже") в том самом доме, где он провел еще одно короткое (на этот раз последнее) мгновенье и не оставил по себе ни следа, ни даже слез. Да. Однажды его не было. Потом он был. Потом его не стало. Все было слишком коротко, стремительно, поспешно - все длилось только шесть часов, один короткий летний день: мгновенье было

слишком мимолетным, чтобы оставить хотя бы отпечаток тела на матрасе, а мало ли откуда может взяться кровь, если она вообще была - не знаю, я ведь его ни разу не видела. Судя по тому, что мне позволили узнать, не было ни трупа, ни даже и убийцы (в тот день не было даже и речи о Генри; никто из нас о нем не заикнулся; я, тетка, старая дева, даже не спросила, как он выглядел - хорошо или плохо? Я не произнесла ни одного из той тысячи банальных слов, при помощи которых неукротимый женский инстинкт отгораживается от мира мужчин, где родственник может выказать смелость или трусость, безрассудство, вожделенье или страх, за что другие мужчины его наградят или казнят); не было убийцы, который явился, с шумом распахнул дверь, возвестил о своем преступлении и исчез, убийцы, который, хоть он и остался жив, казался еще более призрачным, чем бестелесное ничто, которое мы заколотили в деревянный ящик; был только выстрел, да и то не самый выстрел, а лишь эхо, была тощая одичавшая кляча с уздечкой, но с пустым седлом; в седельной сумке был пистолет, поношенная чистая рубашка и твердый, как камень, кусок хлеба - эту клячу два дня спустя в четырех милях от Сатпеновой Сотни поймал какой-то фермер, когда она пыталась забраться в его конюшню. И более того: он отсутствовал, и он был, он возвратился, и его больше не было; три женщины зарыли что-то в землю, и его вообще как не бывало.

Теперь вы спросите, зачем я там осталась. Я могла бы сказать: не знаю, могла бы привести десять тысяч пустячных причин, все до единой ложные, и вы бы мне поверили - сказать, что осталась ради хлеба насущного, хотя могла бы точно так же, как и здесь, выполоть на клумбах сорняки и развести огород у себя в саду, не говоря о соседях, друзьях, чьи приношения могла бы принимать, ибо нужда умеет пренебречь чрезмерной

щепетильностью в вопросах гордости и чести; сказать, что осталась ради крова, хотя теперь-то у меня была крыша над головой в собственном родовом поместье; или сказать, что я осталась ради общества, хотя дома могла общаться с соседями, которые по крайней мере принадлежали к моему кругу, знали меня со дня рождения и даже дольше, в том смысле, что разделяли все мнения и мысли - не только мои, но и моих предков; тогда как здесь я находилась в обществе одной женщины, которую, несмотря на наше кровное родство, я совсем не понимала и, если выводы, вытекавшие из моих наблюдений, были верны, даже и не хотела понимать, и другой женщины, которая была настолько чуждой мне и всему тому, что составляло мое существо, словно мы, принадлежали не только к разным расам (так оно и было), не только к разным полам (а уж чего не было, того не было), но даже к разным биологическим видам; мы говорили как бы на совершенно разных языках, и даже самые простые слова, которыми нам приходилось каждый день обмениваться, выражали мысли и намерения, имевшие даже меньше общего, чем звуки, какие издают звери и птицы. Но я вам ничего такого не скажу. Я осталась ждать возвращения Томаса Сатпена. Да. Вы скажете (или подумаете), что я уже тогда надеялась выйти за него замуж, и если бы я стала это отрицать, вы сочли бы, что я говорю неправду. И тем не менее я это отрицаю. Я ждала его так же, как Джудит и Клити, - теперь он был всем, что у нас еще осталось, единственным, что придавало смысл нашему дальнейшему существованию, что заставляло нас есть, спать, снова просыпаться и вставать; мы знали, что мы ему понадобимся; мы (зная его) знали, что он тотчас же примется спасать и заново строить то, что еще осталось от Сатпеновой Сотни. Не то чтобы мы сами в нем нуждались. Я никогда ни на секунду не думала о

замужестве, никогда ни на секунду не воображала, что он на меня взглянет и меня увидит - ведь он никогда на меня не смотрел. Вы вполне можете мне поверить, потому что в свое время я не постесняюсь рассказать вам, когда именно я об этом подумала. Нет. Нам не потребовалось и дня совместной жизни, чтобы понять: он нам не нужен, нам вообще не нужен ни один мужчина, пока Уош Джонс жив и остается здесь - ведь я при жизни отца почти четыре года вела его хозяйство, Джудит занималась тем же делом здесь, а Клити могла нарубить дров и вспахать борозду не хуже (и, во всяком случае, быстрее) самого Уоша Джонса... И вот что печально, печальнее всего: безотрадное уныние, которое охватывает душу и сердце, когда им больше не нужно то, что нуждается в них самих. Нет. Нам не был нужен ни он, ни даже кто-то, кто мог бы его заменить; ведь мы даже не разделяли его неукротимого желания (почти безумного намерения, с которым он вернулся домой и которое, казалось, начал распространять, излучать, еще не успев спешиться), желания восстановить свою плантацию, вновь сделать ее тем, ради чего он принес в жертву сострадание, нежность, любовь и все человеческие чувства - если считать, что он ими когда-либо обладал, ведь иначе он не мог ни жертвовать ими, ни ощущать в них недостаток, ни желать возбудить их в других. Нет, дело даже и не в этом. Ни я, ни Джудит этого не хотели. Вероятно, мы просто считали это невозможным, но, что гораздо важнее, мы обрели покой, нас охватило безразличие, напоминавшее слепую бесчувственность самой земли, что даже и не грезит о распускающихся листьях и цветах, не внемлет божественному шелесту молодых побегов, которые она сама питает.

Итак, мы ждали его возвращения. Мы вели хлопотливую, однообразную жизнь трех монахинь в опустелом нищем монастыре; окружавшие нас стены

были достаточно надежны и неприступны, хотя они равнодушно взирали на то, есть у нас пища или нет. Мы жили дружно - не как две белые женщины и одна негритянка, не как три негритянки или три белые и даже не как три женщины, а просто как три живые существа, которые все еще испытывают потребность в пище, хоть и не получают от нее никакого удовольствия, испытывают потребность во сне, хоть и не ощущают радости от возможности отдохнуть и вновь набраться сил, и у которых все признаки пола атрофировались, подобно рудиментарным жабрам, известным под названием миндалин, либо большому пальцу ноги, все еще отделенному от остальных, как у наших предков, которые лазали по деревьям. Мы поддерживали порядок в той части дома, где мы жили; мы убирали комнату, куда должен был водвориться Сатпен - не ту, которую он покинул супругом, а ту, куда он должен был вернуться вдовцом, потерявшим сына, лишенным потомства, которого он, без сомнения, желал, коль скоро всеми силами и средствами старался произвести на свет детей и поместить их среди привезенной издалека мебели под хрустальными люстрами - точно так оке, как мы, то есть Джудит, и Клити, убирали комнату Генри, словно в тот летний день он не промчался сначала вверх, а потом вниз по лестнице; мы своими руками сажали, выращивали и собирали продукты, которыми питались; мы обрабатывали огород, варили и ели овощи, которые на нем росли; разница в возрасте и цвете кожи тут роли не играла, важно было лишь, кто, сберегая время и силы, нужные для других дел, сумеет быстрее разжечь огонь в очаге, помешать варево в горшке, выполоть грядку или отнести на мельницу полный фартук кукурузы, чтоб намолоть муки. Казалось, будто мы, совершенно одинаковые и взаимозаменяемые, составляем одно существо, которое копается на огороде, прядет пряжу,

ткет ткань, чтобы прикрыть свою наготу, собирает по придорожным канавам жалкие лекарственные травы на случай, если б кто-нибудь из нас осмелился или нашел время захворать, подгоняет и улещивает все того же Джонса, чтобы он вспахал поле под кукурузу или заготовил дров для нашего пропитания и обогрева зимой, - мы трое, три женщины - л, которую обстоятельства слишком рано заставили дрожать над каждым пенсом и вести такое скудное хозяйство, какое с успехом могло бы вестись на маяке, на затерянном в море одиноком утесе; я не умела даже сажать цветы на клумбе, не говоря об овощах на огороде, и привыкла к тому, что тотливо само собой появляется в ящике для дров, а мясо - на полке в кладовой; Джудит, которую обстоятельства (обстоятельства? отнюдь! сто лет тщательного воспитания, если не кровь и даже не колдфилдовская кровь, то уж, во всяком случае, традиция, в которой неуемная воля Сатпена сумела отыскать какую-то щелку) создали для того, чтобы она тихо и мирно проходила все стадии, назначенные кокону: юная деву иска; окруженная поклонением многодетная королева; а затем всемогущая благостная матрона, купающаяся в лучах довольства спокойной и бодрой старости; Джудит, жертва того, что для меня было всего лишь несколькими годами неведения, тогда как для нее десятью поколениями железных запретов; она не усвоила даже первого закона нищеты, а именно - скупиться и скаредничать ради скупости и скаредности; она (с благословения Клити) готовила вдвое больше еды, чем мы могли съесть, и втрое больше, чем мы могли себе позволить, и раздавала ее каждому встречному и поперечному, каждому незнакомцу, который ее об этом просил, меж тем как округа уже кишмя кишела отставшими от своих частей солдатами; и, наконец, последняя по счету (хотя и игравшая отнюдь не последнюю роль), Клити. Клити - не тупица,

все что угодно, только не тупица: строптивая, загадочная, полная непостижимых противоречий, она была свободна, но совершенно не приспособлена к свободе, хотя никогда не называла себя рабыней; она не хранила верности никому, как ленивый одинокий медведь или волк (да, она была дикаркой: в ее жилах текла наполовину неукрощенная черная кровь, наполовину кровь Сатпена; и если слово "неукрощенная" - синоним слова "дикая", то слово "Сатпен" означает молчаливо и злобно подстерегающий свою жертву хлыст укротителя), чья обманчивая внешность изображает покорность и страх, которых на самом деле нет; а если это верность, то лишь своей же дикой необузданной натуре; Клити, самим цветом своей кожи олицетворявшая ту катастрофу, что довела меня и Джудит до нашего теперешнего состояния, а ее (Клити) сделала тем, чем она отказывалась быть - точно так же она отказывалась быть и тем, от чего эта катастрофа ставила себе целью ее освободить; казалось, с высоты своего величия взирая на новое, она упорно стремилась олицетворять для нас зловещую угрозу старого.

Мы трое были друг другу чужими. Я ничего не знаю о мыслях Клити, о ее жизни, что поддерживала в ней пища, которую мы все вместе выращивали и варили, одежда, которую мы пряли и ткали. Но я ничего другого и не ожидала ведь мы с ней были открытыми непримиримыми врагами. Но и о мыслях и о чувствах Джудит я тоже ничего не знала. Мы все трое спали в одной комнате (и не только потому, что берегли дрова - ведь нам самим приходилось их носить. Нет, ради безопасности. Приближалась зима, и уже начали возвращаться солдаты, отставшие от своих частей, - нельзя сказать, что все это были бродяги и бандиты, это были просто люди, которые всем рисковали и все потеряли, которые терпели нечеловеческие лишения и теперь возвращались на разоренную землю другими, не

такими, какими ушли; и что самое ужасное - это последняя степень падения, до какой война доводит душу и сердце, - они уподобились человеку, которого отчаянье и жалость заставляют оскорблять любимую жену или подругу, в его отсутствие ставшую жертвой насилия. Мы боялись. Мы их кормили, мы отдавали им все, что у нас было; мы охотно взяли бы себе их раны, лишь бы они остались невредимы. Но мы их боялись); мы просыпались и вставали; мы выполняли бесконечные нудные обязанности, без которых просто нельзя было жить; после ужина мы сидели у очага, все трое до того усталые, что кости и мышцы уже не могут отдыхать, когда истощенный, но все же непобедимый дух и в безнадежности способен отвлечься мыслью о какой-нибудь прорехе в одежде, и тут мы говорили, мы говорили о тысяче вещей - о нашей тяжкой, однообразной и убогой жизни, о тысяче вещей, о чем угодно, кроме одного. Мы говорили о нем, о Томасе Сатпене, мы говорили о конце Войны (теперь нам было ясно, что он близок) и о том, что он станет делать, когда возвратится домой, как он возьмется за свой поистине достойный Геркулеса труд; мы твердо знали, что он за это дело возьмется и непременно - хотим мы того или нет - беспощадно вовлечет в него и нас (да, мы и это знали); мы говорили о Генри - сдержанно, с обычной бесполезной беспомощной тревогой слабых женщин за отсутствующего мужчину - как ему живется, не голоден ли он, не страдает ли от холода; мы говорили о нем точно так же, как об его отце, словно и они и мы все еще продолжали жить в том времени, которому положил предел тот самый выстрел, с которым, навеки покончил тот бешеный топот по лестнице; говорили так, словно того вечера вовсе никогда и не было. Но мы ни разу не упомянули о Чарльзе Боне. Поздней осенью Джудит два раза днем куда-то исчезала и возвращалась к ужину, спокойная и

невозмутимая. Я ни о чем ее не спрашивала, не ходила за нею следом, но я знала, и Клити, несомненно, тоже знала, что она убирала палую листву и сухие можжевеловые иглы с могилы - с холмика, что постепенно сравнивался с землею, в которой мы ничего не похоронили. Нет, никакого выстрела не было. Это был просто резкий стук раз и навсегда захлопнувшейся двери, за которой осталось все, что было и что могло бы быть, как будто мы, три слабые, но непреклонные женщины, упорно не желая примириться с тем, что уже произошло, остановили неуловимый бег событий, заставили застыть одно мгновенье и повернули время вспять; как будто мы похитили у брата его добычу, вырвали из рук убийцы жертву пули. Так прошло семь месяцев. А потом, это было в январе, Томас Сатпен вернулся домой, одна из нас подняла голову, склоненную над грядкой, которую мы готовили для посадок на будущий год, и увидела, как он верхом на лошади едет по аллее. А потом однажды вечером я с ним обручилась.

На это мне потребовалось всего лишь три месяца. (Вы заметили, что я говорю "мне", а не "ему"?) Да, именно мне, и всего лишь три месяца, а ведь я целых двадцать лет смотрела на него (когда мне случалось, приходилось на него смотреть) как на людоеда, на сказочного зверя, каким пугают маленьких детей; я видела, как его отпрыски, плоть от плоти моей покойной сестры, уже начали уничтожать друг друга, и тем не менее в тот полдень, когда он, двадцать лет не удостаивавший меня взглядом, поднял голову, остановился и посмотрел на меня, я сразу побежала к нему, как собачонка, которую свистнул хозяин, нет, я не оправдываю себя, хотя и могла бы (и хотела бы и даже привела) привести тысячу благовидных предлогов, вполне достаточных для женщин, от природной женской непоследовательности до желания (или

надежды) разбогатеть, занять положение в обществе или просто страха умереть, не познав мужчины, - таким страхом (как вам, без сомнения, скажут) одержимы все старые девы - и, наконец, жажды отомстить. Нет. Я ничем себя не оправдываю. Я могла бы уехать домой и не уехала. Наверное, мне надо было уехать домой. Но я не уехала. Вместе с Джудит и Клити я стояла перед полуразвалившимся портиком и смотрела, как он подъезжает к дому на тощей заезженной кляче; казалось, будто в седле сидит не он, будто перед нами только мираж, лишь его отражение - око вырвалось вперед, застыло в яростном безумном нетерпенье, которое передалось его тощей кляче, его седлу, сапогам, потрепанному, выгоревшему до цвета палого листа мундиру с оборванными потускневшими золотыми нашивками, висевшему на этой живой, но бесчувственной оболочке; казалось, еще прежде, чем он успел спешиться, эта оболочка приблизилась к нам и из нее раздался голос: "Здравствуй, дочь", после чего он наклонился и коснулся бородою лба Джудит, которая все это время стояла неподвижно, молча, с застывшим лицом, и они обменялись четырьмя фразами, четырьмя короткими, простыми фразами - в них, над ними и за ними ясно слышался тот самый голос крови, который почудился мне, когда Клити не подпускала меня к лестнице: "Генри не...?" - "Нет. Его здесь нет". - "Так. А...?" - "Да. Генри его убил". И тут она разразилась слезами. Да, слезами, а ведь она ни разу не плакала; ведь с того самого дня, когда она спустилась с лестницы все с тем же спокойным каменным лицом, которое остановило меня на бегу перед той самой запертою дверью и с тех пор не менялось; да, она разразилась слезами, словно все, что накопилось за эти семь месяцев, одним немыслимым потоком само собою хлынуло наружу (а она при этом не шевельнулась, ни единый мускул не дрогнул на ее лице), хлынуло и так

же внезапно исчезло, испарилось, словно сухой опаляющий жар бесплодной пустыни, которым от него пахнуло, мгновенно высушил ей слезы; все еще не снимая рук с ее плеч, он взглянул на Клити, проговорил: "Ну, как ты, Клити?" - и тогда посмотрел на меня - то же лицо, которое я видела последний раз, только чуть-чуть осунувшееся, те же жестокие глаза, волосы, теперь чуть-чуть тронутые сединой, и ни малейшего признака, что он меня узнал, пока наконец Джудит не сказала: "Это Роза. Тетя Роза. Она теперь живет у нас".

И это было все. Он въехал на аллею и снова вошел в нашу жизнь, не оставив на ней никакого следа, кроме этих внезапных невероятных слез. Ведь его самого здесь не было; в этом доме, где проходили наши дни, он, в сущности, совсем не появлялся. Здесь пребывала лишь его оболочка; она занимала комнату, которую мы для него убирали, ела пищу, которую мы добывали и варили; казалось, он не способен насладиться ни мягкою постелью, ни вкусом или качеством еды. Да. Его здесь не было. Какое-то существо ело с нами за одним столом; мы задавали ему вопросы, и оно нам отвечало; по вечерам оно сидело вместе с нами у очага и, внезапно пробудившись от глухой глубокой дремы, обращалось с речью - не к нам, не к трем парам ушей, не к трем наделенным слухом и разумом существам, а к воздуху, к притаившемуся где-то в пустоте угрюмому призраку, духу своего полуразвалившегося дома; оно говорило словами, напоминавшими безумный бред одержимого, который в самых стенах собственной гробницы возводит сказочные замки, исполинские Камелоты и Каркассонны. Не то чтобы его не было здесь, на этом случайном квадратном клочке земли, который он назвал Сатпеновой Сотней, нет. Его не было только в этой комнате, и то лишь потому, что какая-то неведомая сила влекла его отсюда, потому, что он распался на отдельные частицы, и они витали над

каждым заросшим сорняками полем, над каждой обвалившейся изгородью, над рухнувшей стеною каждой хижины, амбара и конюшни; подобно электрическому току, проходящему сквозь раствор электролита, все эти частицы держало в неистовом и неослабном напряженье сознание того, что время коротко, что надо торопиться; казалось, он лишь сейчас, сию минуту, родился на свет, огляделся вокруг и понял, что он уже стар (ему было пятьдесят девять лет), и им овладела тревога (не страх, а именно тревога), что старость отнимет у него не силы, а время, и он не успеет завершить задуманное прежде, чем наступит его смертный час. Мы верно угадали его намерения, мы поняли, что он даже не остановится передохнуть, а тотчас примется за дело, стараясь по возможности вернуть свой дом и плантацию в их прежнее состояние. Мы не знали, как он к этому приступит; я думаю, что он не знал и сам. Да он и не мог этого знать ведь он вернулся ни с чем, в ничто, в оставшееся за четыре года меньше чем ничто. Но это его не остановило и не испугало. Он обладал холодным расчетом и одержимостью игрока, который знает, что всегда может проиграть, но проиграет непременно, если хоть на секунду ослабит неистовое напряжение воли, и потому при помощи лихорадочных комбинаций с картами или костями откладывает решающий ход до той минуты, покуда заглохшие источники и каналы удачи не исторгнут новую струю. Он не остановился, не дал своим пятидесятидевятилетним мышцам и костям передохнуть день или два, день или два, когда он мог бы поговорить - не о нас и не о том, как мы все это время жили, а о себе, о прошедших четырех годах (судя по тому немногому, что он нам рассказал, никакой войны могло вовсе и не быть, а если она и была, то где-то на другой планете, и он ничем в ней не рисковал, а его плоть и кровь в ней совсем не пострадали) -

естественном промежутке времени, необходимом для того, чтобы жестокая горечь пораженья могла избыть себя в чем-то вроде мира, вроде передышки в неистовом немыслимом рассказе (лишь он один позволил уцелевшему мириться с жизнью) о том, сколь ничтожна пушинка, склоняющая чашу весов к победе или катастрофе и сколь невыносимо пораженье, когда оно обращается против самого человека, но не стирает его с лица земли, а оставляет ему жизнь, но жить с этим сознаньем он не может. Мы его почти не видели. Он уходил на рассвете и возвращался затемно, он, Джонс и еще двое или трое мужчин, которых он где-то разыскал и которым чем-то платил возможно, тем же, чем чужеземному архитектору, - увещаниями, посулами, угрозами и, наконец, силой. Этой зимою мы узнали, что такое саквояжники, и люди - во всяком случае женщины - стали по ночам запирать окна и двери и пугать друг друга рассказами о восстаниях негров; этой зимою заросшие, уже четыре года не знавшие плуга, заброшенные поля оставались в еще большем небрежении, меж тем как белые мужчины с пистолетами в карманах каждый день собирались в городах. Его с ними не было; помню, как однажды ночью, пробравшись по непролазной мартовской грязи, они явились к нему целой депутацией и потребовали от него ответа - да или нет, с ними или против них, друг или враг, а он отказался, уклонился, дал им понять (ни единый мускул на его исхудалом свирепом лице не дрогнул, ровный голос не повысился), что ему не до них, и что если каждый южанин последует его примеру и позаботится о своем достоянии, то вся земля и весь Юг будут спасены, после чего выпроводил их из комнаты и из дома, поднял над головою лампу, остановился на виду у всех в дверях, выслушал последнее слово их вожака: "Значит, война, Сатпен", - и ответил: "Я к ней привык". Да, конечно, я следила за

ним, следила, как этот одинокий старик вступил в жестокое единоборство не с упрямой, но постепенно поддающейся землей, как это было прежде, а с новым тяжким грузом самого времени, словно пытался запрудить реку голыми руками и одним-единственным камушком; и все это в погоне за прежней неверной мечтой об успехе, которая уже однажды его обманула (обманула? нет, предала, а на этот раз его погубит)', теперь я сама ясно вижу эту аналогию: двигаясь по роковому кругу, его неуемная гордыня и суетное пристрастие к пустому величию все быстрее и быстрее влекут его к концу, аналогию, которая тогда от меня ускользнула. Да и как могла я ее видеть? И в двадцать лет я все еще была девочкой, все еще пребывала в том узком, как материнское чрево, коридоре, куда не проникал не только живой отзвук окружающего мира, но даже его мертвая загадочная тень, откуда я с невозмутимым незамутненным изумлением ребенка смотрела на призрачный хоровод, в котором кружились мужчины и женщины - мой отец, моя сестра, Томас Сатпен, Джудит, Генри, Чарльз Бон, наблюдала их шутовские ужимки, называемые честью, принципами, бракосочетанием, любовью, горем, смертью; правда, девочка, что наблюдала за Сатпеном, была уже не девочкой, а частью триумвирата, который составляли мы трое - Джудит, я и Клити; мы, как единая женщина-мать, кормили, одевали, согревали эту застывшую оболочку, таким образом давая простор и волю его безумному пустому заблужденью, и каждая из нас говорила себе: "Наконец-то моя жизнь обрела какой-то смысл; пусть даже он заключается лишь в том, чтоб охранять и ограждать дикие выходки неразумного дитяти". А однажды за полдень (я вскапывала мотыгой грядку в том месте, где проходила тропинка от конюшни к дому) я подняла голову и увидела, что он на меня смотрит. Он двадцать лет меня видел, но теперь

он на меня смотрел; он средь бела дня стоял на тропинке и на меня смотрел. И ведь вот что любопытно - что это должно было произойти именно средь бела дня, и хотя в это время ему следовало находиться совсем не возле дома, а где-то за тридевять земель, на этой сотне квадратных миль, которые у него еще не удосужились отнять, возможно, даже не в той или иной их точке, а везде и всюду (он не рассеялся, не растворился, не растаял, а, напротив, увеличился, колоссально разросся, словно каким-то нечеловеческим усилием сумел на одно бесконечно долгое мгновенье охватить и удержать в целости и сохранности весь этот квадрат длиной и шириною в десять миль, остановился на краю разверстой пропасти и, непобежденный, бесстрашно взирал на свое неотвратимое и, как он теперь уже, конечно, понимал, окончательное пораженье), он вместо этого стоял на тропинке и смотрел на меня каким-то странным, непонятным взглядом, словно в ту минуту, как он меня увидел, двор и тропинка были болотом, из которого он вышел, не подозревая, что вот-вот выберется на солнце, а потом двинулся дальше... лицо, то самое лицо; это была не любовь, я этого совсем не говорю, не жалость или нежность, это была просто внезапная вспышка света, озаренье; ведь этот человек, узнав, что сын его совершил убийство и исчез, сказал только: "Ага. Ну как ты тут, Клити?" Он пошел дальше, к дому. Но это была не любовь; я этого не утверждаю, я не ищу себе ни извинений, ни оправданий. Я могла бы сказать, что он и раньше во мне нуждался, что он меня использовал, так чего мне было возмущаться, если он хотел использовать меня еще больше, но я этого не сказала; я могла бы на этот раз сказать: "Не знаю", - и сказала бы правду. Потому что я действительно не знаю. Он ушел; я не заметила даже и этого ведь существует не только метаболизм тела, но и метаболизм духа, в котором то,

что копилось долгое время, сгорает, возрождается, создает и разрывает некую девственную плеву разбушевавшейся плоти; да, в какую-то долю секунды, в какой-то миг пылающего забвенья унеслись и рассыпались в прах все сокровенные заклятья: не могу, не хочу, ни за что, никогда. Эта секунда еще принадлежала мне, я еще могла бежать, но я осталась; я заметила, что его нет, но не помнила, как он ушел; я увидела, что моя овощная грядка вскопана, хотя и не помнила, когда успела ее закончить; в этот вечер я сидела за ужином, со знакомой, погруженной в глухую дрему оболочкой, к которой мы постепенно привыкли (за едой он ни разу на меня не взглянул; я могла бы сказать тогда: какою же фальшивою мечтою нас обманет, в какую сточную канаву сновидений нас завлечет неисправимая предательская плоть? но не сказала), а когда мы, по обыкновению, сидели у очага в спальне Джудит, он появился в дверях, посмотрел на нас, сказал: "Джудит, ты и Клити..." - и умолк, а затем, войдя в комнату, продолжал: "Впрочем, все равно. Роза не обидится, если вы обе тоже об этом услышите; ведь времени у нас в обрез, а дел по горло", - после чего подошел, остановился, положил мне на голову руку (я не знаю, на что он смотрел, когда говорил, но, судя по звуку его голоса, он не смотрел ни на нас, ни на что-либо другое в комнате) и сказал: "Ты, вероятно, думаешь, что я был не очень хорошим мужем твоей сестре Эллен. Ты наверняка так думаешь. Но если ты даже не сделаешь скидку на то, что я теперь постарел, я, пожалуй, могу обещать, что буду во всяком случае не худшим мужем тебе".

Таков был мой роман. Мимолетный обмен взглядами на огороде, рука у меня на голове в спальне его дочери, указ, повеление, холодная самоуверенная речь, как приговор (он и стоял так, как стоят, читая приговор), который не произносят и не выслушивают, а читают

вырубленным на гладком камне, что служит подножьем забытой безымянной надгробной статуи. Я этого не извиняю. Я не прошу ни оправдания, ни жалости; я не ответила: "Да, я согласна", - не потому, что меня об этом не просили, и не потому, что для ответа не нашлось ни времени, ни места и никакой возможности. Ведь я могла ответить. Ведь стоило мне только захотеть, и я бы силой вырвала возможность сказать в ответ не кроткое: "Да", а в слепом отчаянье обрушить жестокий сокрушительный удар любым оружием, доступным женщине, чья зияющая рана вопиет. "Нет! Ни за что! Спасите! Помогите!" Нет, я не прошу ни оправданий, ни жалости - ведь я не шевельнулась, я сидела под тяжестью бесчувственной руки людоеда из моего детства; я слышала, как он сказал что-то Джудит, слышала ее шаги, потом увидела ее руку - да, не Джудит, а только ее руку, по которой, как по печатной хронике, я прочитала всю ее историю - -сиротство, лишения, погибшую любовь, четыре года неблагодарного и тяжкого труда; натруженную ладонь, на которой оставили неизгладимый след ткацкий станок, топор, мотыга и другие орудия, назначенные в удел мужчинам; и на этой ладони лежало кольцо, которое он тридцать лет назад дал Эллен в церкви. Да, аналогия, парадокс, а в придачу еще и безумие. Я сидела и, не глядя, чувствовала, как он теперь надевает это кольцо на палец мне (он теперь тоже сидел - на том стуле, который обычно занимала Клити, а она стояла у камина, там, куда не достигал свет горящих поленьев), и слушала его голос, как тридцать лет назад в апрельский день своей юности слушала его Эллен; он говорил не обо мне, не о любви и не о свадьбе и далее не о себе; это была не речь нормального человека, он обращался не к другим нормальным людям, а к темным силам рока, которые он сам же вызвал к жизни и которым теперь сам бросил дерзкий

вызов; это была неуемная похвальба безумца, одурманенного сном о прежней целой Сатпеновой Сотне, которой теперь не существовало (и больше никогда не будет существовать в действительности), как это было в тот день, когда Эллен впервые о ней услышала, как будто, снова надев кольцо на палец живой женщины, он повернул время на двадцать лет назад, сумел его остановить и заморозить. Да. Я сидела, слушала его голос и говорила себе: "Ведь он сошел с ума. Он назначит, эту свадьбу на сегодня; сам и священник и жених, он совершит свой собственный обряд и со свечой в руке произнесет свое безумное благословенье; но и я тоже сошла с ума, ибо я дам согласие, покорюсь, стану его сообщницей и брошусь в пропасть". Нет, я не ищу себе оправданий, не взываю к жалости. Если в ту ночь я спаслась (а я действительно спаслась; мне была уготована иная, еще более горькая участь, которая постигнет меня позже, когда у нас... то есть у меня не будет никаких оснований ссылаться на захваченную врасплох докучную предательскую плоть), это была не моя заслуга, я не сделала для этого ровно ничего, это случилось просто потому, что, водворив на место кольцо, он тотчас перестал на меня смотреть или, вернее, смотрел так же, как все предыдущие двадцать лет; словно он на короткое время вновь обрел рассудок, как это бывает с безумцами, да и нормальных людей тоже порою охватывают приступы безумия, чтобы они не забывали о своем здравом рассудке. И даже более того. Он уже три месяца ежедневно меня видел, хотя и вовсе на меня не смотрел, ибо я попросту составляла часть триумвирата, принимавшего его молчаливую грубоватую мужскую благодарность если не за жалкие спартанские удобства, которые мы ему доставляли, то, по крайней мере, за возможность и дальше жить в своем безумном сне. Однако следующие два месяца он меня даже и совсем не видел. Скорее всего потому, что

он был слишком занят, а после обручения (если предположить, что именно этого он и хотел) ему уже незачем было со мною видеться. Разумеется, незачем - ведь даже день свадьбы не был назначен. Казалось, будто того вечера вообще никогда не было, не существовало. Меня могло вообще никогда не быть в доме. Хуже того, я могла уехать, возвратиться к себе домой, а он бы этого даже не заметил. Я (не знаю, что ему было от меня нужно, во всяком случае, не я сама, не мое присутствие, скорее чтобы я просто существовала; ему было все равно, кто сыграет эту роль - Роза ли Колдфилд или любая другая молодая женщина, не состоящая с ним в кровном родстве; однако и тут я должна отдать ему должное: он ни разу не подумал о том, что позже предложил мне сделать, ни разу до той минуты, когда он сам об этом объявил, - я знаю, что он не стал бы откладывать это предложение не только на два месяца, но даже и на два дня)... мое присутствие было для него всего лишь отсутствием черной трясины, густых непроходимых дебрей и лиан для человека, который пробирался сквозь болото без всякой надежды, без света, руководимый и движимый лишь одной несокрушимой стойкостью непораженья, и вдруг наткнулся на твердую сухую землю, увидел солнце, вдохнул воздух - если для него вообще существовало солнце, если кто-то или что-то могло затмить ослепительное сиянье его безумия. Да, он был безумен, но не настолько уж безумен. Ибо и в злодействе есть целесообразность: вор, жулик, даже убийца руководствуются правилами более строгими, чем сама добродетель, так почему бы не иметь их безумию? Если он был безумцем, то сумасбродной была лишь его неотвязная мечта, а не образ действий; тот, кто посулами и увещаньем мог заставить людей вроде Джонса трудиться в поте лица, не был безумцем; тот, что чурался белых балахонов и скачущих в ночи

галопом лошадей, при помощи которых его прежние знакомцы, если не друзья, пытались избавиться от разъедавшей их гнилостной язвы пораженья, не был безумцем; а разве безумным был план, посредством которого он ухитрился по самой дешевой цене заполучить единственную женщину, способную стать его женой, и притом единственным способом, сулившим успех? - нет, только не безумцем, ибо ведь и в безумии и даже в маниакальной одержимости есть нечто, чего, ужаснувшись дела рук своих, бежит сам Сатана и, что вызывает сострадание господа бога - какая-то ничтожная искорка, какая-то частичка, способная облегчить участь и искупить грехи наделенной даром речи, зрением, слухом, обонянием и вкусом живой плоти, которую мы называем человеком. Но все равно. Я расскажу вам, что он сделал, а вы судите сами. (Или, вернее, попробую вам это рассказать: ведь существуют вещи, для которых три слова на три больше, чем нужно, а три тысячи слов ровно на столько же меньше, и это - одна из них. Об этом можно рассказать: я могу произнести ровно столько же фраз, повторить грубые, бесстыдные и дерзкие слова, которые произнес он, и внушить вам такой же ужас, возмущенье и смятенье, какие охватили меня, когда я поняла, что он имеет в виду; я могу произнести три тысячи фраз и оставить вам лишь тот же вопрос: - почему? почему? и еще раз почему? - который я задаю себе и слышу уже почти полсотни лет.) Но я хочу, чтоб вы судили сами и сказали, была ли я права, чтобы вы были судьей и сказали мне, права я или нет.

Понимаете, я была солнцем или думала, что я им была - ведь я верила, что в безумии есть хоть искорка, хоть частичка божественного огня, если даже само безумие не знает слов для обозначения ужаса и жалости. Был на свете людоед моего детства; еще до моего рождения он утащил в свое мрачное логово мою

единственную сестру и породил двоих маленьких получудовищ; меня не поощряли, да я и сама не хотела с ними дружить, словно мое запоздалое рождение и одиночество внушило мне предчувствие того рокового сплетения судеб, предупредило о той роковой зловещей катастрофе еще прежде, чем я узнала слово "убийство" - и я его простила; был призрак, который ускакал верхом под знаменем и (был то демон или нет) мужественно нес свой крест; и я не только простила, я его уничтожила, ибо пять лет спустя людоед возвратился в своем прежнем обличье, каким он жил в памяти, протянул руку и сказал: "Поди сюда", как говорят собаке, и як нему пошла. Да, то же тело, то же лицо, с тем же именем и памятью: он даже правильно запомнил, кого и что (кроме меня; и разве это не было еще одним доказательством?) он покинул и к чему возвратился, но теперь то был уже не людоед - бесспорно, злодей, но смертный, способный ошибаться злодей, внушающий скорее жалость, чем страх, но не людоед; бесспорно, безумец, но я сказала себе: разве безумец не жертва собственного безумия? Быть может, это вовсе не безумие, а отчаяние одиночки, вступившего в титаническую схватку с одиноким, обреченным, неукротимым духом, но уж никак не людоед, ибо он погиб, исчез, быть может, поглощенный парами серы и огнем среди унылых скалистых утесов воспоминаний моего одинокого детства, воспоминаний, а может быть, забвенья; я была тем солнцем, я думала, что он (после того вечера в комнате Джудит) не забыл о моем существовании, а просто сам не отдает себе отчета в своих чувствах, как вырвавшийся из болота путник, который снова почуял под собою землю, увидел свет и солнце, но понял лишь, что больше нет болота и тьмы; я думала, что в чужой, не родственной крови таятся чары, которые мы называем бледным словом "любовь", что она станет, сможет стать ему солнцем

(хоть я была моложе и слабее), в лучах которого ни Джудит, ни Клити не смогут отбросить ни малейшей тени; да, я была моложе их всех, но зато мой не исчисляемый временем, не поддающийся измерению возраст придавал мне силы, и потому я, и только я одна, могла сказать ему: "О безумный сумасбродный старик, я сделана не из того, о чем ты грезишь, но я дам тебе воздух и вольный простор для твоих лихорадочных снов". А потом как-то среди дня - да, то была сама судьба: среди дня, среди дня, среди дня - понимаете? - умерли надежда и любовь, умерли гордость и достоинство, умерло все, и осталось только вечное негодование, ужас и недоуменье, которые длятся вот уже сорок три года: он вернулся домой и позвал меня, стоя на заднем крыльце, он громко звал меня, кричал до тех пор, пока я не спустилась вниз; да, да, я вам уже говорила, что он вовсе не думал об этом до той самой минуты, бесконечно долгой минуты, вместившей в себя все расстояние между домом и местом, где он находился, когда это пришло ему в голову; и вот еще одно совпадение - это было в тот самый день, когда он определенно и точно узнал, какую часть своей сотни квадратных миль он сможет спасти, удержать и назвать своею в свой смертный час и что теперь (что бы с ним ни случилось) он по крайней мере сохранит оболочку Сатпеновой Сотни, хотя теперь было бы правильнее называть ее Сатпеновой Единицей; он кричал и звал меня до тех пор, пока я не спустилась вниз. Он даже не успел привязать лошадей; он стоял, небрежно накинув на руку поводья (на этот раз он не положил руки мне на голову), и говорил со мной такими грубыми бесстыдными словами, точно советовался с Джонсом или с кем-либо еще насчет кобылы, коровы или суки.

Вам, наверное, уже рассказали, как я вернулась домой. Да, да, я знаю: "Роза Колдфилд зарыдала, был мужчина - потеряла"; да, да, я знаю (но

доброжелательно, они исполнены доброжелательности): Роза Колдфилд, несчастная, жалкая, одинокая сиротка по имени Роза Колдфилд наконец обручилась и тем избавила город и округ от необходимости ее кормить; вам, наверное, уже рассказали, как я отправилась туда жить до конца дней своих, якобы усмотрев в преступлении племянника перст божий, повелевающий мне исполнить последнюю волю умирающей сестры и спасти хотя бы одну из двоих детей, которых она сама обрекла на гибель уже при зачатии, на самом же деле - чтобы находиться в доме, когда он вернется, - будучи демоном, он неуязвим для пуль и ядер и потому непременно вернется; они вам рассказали, что я ждала его, потому что была еще молода (и не похоронила свои надежды под сенью знамен и под звуки горна), что я созрела для замужества именно здесь и теперь, когда большая часть молодых людей погибла, а все, кто остался в живых, либо стары, либо давно женаты, либо устали, слишком устали для любви; меж тем как он - самый завидный и единственно возможный для меня жених: ведь в том окружении, где даже в лучшем случае и в мирное время мои виды и так были бы ничтожны, потому что я не только не была богатой и знатной южанкой, а напротив, весьма скромной молодой особой, чье происхождение и состояние недвусмысленно говорили сами за себя - будь я дочерью богатого плантатора, я могла бы выйти чуть ли не за кого угодно, но как дочь мелкого лавочника не могла даже позволить себе принять в подарок букет цветов почти ни от кого и потому была обречена в конце концов выйти замуж за первого попавшегося приказчика из лавки своего отца... Да, они, наверное, уже рассказали вам: она была молода и похоронила свои надежды лишь на ту ночь, что длилась четыре года, когда при свете затененной бессонной свечи увековечивала Войну и

завещанные, ею страдания, несправедливость и горе на обратной стороне страниц старого гроссбуха, тайком вдыхая вместо воздуха смертоносные миазмы вожделенья, ненависти и убийства; они, наверное, уже вам рассказали: дочь скрывшегося от военной службы человека, которому суждено было стать демоном, злодеем, она имела все основания ненавидеть своего отца - ведь если б он не умер у себя на чердаке, ей не пришлось бы искать в Сатпеновой Сотне защиты, крова и хлеба; а если бы ей не пришлось есть хлеб Сатпена и прикрывать свою наготу его одеждой (даже если она и помогала работать на огороде и ткать) до тех пор, пока простая справедливость не потребовала уступить ему во всем, что не угрожало ее чести, она не обручилась бы с ним; а если бы она с ним не обручилась, ей бы не пришлось сорок три года подряд бессонными ночами спрашивать себя: Почему? Почему? Почему? словно она даже ребенком бессознательно была права в своей ненависти к отцу, и потому эти сорок три года бессильного невыносимого возмущения коварная, глумливая, бесплодная природа мстила ей за ненависть к тому, кто дал ей жизнь. Да, Роза Колдфилд наконец обручилась, а ведь если б сестра не оставила ей в наследство хоть какое-то подобие крова и родни, она могла бы стать обузой для города; и вот теперь Рози Колдфилд зарыдала, был мужчина - потеряла; Роза Колдфилд, которая, возможно, была права, да только женщинам мало того, что они правы; они скорее предпочтут быть неправыми, нежели удовлетвориться только своею правотой; им надо, чтобы свою неправоту признал мужчина. И именно этого она ему не может простить - не оскорбленья, не того, что она его бросила, а того, что он умер. Да, да, я знаю, знаю, как два месяца спустя им стало известно, что она собрала свои пожитки (то есть снова надела шляпу и шаль) и возвратилась в город жить в пустом доме, где умерли

ее родители и куда время от времени будет заглядывать Джудит, чтоб привезти ей кое-что из тех съестных припасов, которые имелись в Сатпеновой Сотне и которые лишь крайняя нужда, лишь присущая плоти необъяснимая, упрямая животная воля к жизни заставляли ее (мисс Колдфилд) принимать. Что и говорить - действительно крайняя, ибо теперь весь город - проезжие фермеры, чернокожие служанки, спешащие поутру на кухни белых, - увидит, как она задолго до рассвета будет собирать зелень в чужих огородах, будет вытаскивать ее сквозь щели в заборах, потому что у нее нет ни своего огорода, ни семян, чтобы его засевать, ни орудий, чтобы его обрабатывать, даже если бы она толком и знала, как это делается: ведь, поработав всего лишь год на огороде, она была в этом деле сущим новичком и к тому же вряд ли стала бы разводить свой собственный огород, даже если б и умела; она будет просовывать руку сквозь забор и собирать овощи, хотя соседи охотно пригласили бы ее зайти и взять их, они бы даже собрали овощи и прислали их ей сами, потому что не только судья Бенбоу, но и многие другие по ночам оставляли у нее на крыльце корзинки с едой. Но она им этого не позволяла; она даже не пользовалась палкой, чтобы достать овощи, до которых нельзя было дотянуться рукой - ома грабила лишь на длину невооруженной руки и этот предел никогда не переступала. Она выходила на добычу, пока город еще спал, но не из страха, что кто-нибудь увидит, как она ворует овощи, - ведь если б у нее был черномазый слуга, она отправила бы его средь бела дня на любой огород, как воспетые ею в стихах герои-кавалеристы отправляли на фуражировку своих солдат. Да, Рози Колдфилд зарыдала, был жених, но потеряла (да, да, они вам это расскажут); нашла жениха, но он ее оскорбил, услышала что-то и не простила; не столько за то, что это было сказано,

сколько за то, что кто-то посмел про нее такое подумать; и потому, когда она это услышала, ее словно громом поразило, и она поняла, что он, наверное, носился с этой мыслью целый день, неделю, возможно, даже целый месяц, что он каждый день смотрел на нее с этой мыслью, а ока даже и не знала. Но я его простила. Вам будут говорить совсем другое, но я его простила. А почему бы нет? Мне было нечего прощать; я его не потеряла, потому что он мне никогда не принадлежал - какой-то комок грязи вошел в мою жизнь, сказал мне нечто такое, чего я никогда не слыхала прежде и никогда не услышу вновь, а потом вышел вон, и все. Он никогда мне не принадлежал, и уж во всяком случае в том грязном смысле, который вы этому слову придаете и, быть может, думаете (но тут вы ошибаетесь), что придаю и я сама. Это не имело значения. Суть оскорбленья заключалась совсем не в том. Я хочу сказать, что он никогда не принадлежал никому и ничему на этом свете, не раньше и не позже, он не принадлежал даже Эллен, даже внучке Джонса. Потому что он никак не воплотил себя на этом свете. Он был ходячей тенью. Он был слепым, как летучая мышь, фантомом, перевернутым зеркальным отраженьем своих адских мук, выброшенным из-под земной коры лучом дьявольского волшебного фонаря; верша свой путь небытия из бездны темного хаоса в бездну темной вечности, он постепенно (вы замечаете эту постепенность?) спускался все ниже и ниже, цепляясь, пытаясь уцепиться своими призрачными тщетными руками за все, что могло - как он надеялся - его задержать, спасти, остановить - за Эллен (вы замечаете эти вехи?), за меня и, наконец, за эту безотцовщину, за это дитя единственной дочери Уоша Джонса, которая, как я однажды слышала, умерла в каком-то мемфисском борделе, - пока наконец не обрел избавление (если не мир и покой) в ударе ржавой косы.

Об этом меня тоже оповестили, поставили в известность - правда, на этот раз не Джонс, а кто-то другой, кто из любезности зашел ко мне сказать, что он умер. "Умер? вскричала я. - Ты умер?! Ты лжешь, ты не умер; небеса не смогут, преисподняя не посмеет тебя принять!"} Но Квентин ее не слушал, ибо в ее рассказе также было нечто, чего и он не мог переступить - эта дверь, а за дверью топот бегущих по лестнице ног, словно продолжение того глухого выстрела; эти две женщины, негритянка и белая девушка в одной рубашке (сшитой из мешков из-под муки, если в доме еще была мука, из оконных занавесок, если ее уже не стало), они оцепенели, они глядят на дверь; на кровати аккуратно расстелен кусок затейливого затканного старинного атласа в пене кремовых кружев; белая девушка поспешно хватает его, прижимает к груди; дверь с грохотом распахивается, и перед нею предстает ее брат - с непокрытой головой, лохматые, расчесанные штыком волосы падают на небритые впалые щеки; залатанный выцветший мундир; пистолет в небрежно повисшей руке; и вот они оба, брат и сестра, как две капли воды похожие друг на друга, словно разница полов лишь подчеркивает это порожденное общностью крови, до ужаса странное, почти невыносимое сходство, сошлись грудь с грудью, как два борца, и бросают друг другу в лицо короткие, резкие, словно пощечины, фразы, и ни тот ни другая не делает даже попытки отвести удар.

{Теперь ты не можешь выйти за него замуж!

Почему я не могу выйти за него замуж?

Потому что он умер.

Умер?

Да. Я его убил.}

Он (Квентин) не мог через это переступить. Он даже ее не слушал; он только проговорил:

- Сударыня? Что? Что вы сказали?

- В этом доме что-то есть.

- В этом доме? Так ведь это Клити. Разве она?..

- Нет. В нем что-то живет. Оно там прячется. Оно уже четыре года живет спрятанное в этом доме.

VI

На рукаве пальто Шрива был снег, снег таял; Шрив был без перчаток, и его квадратная, заросшая светлыми волосками рука покраснела от холода. Потом на столе под лампой на раскрытом учебнике забелел прямоугольный конверт; Квентин увидел сначала знакомый расплывчатый штемпель {Джефферсон, Миссисипи, 10 янв. 1910}, а затем, развернув письмо, написанные тонким наклонным отцовским почерком слова {Дорогой сын}; они напомнили ему то унылое пыльное лето, когда он готовился в Гарвард, и вот теперь письмо, написанное рукою отца, легло на освещенный лампой чужой стол в Кембридже и, преодолев чужие суровые снега Новой Англии, принесло из Миссисипи сюда, в эту чужую комнату, те унылые летние сумерки -- глицинию, запах сигары, светлячков:

{Дорогой сын,

вчера похоронили мисс Розу Колдфилд. Почти две недели она была без памяти и два дня назад умерла, не приходя в сознание, и, говорят, не испытывая боли, хотя непонятно, что это значит -- мне всегда казалось, что безболезненною смертью можно назвать лишь ту, которая отнимает рассудок, нападая неожиданно, так сказать, с тыла -- ведь если смерть нечто большее, нежели короткое своеобразное эмоциональное состояние и скорбь оставшихся в живых, она должна быть коротким и столь же своеобразным состоянием самого умирающего. И если что-либо может причинить любому рассудку, превосходящему рассудок ребенка или кретина, страдание более сильное, чем медленное и постепенное приближение того, что этот рассудок за

долгий период смятения и ужаса научился считать безвозвратным и жалким концом, то я такого не знаю. И если можно обрести покой, избавиться от боли, освободившись от непреходящего чувства жестокой обиды, которое сорок три года было спутником, хлебом насущным, огнем и всем прочим, то и такого я тоже не знаю...}

...письмо принесло с собой тот сентябрьский вечер (и ему скоро придется сказать, объяснить: "Нет, не тетка, не кузина, не дядя, просто Роза, Мисс Роза Колдфилд, старая дама, которая умерла молодой от негодования однажды летом в 1866 году", а потом Шрив спросил: "Значит, она тебе не родня, никакая не родня; значит, на Юге все-таки был хоть один Баярд и хоть одна Джиневра, которые тебе не родня? Тогда почему она умерла?", причем Шрив спрашивал это уже не в первый раз; начиная с сентября, все в Кембридже уже не раз его просили: {Расскажи о Юге. Что там происходит. Что люди там делают. Почему они там живут. Почему они вообще живут)}... тот самый сентябрьский вечер, когда мистер Компсон наконец перестал говорить и он (Квентин) смог наконец уйти от отцовских рассказов, потому что пора было ехать, а вовсе не потому, что он уже все выслушал -- ведь он даже и не слушал, ведь все еще оставалось что-то, чего он так и не мог переступить: та дверь; то изможденное, трагически самозабвенное юное лицо, словно трагическая маска в студенческом спектакле, словно университетский Гамлет, которого пробудил от беспамятства опустившийся занавес, и он, спотыкаясь, бежит с пыльной сцены, откуда вся труппа ушла еще в день прошлогоднего торжественного выпуска; сестра, что смотрит на него, прикрывшись подвенечным платьем, которое она никогда не наденет и даже не сможет дошить -- и оба, словно пощечины, бросают в лицо друг другу двадцать пять слов, большая часть

которых повторяется по нескольку раз, так что суть составляют всего лишь каких-нибудь десять -- двенадцать.

На ней (на мисс Колдфилд) была шаль, как и следовало ожидать, и шляпка (некогда черная, она теперь выцвела и отливала металлической прозеленью старых павлиньих перьев), в руках она держала огромный черный ридикюль размером с хороший саквояж, со всеми ключами, какие только были в доме: от буфета, чулана и входной двери; одни ключи уже не поворачивались в замках, которые, впрочем, мог бы открыть шпилькой или куском жевательной резинки любой ребенок; другие теперь даже не подходили к замкам, для которых предназначались, совсем как престарелые супруги, которым давно уже нечего друг с другом делать и не о чем говорить и у которых не осталось ничего общего, кроме массы воздуха, который они вытесняют и которым дышат, и равнодушной многотерпеливой земли, что несет на себе их тяжесть. Тот вечер, те двенадцать миль позади упитанной кобылы в пыли безлунной сентябрьской ночи; деревья вдоль дороги не стоят, не тянутся ввысь, как подобает деревьям, а осели, прижались к земле, словно гигантские птицы; их тяжелые, покрытые толстым слоем двухмесячной пыли лохматые листья трепыхаются, словно перья клохчущих кур; придорожные кусты тоже покрыты тягучей, как резина, слившейся от жары пылью, и если смотреть на них сквозь пыльное облако, окутавшее лошадь и повозку, они кажутся сгустками какого-то твердого вещества, что стойко и неуклонно поднимается вертикально вверх в некоем древнем вулканическом, лишенном кислорода жидком праэлементе; туча пыли, в которой движется повозка, не рассеивается, потому что ее поднял не ветер и держит ее на весу не воздух, она возникла, материализовалась вокруг них мгновенно и навеки --

один кубический фут пыли на один кубический фут лошади и повозки -- она ползет под окаймленной клочьями ветвей бескрайнею далью плоских, черных, густо утыканных свирепыми звездами небес; облако пыли движется вперед, окутывая их -- оно не то чтобы грозит, оно скорее мягко, ласково, чуть ли не дружески предупреждает, словно говоря: {Езжайте, если хотите. Но я приду туда раньше; сгустившись перед вами, я приду первым; я поднимусь, тихонько заберусь под копыта и колеса, и вы не достигнете цели, а просто скатитесь в долину, и перед вами разверзнется глухая непроницаемая ночь, и тогда вам не останется ничего другого, кроме как возвратиться назад, и потому я советую вам не ехать, а сразу же повернуть обратно, и пусть все остается, как прежде}; он (Квентин) был с этим совершенно согласен, он сидел в повозке рядом с неукротимой, маленькой, как кукла, старухой, сжимавшей в руках ситцевый зонтик; он вдыхал сгущенный зноем запах старого женского тела, сгущенный зноем запах нафталина в слежавшихся складках старой шали; у него было такое чувство, словно он превратился в электрическую лампочку и состоит из одной только крови и кожи -- повозка приводила в движение так мало воздуха, что он не давал никакой прохлады, вызывала у него внутри так мало движения, что кожа перестала выделять пот; он думал {О господи, не допусти, чтобы мы нашли того человека или то, что там находится; не допусти, чтобы мы хотя бы даже попытались, рискнули нарушить его покой} (и опять голос Шрива:

-- Подожди. Подожди. Ты хочешь сказать, что эта старушенция, эта тетушка Роза...

-- Мисс Роза, -- поправил Квентин.

-- Ладно ладно... что эта старая дама, эта тетушка Роза...

-- Говорят тебе, мисс Роза.

-- Ладно ладно ладно... что эта старая... эта тетушка Ро... Ладно ладно ладно ладно... что она там не была, что она сорок три года не переступала порога этого дома и, однако, не только утверждала, будто там кто-то скрывается, но нашла человека, который ей поверил, который в полночь отправился на повозке за эти двенадцать миль, чтобы узнать, права она или нет?

-- Да, -- отвечал Квентин.

-- Что эта старушенция, которая выросла в доме, напоминавшем битком набитый мавзолей, где ей только и было заботы, что тихо и мирно ненавидеть своего отца, тетку и мужа сестры, в ожидании дня, когда они докажут не только самим себе, но и всему свету, что она была права. И вот в одну прекрасную ночь тетка спустилась по водосточной трубе и удрала с барышником, и, значит, насчет тетки она была права и тут все вышло, как она хотела; потом ее отец заколотил себя гвоздями на чердаке, чтобы его не забрали в армию бунтовщиков, и умер с голоду, и значит, тут тоже все вышло, как она хотела, не считая неизбежной возможности, что, когда для него настанет время признать ее правоту, он окажется не в состоянии говорить или не найдет себе слушателя, и вышло, что насчет отца она тоже была права: ведь если бы он не разозлил генерала Ли и Джефа Дэвиса, ему не пришлось бы заколачивать себя гвоздями и умирать, а если б он не умер, он не сделал бы ее сиротою и нищей и не поставил бы в такое положение, в котором ей могли нанести эту смертельную обиду; и насчет зятя она тоже была права: ведь не будь он демоном, его детей не нужно было бы от него защищать, и ей не пришлось бы туда ехать, и тогда старик не обманул бы ее, и ей не пришлось бы вместо роли Кассандры при овдовевшем Агамемноне играть пылкую, но нетронутую Тисбу при дряхлом подагрическом Пираме, который явился перед ней незваным апрельским многоликим

демоном и предложил зачать от него ребенка на пробу, и если это будет мальчик, то они поженятся, и тогда первый порыв негодования и ужаса не унес бы ее обратно в город, и ей не пришлось бы на рассвете воровать овощи сквозь дыры в дощатых заборах, что было для нее горше желчи и полыни. Но тут все вышло совсем не так, как она хотела, и притом навсегда -- она ведь даже не могла про это рассказать, и все из-за того, кем была ее преемница, не из-за того, что стоило ему посмотреть по сторонам, как он в тот же день нашел ей преемницу, а именно из-за того, кем эта преемница была; из-за того, что она вообще могла попасть в такое положение, при котором возникла бы возможность или необходимость отказаться от обязанностей, какие ее преемница, пусть даже по мнению демона, была достойна выполнять; нет, вышло совсем не так, как она хотела, ибо когда для него настало время признать свою неправоту, с ним получилась бы та же незадача, что и с ее отцом -- он тоже был бы мертв; ведь она, без сомнения, предвидела эту косу, хотя бы по одному тому, что коса будет последним оскорблением и афронтом, как молоток и гвозди в случае с ее отцом; эту косу, этот символический лавровый венец еще одной победы королевы-смерти, эту ржавую косу, которую сам же демон двумя годами раньше одолжил Джонсу, чтобы тот мог скосить сорную траву у дверей лачуги и тем расчистить дорогу для случки, -- это ржавое лезвие, которое ежедневно украшалось новой яркой лентой или дешевыми бусами, в которых она (как бишь она ее называла? потаскушка? нет, как-то иначе) щеголяла, -- эта коса, этот символический образ, из-за которого он, даже мертвый, когда сама земля отказалась его носить, все еще продолжал над нею глумиться?

-- Да, -- сказал Квентин.

-- Что этот Фауст, этот демон, этот Вельзевул сбежал от мимолетного огненного взгляда своего разгневанного и возмущенного сверх всякой меры Кредитора, удрал и укрылся в респектабельности, словно шакал под кучей камней, -- так ей показалось сначала, пока она не поняла, что он вовсе не скрывался, даже и не думал скрываться, а просто строил свои последние козни и совершал последние пакости перед тем, как Кредитор снова, на этот раз уже окончательно, его настигнет; этот Фауст, который в одно прекрасное воскресенье явился с парой пистолетов и двумя десятками подсобных демонов, и выманил у несчастного невежественного индейца сто квадратных миль земли, и построил на этой земле самый большой дом на свете, и уехал с шестью фургонами, и вернулся с хрустальными гобеленами и веджвудскими стульями для этого дома, и никто не знал: то ли он ограбил еще один пароход, то ли просто выкопал из тайника еще небольшую часть прежней добычи; который прятал рога и хвост под человеческой одеждой и касторовой шляпой; который выбрал (купил, перехитрив при этом своего будущего тестя, так ведь?) себе жену, после того как три года изучал, взвешивал и сравнивал -- не из самых родовитых местных фамилий, а из менее знатных, чье положение в обществе было подорвано настолько, что он не рисковал получить за невестой манию величия, которую еще не готов был претворить в действительность, однако же и не настолько подорвано, чтобы она не сумела разобраться в купленных им новых ложках, кожах и вилках, жену, которая не только укрепит его убежище, но сможет, захочет и в самом деле родит ему двоих детей, чтобы они сами и их потомство стали щитом и опорой хрупких костей и утомленной плоти старика в тот день, когда Кредитор в последний раз его настигнет и ему не удастся уйти; и вот пожалуйста --- дочь влюбляется, а

сын, орудие и живая преграда между ним (демоном) и рукой Кредиторова шерифа, пока сын не женится и тем не застрахует его вдвойне и с ежегодным приростом; и после всего этого демон вдруг ни с того ни с сего делает полный поворот крутом и выгоняет из дому не только жениха, но и сына и настолько его развращает, обольщает и гипнотизирует, что тот берет на себя роль вооруженной пистолетом негодующей отцовской руки, когда возникает угроза прелюбодеяния, так что пять лет спустя демон возвращается с войны и видит: то, чего он добивался, свершилось окончательно и бесповоротно -- сын бежал навсегда под угрозой петли, дочь обречена остаться старой девой, -- и, не успев еще вынуть ногу из стремени, он (демон) берется за дело и снова обручается, чтобы заместить потомство, надежды на которое он сам же уничтожил?

-- Да, -- сказал Квентин.

-- Он возвращается домой и видит, что его надежды на потомство рухнули -о чем позаботились его дети; что его плантация разорена, на невспаханных полях пышно разрослись сорняки; что судебные исполнители Соединенных Штатов засеяли их налогами, сборами и штрафами; что все его черномазые сбежали -- о чем позаботились явки; и можно подумать, что теперь он наконец угомонится, но не тут-то было: не успев еще вынуть ногу из стремени, он не только предпринимает попытку привести свою плантацию в прежнее состояние -возможно, надеясь сбить с толку Кредитора, чтобы тот думал, будто он тешит себя иллюзией, что время еще не вышло и ничто не изменилось, хотя ему скоро стукнет шестьдесят, а тем временем родить себе для опоры новую ораву ребятишек, но выбирает для этой цели последнюю женщину на земле, какую он только мог бы к этому склонить, эту тетушку Ро... ладно ладно ладно... которая его ненавидит, которая всю жизнь его ненавидела; однако он выбирает именно ее, с

какой-то невероятной дерзостью, словно отчаянная уверенность в собственной неотразимости или неуязвимости составляет часть платы за что-то, проданное им Кредитору; что именно -- неизвестно, но только не душу, ибо, по словам старухи, души у него не было никогда; он делает ей предложение и получает согласие, а три месяца спустя, хотя дата свадьбы так и не была назначена, да и о женитьбе с тех пор тоже ни разу не заходила речь, в тот самый день, когда он точно выясняет, что сможет сохранить по крайней мере часть своей земли и какую именно, он подходит к ней и предлагает вместе родить парочку щенят, с дьявольскою хитростью прибегнув к уловке, к которой мужья и женихи пытаются прибегать уже десять миллионов лет, к уловке, которая, не причиняя ей вреда и не давая оснований возбудить против него судебное преследование, не только сдует с голубятни эту маленькую обитательницу мира грез, но окончательно и бесповоротно свяжет ее супружескими узами (а ему, жениху или супругу, она благополучно наставит рога, еще не успев опомниться) с бестелесным призраком негодования и мести. Он произнес эти слова и освободился, навеки освободился от угрозы или вмешательства со стороны кого бы то ни было -- ведь теперь он наконец избавился от последнего родственника своей покойной жены, теперь он был свободен: сын бежал в Техас, в Калифорнию, может, даже в Южную Америку; дочь обречена остаться старой девой и до самой его смерти (после это уже не будет иметь значения) жить в этом гниющем доме, заботиться о нем и кормить его, разводить кур и выменивать яйца на одежду, которой они с Клити не могли сами сшить, так что теперь ему незачем даже быть демоном, теперь он стал просто безумным и бессильным стариком, который наконец понял, что его мечты о восстановлении Сатпеновой Сотни не только тщетны,

но то, что от нее осталось, никогда не сможет прокормить ни его, ни его семью, и потому он открыл придорожную лавчонку, где торговал лемехами для плугов, вожжами, керосином, ситцем, дешевыми лентами и бусами, где покупателями были освобожденные негры и белая (как это, напомни мне это слово -- белая...? -- ах да, белая шваль), а приказчиком Джонс, и кто знает, может, он и лелеял мечту посредством этой лавки разбогатеть и заново возродить свою плантацию: ведь он уже дважды сумел спастись -- один раз он попался, но потом его выпустил на свободу Кредитор, который заставил его детей уничтожить друг друга, прежде чем у него появилось потомство, и он решил, что, может, зря вырвался на свободу, и потому снова залез в кабалу, а потом решил, что это напрасно, и снова выбрался из кабалы, после чего сделал крутой поворот и заплатил за новую кабалу бусами, ситцем и полосатыми леденцами со своих же собственных прилавков и полок?

-- Да, -- сказал Квентин. {Он говорит совсем как отец} подумал он, бросив мимолетный взгляд (лицо его было спокойно, безмятежно, даже, как ни странно, угрюмо) на Шрива, который всем своим обнаженным лоснящимся торсом, розовым и гладким, как у ребенка или херувима, почти лишенным растительности, наклонился к лампе, и на его круглом, как луна, румяном лице блеснули близнецы-очки; при этом он (Квентин) услышал запах сигары и глицинии, увидел, как в сентябрьских сумерках, вспыхивая, мигают светлячки. {В точности как отец, если бы накануне той ночи, когда я туда поехал, отец знал об этом столько, сколько наутро после моего возвращения} думал он {Этот немощный безумный старик наконец понял, что даже демону поставлен предел в его способности творить зло; он наверняка увидел, что находится в положении статистки, танцовщицы кордебалета,

которой вдруг стало ясно, что музыку, под которую она выделывает свои антраша, исполняют вовсе не труба, барабан и скрипка, а календарь и часы; сам наверняка увидел, что напоминает старую изношенную пушку, которой вдруг стало ясно, что она может произвести всего лишь один оглушительный выстрел, а потом неизбежно рассыплется в прах от своей же взрывной волны и отдачи; он осмотрелся вокруг, насколько достало сил, и увидел, что сын его исчез, пропал, стал для него теперь еще более недосягаемым, чем если бы находился на том свете, ибо теперь (если сын еще жив) он наверняка изменил свое имя, и называют его этим именем чужие люди, а та поросль зубов дракона с Сатпеновой кровью, какую сын его мог посеять в теле безвестной чужой женщины, будет продолжать традицию наследственной скверны и зла под другим именем и среди людей, которые никогда не слышали и не услышат его настоящего имени; что дочь, обреченная остаться старой девой, избрала этот удел еще прежде, чем появился некто по имени Чарльз Бон -- ведь тетка, приехавшая ее поддержать, не нашла следов ни беды, ни скорби, а всего лишь спокойное, совершенно непроницаемое лицо женщины в домотканом платье и широкополой шляпе, сперва перед закрытой дверью, а потом в клубах пыли среди стаи кур, когда Джонс сколачивал гроб; оно оставалось неизменным весь тот год, что тетка там прожила, когда они, три женщины, сами ткали и шили себе одежду, сами добывали пищу и сами рубили дрова, чтобы ее сварить (не считая помощи Джонса -- он с внучкой жил в заброшенной рыбачьей хижине с прохудившейся крышей и сгнившим крыльцом; к стене этой хижины два года будет прислонена ржавая коса, которую Сатпен одолжил, навязал Джонсу, чтобы тот скосил сорняки у входа, и в конце концов заставил его ею воспользоваться, хотя и не с целью скосить сорняки

или, во всяком случае, не сорняки, принадлежащие к растительному миру), не изменилось и после -того, как возмущение тетки унесло ее обратно в город, где единственным ее пропитанием станут краденые овощи и припасы из корзинок, которые неизвестные лица будут по ночам оставлять у нее на парадном крыльце; все три -- две дочери, негритянка и белая, и тетка за двенадцать миль от них, -- наблюдали, как старый демон, дряхлый, подагрический, отчаявшийся Фауст, уже чувствуя на своем плече руку Кредитора, ставит свою последнюю ставку и, чтоб заработать себе на хлеб, открывает маленькую деревенскую лавчонку, торгуясь за каждый грош со скаредными, нищими белыми и неграми; он, который в былые времена, не пересекая границ своих владений, мог проскакать десять миль в любую сторону, теперь с помощью своих скудных запасов дешевых лент и бус и залежалых ярко раскрашенных конфет, какими даже старик способен соблазнить пятнадцатилетнюю деревенскую девчонку, лишает невинности внучку своего компаньона Джонса -этого долговязого, замученного малярией белого, который четырнадцать лет назад с его разрешения поселился вместе с годовалой внучкой в заброшенной рыбачьей хижине; Джонса, компаньона, грузчика и приказчика, который по велению демона собственноручно снимал с прилавка (может, даже и доставлял по назначению) конфеты, ленты и бусы, отмерял тот самый ситец, из которого Джудит (она никого не оплакивала и ни по ком не носила траура) помогла его внучке сшить платье: в нем та будет щеголять под косыми взглядами болтунов, сплетников и бездельников, пока растущий живот не начнет внушать ей смущение, а может, даже и страх; Джонса, которому до 1861 года не разрешали даже близко подходить к парадным дверям и которого еще четыре года не подпускали дальше кухонного крыльца, да и то

лишь в тех случаях, когда он приносил дичь, рыбу и овощи, поддерживавшие жизнь жены и дочери будущего соблазнителя (а также Клити, единственной оставшейся служанки, негритянки, той, что не позволяла ему являться на кухню с его приношениями), но теперь он входил прямо в дом в те (теперь нередкие) дни, когда демон вдруг ни с того ни с сего с бранью разгонял покупателей, запирал лавку, удалялся в заднюю комнату и таким же тоном, каким прежде обращался к своему ординарцу или к домашней прислуге, пока она у него еще была (и каким он, без сомнения, приказывал Джонсу взять с прилавка ленты, конфеты и бусы), посылал Джонса за бутылью, и они оба (Джонс теперь даже сидел, а ведь в былые времена, в глухие унылые воскресенья давно отошедшего в прошлое мира, которые они проводили в виноградной беседке на заднем дворе, демон лежал в гамаке, а Джонс сидел на корточках, прислонившись к столбу, время от времени поднимался и подливал демону виски из бутыли и родниковую воду из ведра: он приносил ее с родника больше чем за милю от дома, -- потом снова садился на корточки, фыркал, крякал и всякий раз, как демон умолкал, вставлял: "Так точно, мистер Том"), они оба по очереди прикладывались к бутыли, и демон теперь не лежал и даже не сидел, а уже после второго или третьего глотка, охваченный бессильной старческой яростью, -- он никак не мог примириться с поражением, -- вскакивал и, шатаясь и спотыкаясь, требовал подать ему лошадь и пистолеты, чтобы ехать в Вашингтон и там собственноручно пристрелить сразу и Линкольна (правда, тут он примерно на год опоздал) и Шермана, выкрикивая: "Бей их! Пристрели, как собак!" "Так их, полковник, так их", -- отзывался Джонс; он подхватывал валившегося с ног Сатпена, останавливал первую попавшуюся повозку, привозил его домой, втаскивал на парадное крыльцо и, пройдя сквозь

некрашеную парадную дверь, увенчанную веерообразным окном, куда были вставлены стекла, выписанные в свое время из Европы (дверь открывала Джудит, причем ее спокойное, застывшее четыре года назад лицо ничуть не изменилось), вносил его по лестнице наверх, в спальню, укладывал в постель, как малого ребенка, а сам ложился на полу возле кровати, но не спал, потому что задолго до рассвета старик начинал ворочаться и стонать, и Джонс говорил ему: "Я здесь, полковник. Все в порядке. Они нас еще не побили, верно?" -- тот самый Джонс, который, когда Сатпен уехал со своим полком (внучке в то время было всего восемь лет), говорил соседям, что майор оставил его присматривать за домом и черномазыми, еще прежде, чем они успевали спросить, почему он не в армии, и, возможно, постепенно сам поверил в свою ложь, а когда демон возвратился, одним из первых его приветствовал, встретил у ворот со словами: "Ну что ж, полковник, они нас убили, но не побили, верно?", который в тот первоначальный период неистовства, когда демон думал, что одним лишь усилием своей неукротимой воли сможет восстановить утраченную, но не забытую Сатпенову Сотню, по повелению демона работал, трудился в поте лица своего, без всякой надежды на награду или плату, и задолго до того, как сам демон это увидел (или признал), понял, что задача эта безнадежна -- слепой Джонс, который, несомненно, все еще видел в этой свирепой и распутной старой развалине того представительного мужчину, что некогда верхом на чистокровном вороном жеребце скакал по своим владениям, настолько необъятным, что глаз ни с какой точки не мог охватить две их границы одновременно}.

-- Да, -- сказал Квентин.

{И вот настало то воскресное утро, и демон поднялся на рассвете и ускакал, и Джудит думала, что

знает почему: в то утро у вороного жеребца, на котором он уехал в Виргинию и вернулся обратно, родился сын от его жены, кобылы Пенелопы; однако демон встал в такую рань не ради этого приплода, и лишь через неделю удалось отыскать и изловить старую негритянку, повитуху, которая в то утро сидела на корточках возле разостланного на полу стеганого одеяла, между тем как Джонс сидел на крыльце, где уже два года стояла ржавая коса, и старуха рассказала, как услышала, что подъезжает лошадь, а потом демон с хлыстом в руке вошел, постоял над подстилкой, посмотрел на мать с ребенком и сказал: "Да, Милли, жаль, что ты не кобыла, как Пенелопа. Тогда я отвел бы тебе хорошее стойло на конюшне", повернулся и вышел вон, а старая негритянка, все еще сидя на корточках, услышала их голоса -- его и Джонса: "Отойди. Не смей меня трогать, Уош". "А я возьму да и посмею, полковник", потом она услышала, как щелкнул хлыст, но ни свиста воздуха, ни звона косы, ни удара слышно не было, ибо наказание всегда вызывает крик, но то, что вызывает последнее молчание, совершается в молчанье. В ту же ночь они в конце концов его нашли, отвезли на повозке домой -- неподвижный и окровавленный, он все еще скалил зубы из-под усов (его борода и усы были лишь чуть-чуть тронуты сединой, хотя волосы уже почти совсем побелели) -- и при свете сосновых веток и фонарей понесли наверх по ступеням парадного входа, где дочь с каменным лицом, без единой слезинки в глазах открыла дверь, чтобы пропустить того, кто когда-то любил галопом скакать в церковь; он поскакал туда галопом и на этот раз, да только до церкви он так и не добрался, ибо дочь решила отвезти его в город, в ту самую методистскую церковь, где он венчался с ее матерью, а уж потом предать земле в можжевеловой роще. Джудит теперь было тридцать лет, но выглядела она гораздо старше;

она постарела не так, как стареют слабые люди -- когда уже почти безжизненная плоть либо заключена в неподвижную, раздутую, как воздушный шар, оболочку, либо постепенно сжимается, причем отдельные ее частицы прикреплены не к какому-то железному, все еще несокрушимому остову, а друг к другу, словно живут какой-то обособленной, замкнутой общиной вроде колонии личинок -- а так, как постарел сам демон: когда в процессе мучительного затвердения тканей вновь выступает наружу изначальный несгибаемый костяк, который нежные тона и прозрачный ореол юности могли только временно смягчить, но никак не скрыть. Старая дева в бесформенном домотканом платье, чьи руки умели собирать куриные яйца и твердо держать плуг в борозде, взяла взаймы пару полудиких молодых мулов, впрягла их в повозку, и он, лежа в самодельном гробу в полной парадной форме, с саблей и в перчатках с вышитыми крагами, галопом поскакал в церковь, но далеко не уехал, так как молодые мулы понесли, повозка опрокинулась, и он вместе со своею саблей, плюмажем и прочими регалиями вывалился в придорожную канаву, откуда дочь его извлекла, отвезла обратно в рощу и сама свершила погребальный обряд. И на этот раз тоже не было ни слез, ни скорби по усопшем, быть может оттого, что ей некогда было соблюдать траур: теперь она сама торговала в лавке, покуда не нашелся на нее покупатель; лавку она не отпирала, а носила в кармане фартука ключи, и покупатели кликали ее с огорода или даже с поля, потому что теперь им с Клити пахать тоже приходилось самим -- ведь Джонса теперь тоже не было. Не прошло и двенадцати часов, как он в то самое воскресенье отправился вслед за демоном (и, возможно, туда же, куда и тот; возможно, для них там имеется даже и виноградная беседка и они не знают нужды ни в хлебе

насущном, ни в честолюбии, ни в блуде и мести; а возможно, им не нужно даже и выпивать, только порой они нет-нет да и соскучатся по выпивке, хотя и сами не поймут, чего это им недостает и не слишком часто; там будет тихо, уютно, не будет ни времени, ни непогоды; лишь изредка набежит какая-то тень, повеет легким ветерком, и тогда демон перестанет говорить, а Джонс перестанет гоготать, они посмотрят друг на друга недоуменно, пристально и строго, и демон скажет: "Что это было, Уош? Что-то случилось? Что это было?" -- а Джонс в свою очередь посмотрит на демона недоуменно и спокойно ответит: "Не знаю, полковник. А что?" -- и они еще долго будут вглядываться друг в друга. Потом тень рассеется, ветерок утихнет, и Джонс наконец скажет -- невозмутимо и даже без всякого торжества: "Может, они нас убили, но они нас еще не побили, верно?"). Ее кликали женщины и дети с корзинами и ведрами, и тогда либо она, либо Клити шла в лавку, отпирала ее, обслуживала покупателя, снова запирала и возвращалась обратно, пока наконец не продала лавку и не истратила деньги на могильный камень}.

("Как это было? -- спросил Шрив. -- Ты мне рассказывал; как это было? вы с отцом охотились на перепелов, день был пасмурный, всю ночь шел дождь, и лошади не могли перейти через канаву, и тогда вы с отцом спешились и отдали поводья этому, как его звали? этого черномазого на муле? Ластер. Отдали поводья Ластеру, чтобы он объехал канаву"), и когда они с отцом перебрались через канаву, снова пошел дождь -- серый, неторопливый, густой и беззвучный -и Квентин не сразу понял, куда они заехали, потому что, когда начало моросить, он опустил голову, а потом, подняв глаза, увидел, что впереди простирается склон, поросший мокрой желтой осокой -- окутанная пеленою дождя, она переливалась как жидкое золото, -- а на

гребне холма растет роща, небольшая купа виргинских можжевельников; деревья расплывались под дождем, словно были нарисованы на мокрой промокашке, а за можжевельниками, за одичавшими полями, где-то за всем этим должна быть дубовая роща, и в ней огромный серый полуразвалившийся брошенный дом -- до него оставалось еще с полмили. Мистер Компсон остановился и через плечо взглянул на Ластера -- тот сидел верхом на муле, обернув голову мешком, который прежде заменял ему седло, и, подтянув к груди колени, вел лошадей вдоль канавы в поисках места, где бы ее перейти.

-- Давай-ка лучше спрячемся от дождя, -- сказал мистер Компсон. -- Он все равно ближе чем на сто ярдов к этим можжевельникам не подойдет.

Они двинулись вверх по склону. Обе собаки совсем скрылись из виду, и только по качающейся траве можно было понять, где они рыскают, пока наконец одна из них не подняла голову и не оглянулась. Мистер Компсон показал рукой на деревья, и они с Квентином пошли за собаками. Под деревьями было сумрачно; свет казался темно-серым; легкие жемчужные капли дождя ложились на стволы ружей и на пять надгробий, словно еще не застывший воск, пролитый на мрамор с погасших свечей; две гладкие тяжелые закругленные плиты стояли прямо, три другие немного покосились; слабый свет, который дождевые капли частицу за частицей приносили и роняли во мглу, порой ненадолго выхватывал из мрака то отдельную букву, а то и целое высеченное в камне слово; вскоре появились обе собаки; они вплыли в рощу, словно дым, их мокрые шкуры прилипли к телу, и, чтобы было теплее, они свились в один сплошной, безнадежно запутанный клубок. Обе плоские плиты под собственной тяжестью треснули посередине (и в яму, куда рухнула кирпичная кладка одного склепа, вела еле заметная узкая

тропинка, протоптанная каким-то мелким зверьком, скорее всего опоссумом или, вернее, несколькими поколениями этих зверьков, потому что в могиле уже давно не осталось ничего съедобного), но надписи еще можно было разобрать: {Эллен Колдфилд Сатпен. Родилась 9 октября 1817 года. Умерла 23 января 1863 года, и другая: Томас Сатпен, полковник, 23-й Миссисипский пехотный полк, К. А. Ш. Умер 12 августа 1869 года}; эта дата, грубо вырубленная зубилом, была добавлена позднее -- даже и после смерти он не открыл, где и когда родился. Квентин спокойно смотрел на камни и думал: {Не любимая жена такого-то. Нет. Просто Эллен Колдфилд Сатпен}.

-- Я б никогда не подумал, что в 1869 году у них могли быть деньги на мрамор, -- сказал он.

-- Он покупал их сам, -- сказал мистер Компсон, -- Он купил эти два камня, когда его полк находился в Виргинии и Джудит известила его о смерти матери. Он заказал их в Италии -- самые лучшие, самые дорогие, какие только можно было достать, причем на памятнике жены надпись была полная, а на своем он велел оставить место для даты; и все это он делал, находясь в действующей армии, в которой не только была такая высокая смертность, какой не бывало нигде ни прежде, ни после, но и обычай ежегодно переизбирать полковых офицеров (по этой системе он в тот момент имел право именовать себя полковником -- как раз прошлым летом его выбрали, а полковника Сарториса забаллотировали), и потому он совершенно не мог быть уверен, что до тех пор, пока заказ не будет выполнен или хотя бы получен, он не угодит на тот свет, а его могила будет отмечена (если ее вообще как-либо отметят) воткнутым в землю ломаным ружьем, а если он даже и уцелеет, то вполне может стать младшим лейтенантом, а то и просто рядовым -- разумеется, если у его солдат достанет храбрости

сместить его с должности, -- и тем не менее он не только заказал эти камни и ухитрился за них заплатить, но, что еще удивительнее, ухитрился доставить их на побережье, зажатое в тисках такой жестокой блокады, что даже прорывавшие ее контрабандисты не хотели брать на борт своих кораблей ничего, кроме боеприпасов...

Квентину казалось, будто он их видит: голодные, раздетые и разутые солдаты -- изможденные, почерневшие от пороха лица, глаза горят неукротимой яростью непораженья, -- оглянувшись назад через едва прикрытые лохмотьями плечи, смотрят на темный недоступный океан, по волнам которого, погасив огни, несется одинокий мрачный корабль; в трюме его вместо двух тысяч фунтов драгоценных пуль или хотя бы съестных припасов мертвым грузом лежат две спесивые, неповоротливые, высеченные из камня тысячефунтовые глыбы; на весь ближайший год зачисленные в состав полка, они поедут за ним в Пенсильванию, побывают при Геттисберге, следуя за полком в фургоне, чей кучер, демонов слуга, провезет их через горные проходы, через болота и равнины, в фургоне, который полку приказано не обгонять; оголодавшие изможденные люди и изможденные тощие лошади, пробираясь по колено в ледяной грязи и в снегу, обливаясь потом и изрыгая проклятья, поволокут его через топи и трясины, словно артиллерийское орудие; они будут называть эти камни "Полковник" и "Полковница"; фургон пройдет через Камберлендский перевал, спустится с Теннессийских гор; он будет двигаться по ночам, обходя патрули янки, и поздней осенью 1864 года въедет в Миссисипи, где демона ожидает дочь, на свадьбу которой он наложил запрет и которая следующим летом станет вдовой, хотя не будет никого оплакивать; где умерла его жена, а сын сам себя предал анафеме и изгнал; демон поставит один камень

на могилу жены, а другой прислонит к стене прихожей, и там на него, по всей вероятности (а может, и несомненно), каждый день смотрела мисс Колдфилд, словно это был его портрет; по всей вероятности (может, и в этом случае несомненно), она извлекла из этой надписи гораздо больше девических надежд и ожиданий, чем поведала о том Квентину -- ведь она вообще ни разу ему об этом камне не заикнулась, а он (демон) напился кофе из поджаренной кукурузы, съел кукурузную лепешку, которую испекли ему Джудит и Клити, поцеловал в лоб Джудит, сказал: "Пока, Клити", и снова уехал на войну -- и все за одни-единственные сутки; Квентин все это видел; казалось, он и сам при этом был. Потом он подумал {Нет. Если б я там был, я бы не мог так ясно все увидеть}.

-- Да, но это не объясняет, откуда взялись остальные три, -- сказал он. -Они ведь тоже, наверное, стоили немалых денег.

-- Кто мог за них заплатить? -- отозвался мистер Компсон. Квентин чувствовал, что отец на него смотрит. -- Подумай.

Квентин взглянул на три одинаковых надгробья с надписями, выведенными одинаковыми буквами; они слегка покосились в мягком суглинке, густо усыпанном гниющими иглами можжевельников; пристально вглядевшись в первый, он разобрал: Чарльз Бон. Родился в Новом Орлеане, Луизиана. Умер в Сатпеновой Сотне, Миссисипи, 3 мая 1865 года 33 лет и 5 месяцев от роду. Он чувствовал, что отец за ним наблюдает.

-- Это она заплатила, -- сказал он. -- Деньгами, вырученными от продажи лавки.

-- Да, -- подтвердил мистер Компсон. Чтобы прочесть следующую надпись, Квентину пришлось нагнуться и разгрести можжевеловые иглы. При этом одна из собак встала, подошла к нему и вытянула шею, чтобы узнать, на что он смотрит, -- совсем как человек, словно от

общения с двуногими приобрела любопытство, свойственное лишь людям и обезьянам.

-- Убирайся, -- сказал он, отталкивая одной рукой собаку, а другой сметая иглы с высеченных в камне еле заметных слов: Чарльз Этъен Сент-Валери Бон. 1859--1884; все время чувствуя, что отец за ним наблюдает, он поднялся и заметил, что на третьем камне стоит та же дата: 1884. -- Этот она уже не могла купить на деньги, вырученные от продажи лавки. Ведь лавку она продала в 1870 году, и кроме того, на ее камне тоже стоит 1884 год, -- продолжал он, думая, как ей, наверное, стало бы страшно, если б она захотела написать на первом камне {Любимый муж}.

-- Верно, -- отозвался мистер Компсон. -- Об этом камне позаботился твой дед. Джудит однажды приехала в город и привезла ему деньги, часть денег; откуда она их взяла, он так никогда и не узнал; возможно, они остались от лавки, которую он по ее поручению продал; привезла деньги и надпись, составленную в тех самых выражениях, которые ты тут видишь (разумеется, кроме даты смерти); это было как раз в то время, когда Клити на три недели уезжала в Новый Орлеан разыскивать мальчика, чтобы привезти его сюда, хотя твой дед, разумеется, ничего об этом не знал; привезла ему деньги и надпись -- не для себя, а для него.

-- Вот как, -- сказал Квентин.

-- Да. Удивительную жизнь ведут они -- женщины. Жизнь не только оторванную от действительности, но и совершенно ей чуждую. Поэтому хотя смерть, самый момент кончины, ровно ничего для них не значит, ибо перед лицом боли и уничтожения они выказывают такую стойкость и силу духа, рядом с которой самый суровый спартанец-мужчина выглядит плаксивым мальчишкой, однако же похороны и могилы, это жалкое утверждение мнимого бессмертия над местом их

вечного покоя, приобретают для них неизмеримую важность. Одной из твоих теток (ты ее не помнишь, да я и сам никогда ее не видел, а только слышал эту историю) предстояла серьезная операция, которую она боялась не пережить, а в то время ближайшей ее родственницей была женщина, с кем она уже много лет находилась в состоянии жестокой и (для мужского ума) непостижимой дружбы-вражды, какая бывает между кровными родственницами, и единственной ее предсмертной заботой было избавиться от одного коричневого платья, о котором той родственнице было известно, что она терпеть его не может, и потому его следовало сжечь -- не подарить кому-нибудь, а именно сжечь -- на заднем дворе под окном ее комнаты, чтобы она, приподнявшись на постели (что доставляло ей невыносимые страданья), могла собственными глазами увидеть, как оно горит, а иначе она не сомневалась, что родственница, естественная ее душеприказчица, непременно ее в этом платье похоронит.

-- И она умерла? -- спросил Квентин.

-- Нет. Не успел огонь поглотить платье, как ей стадо лучше. Она перенесла операцию, поправилась и на несколько лет пережила ту родственницу. Потом, в один прекрасный день, она мирно скончалась неизвестно отчего и была похоронена в своем подвенечном наряде.

-- Интересно, -- сказал Квентин.

-- Да. Но однажды летом 1870 года одну из этих могил (их тогда было всего лишь три) и в самом деле залили слезами. Твой дедушка сам это видел; это было в том году, когда Джудит продала лавку; твой дедушка, которому она поручила вести ее дела, поехал с ней по этому поводу переговорить и стал свидетелем этого живописного драматического представления ритуального вдовьего плача. Тогда он еще не знал, как окторонка сюда попала, откуда Джудит вообще про нее

узнала, чтобы написать ей, где похоронен Бон. Однако она была здесь, с одиннадцатилетним мальчиком, которому едва ли кто-нибудь дал бы больше восьми. Все это, вероятно, напоминало сцену в саду этого ирландского поэта, Уайльда -- вечер, темные можжевельники в низких лучах заходящего солнца -- даже освещение точь-в-точь такое, как нужно, и могилы, три мраморных надгробья (твой дедушка ссудил Джудит деньгами для покупки третьего камня под сумму, которую даст продажа лавки), выглядели так, словно их почистили, отполировали и расставили по местам рабочие сцены, которые с наступлением темноты возвратятся, поднимут этот пустотелый, хрупкий, невесомый реквизит и унесут его обратно на склад, где он будет лежать, покуда не понадобится снова; это пышное зрелище, этот спектакль -- на сцену выходит женщина с лицом магнолии, теперь чуть-чуть располневшая, женщина, созданная тьмою и для тьмы, одетая по рисунку, который мог бы создать Бердслей, в ниспадающем мягкими складками одеянье, долженствующем не столько внушить мысль о тяжкой утрате и вдовстве, сколько символизировать роковую страсть и неутолимые вожделения ненасытной плоти; она идет под кружевным зонтиком в сопровождении огромной бойкой негритянки, которая несет шелковую подушку и ведет за руку мальчика, какого Бердслей мог бы не только одеть, но и нарисовать: тоненький, хрупкий ребенок с гладким, лишенным признаков пола лицом цвета слоновой кости; когда его мать отдала негритянке зонтик, взяла подушку, преклонила колени у могилы, оправила свои юбки и залилась слезами, мальчик, вцепившись в фартук негритянки, молча стоял рядом и щурился: родившись и прожив всю жизнь в некоей шелковой темнице, освещенной вечно затененными свечами, дыша вместо воздуха молочно-белым, физически осязаемым сияньем, что излучала его

мать, он почти никогда не видел солнечного света, не бывал на воле, не видел трав, деревьев и земли; а позади шла еще одна женщина, Джудит ({она никого не потеряла и потому не нуждалась в трауре} подумал Квентин {Да, мне пришлось слушать слишком долго} сказал он про себя); она остановилась под можжевельниками в своем бесформенном выцветшем ситцевом платье и в такой же шляпке -- спокойное лицо, руки, умевшие пахать, рубить дрова, ткать одежду и стряпать, сложены на груди -- и стояла в позе равнодушной служительницы музея, стояла и ждала, наверное, даже не глядя. Потом негритянка подошла к октороике, протянула ей хрустальный флакончик с нюхательной солью, помогла ей встать, подняла с земли шелковую подушку, вручила октороике зонтик, и все двинулись обратно -- мальчик все еще цеплялся за фартук негритянки, негритянка поддерживала под руку женщину, а Джудит с лицом, напоминавшим мрамор или маску, замыкала шествие; они миновали высокий облупившийся портик и вошли в дом, где Клити варила яйца и пекла кукурузные лепешки, которыми они с Джудит кормились.

Она прожила у них неделю. Остаток недели она провела в единственной комнате, где еще оставалась кровать с полотняными простынями, провела его лежа в постели, в новых кружевных, шелковых и атласных пеньюарах мягких розовато-лиловых и сиреневых тонов, приличествующих трауру, в душной закупоренной комнате с закрытыми провисавшими ставнями, пропитанной тяжелым неуловимым запахом ее тела, ее одежды, смоченного одеколоном платочка на лбу и хрустального флакончика; негритянка, сидя у постели, то давала ей нюхать этот флакончик, то обмахивала ее веером, в промежутках подходя к дверям, чтобы принять из рук Клити подносы, которые та приносила из кухни по приказу Джудит; Клити таскала их по

лестнице вверх и вниз, хотя наверняка догадалась, даже если Джудит ей и не сказала, что та, кому она прислуживает, тоже негритянка, и тем не менее прислуживала этой негритянке с таким же усердием, с каким, время от времени выходя из кухни, разыскивала по всем комнатам нижнего этажа одинокого чужого мальчика, спокойно сидевшего на прямом жестком стуле в полутемной сумрачной библиотеке или гостиной, мальчика, наделенного четырьмя именами и одной шестнадцатой долей негритянской крови, одетого в .дорогие изысканные наряды, словно маленький лорд Фаунтлерой, -- скованный необоримым ужасом, он смотрел на светло-коричневую женщину, которая подходила босиком к двери, вперяла в него угрюмый взор и приносила ему не печенье, а самые что ни на есть грубые кукурузные лепешки, намазанные столь же грубой патокой (да и те тайком -- не потому, что мать или дуэнья возражали, нет, просто еды в доме хватало лишь на завтрак, обед и ужин); она давала ему эти лепешки, с трудом сдерживая ярость, совала их ему в руки, а однажды, застигнув его на дороге за воротами, где он играл с негритенком примерно одного с ним роста, она, не повышая голоса, жестоко изругала негритенка, а ему приказала вернуться в дом таким тоном, который казался еще холодней и страшнее оттого, что в нем не было ни тени злости или гнева.

Да, Клити, которая безучастно стояла возле фургона в тот последний день, когда, торжественно посетив во второй раз могилу с шелковой подушкой, зонтиком и нюхательной солью, мать, ребенок и дуэнья отбыли в Новый Орлеан. И твой дед так никогда и не узнал, сама ли Клити следила, сторожила, каким-то образом держала с кем-то связь в ожидании дня, часа, когда мальчик осиротеет, после чего сама за ним отправилась, или же следила и ждала Джудит, и той зимою, в декабре 1871 года, послала за мальчиком

Клити -Клити, которая за всю свою жизнь никогда не уезжала из Сатпеновой Сотни дальше, чем в Джефферсон, и тем не менее одна совершила это путешествие в Новый Орлеан и привезла оттуда мальчика -- ему теперь было двенадцать лет, но выглядел он десятилетним; костюмчик маленького лорда Фаунтлероя был ему теперь мал, но поверх него была напялена новая, не по росту огромная парусиновая роба, которую ему купила Клити (и заставила его эту робу носить -- от холода или просто так, дедушка тоже сказать затруднялся), а узелок с его пожитками был завернут в пестрый носовой платок -- этот мальчик, который не знал ни слова по-английски, так же как женщина, которая нашла, выследила его во французском городе и увезла оттуда, не знала ни слова по-французски; этот мальчик с лицом не то чтобы старообразным, а просто лишенным возраста, словно у него не было детства, но не в том смысле, как, по ее же собственным словам, не было детства у мисс Розы Колдфилд, а словно он родился не как все люди, а появился на свет без участия мужчины, без родовых мук женщины и стал сиротою, хотя не лишился ни отца, ни матери. По словам твоего дедушки, никто не спрашивал, даже не задумывался о том, что сталось с его матерью: умерла ли она, сбежала ли с любовником или вышла замуж; она не переходила из одного состояния -- прелюбодеяния или смерти -- в другое, унося с собой копившийся годами мусор, который мы называем памятью, и свое неповторимое Я, а изменялась постепенно, от фазы к фазе, как меняется бабочка, сбросив кокон -она не переносит ничего, что было, в то, что есть, не оставляет позади ничего сущего, а целиком, нетронутая и покорная, принимает свое следующее обличье и, подобно тому, как распустившаяся роза или магнолия одного роскошного июня увядает и возрождается в другом, не оставляет

нигде между землей и солнцем ни костей, ни чего-либо вещественного, ни малейшей частички праха от былых поражений, от их бездушной роскоши. Мальчик появился в этом перенасыщенном ароматами, закупоренном шелковом лабиринте готовым и законченным, не подверженным воздействию никаких микробов, словно изящный порочный дух-символ, словно бессмертный паж бессмертной праматери Ли-лит; он явился в этот мир в возрасте не одной секунды, а двенадцати лет, когда изысканный наряд пажа был уже наполовину спрятан под бесформенной дерюгой, какие шьют по железному шаблону и продают миллионами штук, -- под этой бурлескной униформой и в регалиях трагического бурлеска сынов Хама; его, этого молчаливого хрупкого ребенка, который не умел даже говорить по-английски, неожиданно подобрала среди развалин единственно знакомой ему жизни, рухнувшей в какой-то неведомой катастрофе, женщина, которую он однажды видел и с тех пор смертельно боялся, но от которой не мог убежать, подобрала и держала, беспомощного и бессильного, в состоянии, очевидно, представлявшем собою некую невероятную смесь ужаса и доверия -- ведь он даже не мог с ней разговаривать (они провели, должны были провести целую неделю на нижней палубе парохода среди тюков хлопка, где ели и спали с неграми, и он даже не мог сказать своей спутнице, что он голоден или хочет в уборную), и потому мог только подозревать, догадываться, куда она его везет, мог знать наверное только то, что вся знакомая ему прежде жизнь исчезла, улетучилась, рассеялась как дым. Однако он не сопротивлялся; он покорно и кротко вернулся в полуразвалившийся дом, который уже когда-то видел, где свирепая угрюмая женщина, которая нашла и привезла его сюда, жила вместе с другой, спокойной белой женщиной, даже не свирепой, а лишь спокойной

и больше никакой, которая для него еще даже не имела имени, но почему-то была связана с ним так тесно, что именно ей принадлежало то единственное место на земле, где он в первый и последний раз в жизни видел, как плакала его мать. Он переступил этот чужой порог, этот рубеж, откуда не было пути назад; суровое неумолимое существо не привело, не притащило, а, как теленка, пригнало его в этот убогий опустелый дом, где даже оставшиеся у него шелковые наряды, тонкие сорочки, чулки и туфли, все еще напоминавшие ему, кем он некогда был, слетели, исчезли с его тела, с его рук и ног, словно химеры, сотканные дымом... Да, он спал на низенькой передвижной кроватке возле кровати Джудит, женщины, которая смотрела на него и обращалась с ним с неизменной холодною и отчужденной лаской, что обескураживала его гораздо сильнее, чем неустанная свирепая и жесткая опека негритянки, с каким-то упорным нарочитым смирением спавшей на соломе на полу; лежа между ними без сна, погруженный в бездну бессильного и безнадежного отчаянья, мальчик ощущал все это -- присутствие лежавшей на кровати женщины, чьи взгляды и поступки, чьи умелые руки, стоило им только прикоснуться к нему, тотчас теряли все свое тепло и, казалось, насыщались холодной и беспощадной неприязнью, и женщины на соломенном тюфяке -- он уже привык смотреть на нее так, как маленький, слабый, лишенный клыков и когтей звереныш, который, скорчившись в клетке, отчаянно и тщетно силится притвориться кровожадным, мог бы смотреть на кормящего его человека (тут твой дедушка привел цитату: "Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им", и добавил: интересно, что господь бог хотел этим сказать? Если он хотел сказать, что детям приходится просить разрешения приблизиться к нему, то что же за землю он тогда создал? А если дети

должны страдать, чтобы приблизиться к нему, то что же тогда у него за небеса?) -- женщина, которая его кормила, совала ему куски, как он сам видел, лучшие из всего, что у них было, пищу, как он отлично знал, приготовленную только для него ценою сознательных жертв, совала со странной смесью жалости и злобы, ненависти и горькой тоски -- она его одевала, умывала, заталкивала его в лохань с водой, то слишком горячей, то слишком холодной, что он, однако, терпел, не смея возражать; сдерживая ярость, она изо всех сил терла его мылом и жесткой мочалкой, словно хотела смыть с его гладкой кожи еле заметную окраску -- так ребенок порою все еще трет стену, хотя от нацарапанного на ней мелом обидного бранного слова давно уж не осталось и следа; лежа без сна в темноте между ними, он чувствовал, что и они не спят, чувствовал, что они думают о нем, о его будущем, и в оглушительной тишине его одиночества и отчаяния эти их мысли звучат громче всяких слов: {Ты не лежишь со мною в кровати, где тебе следовало бы лежать; хоть не твоя в том вина и воля; ты не лежишь со мной на полу, где ты должен и будешь лежать; хоть не твоя в том вина и воля, и не наша вина и воля, что мы не хотим того, чего не можем}.

Твой дедушка не знал также, которая из них сказала ему, что он негр и должен быть негром. Он, разумеется, не мог еще ни слышать, ни понимать значения термина "нигер, черномазый", ибо на его родном языке такого слова вообще не существовало, ибо он родился и вырос в обитой шелком непроницаемой камере -- она могла бы с успехом висеть на тросе в океане на глубине в шесть тысяч футов, -- где цвет кожи с точки зрения морали имел не больше значения, чем обтянутые шелком стены, благовония и розовые абажуры над свечами, где даже абстрактные понятия, с которыми ему приходилось сталкиваться

-единобрачие, верность, благопристойность, привязанность и нежность, были такими же чисто физиологическими отправлениями, как процесс пищеварения. Твой дедушка не знал, то ли его в конце концов попросили уйти с низенькой кроватки, то ли он оставил ее по собственной воле и желанию; притерпелся ли он постепенно к своему одиночеству и горю настолько, что сам ушел из спальни Джудит, или его отослали спать в прихожую (куда перенесла свой соломенный тюфяк и Клити), хотя и не на полу, как она, а на складной койке, все-таки приподнятой над полом и, быть может, вовсе не по приказанию Джудит, а лишь из-за яростного непреклонного нарочитого смирения негритянки. А потом койку перенесли в мансарду, где в углу за прибитой гвоздями занавеской, которую он смастерил из обрывка старого ковра, висела его убогая одежонка -- остатки костюма из шелка и тонкого сукна, в котором он приехал, грубые штаны и домотканые рубахи, которые обе женщины ему покупали и шили, -- он принимал их молча, без единого слова благодарности, точно так же, как принял комнатушку на чердаке; он не просил и, насколько им было известно, не делал никаких изменений в ее спартанском убранстве; лишь через два года, когда ему исполнилось четырнадцать, одна из них -- то ли Клити, то ли Джудит -- нашла у него под тюфяком осколок зеркала; и кто знает, сколько часов провел он перед этим зеркалом, без слез, в недоуменье и отчаянье рассматривая свое отражение в лохмотьях щегольского костюма, из которого он давно вырос и едва ли даже помнил, как прежде в нем выглядел, рассматривая спокойно, недоверчиво и удивленно. А Клити спала внизу, в прихожей, загородив все подступы к лестнице на чердак; она, как испанская дуэнья, неукоснительно следила, чтобы он не мог ни выйти, ни сбежать; она учила его рубить дрова, сажать на огороде овощи и

пахать, но это позже, когда он набрался силы. Или скорее выносливости, потому что он так навсегда и остался деликатного, даже хрупкого сложения; этот хрупкий мальчик с женскими руками неустанно воевал со своим неразлучным спутником и товарищем по несчастью, безымянным представителем строптивого племени мулов, этих бесплодных трагических шутов, как и он сам отмеченных проклятьем предков, от века тяготеющим над всеми существами смешанной крови; шаг за шагом приобретая сноровку, связанные воедино грубо сработанным из дерева и железа символом мужского плодородия, они добывали из распростертой перед ними тучной самки-земли кукурузу, которой оба кормились. А Клити его сторожила, с яростной, угрюмой, неослабной, ревнивой заботой ни на минуту не спуская с него глаз, и чуть только кто-нибудь -- все равно, негр или белый -- задерживался на дороге, словно ожидая, когда мальчик, проведя борозду, остановится и простоит достаточно долго, чтобы с ним можно было заговорить, тотчас торопливо отсылала его прочь одним-единственным тихим словом, а то и просто жестом, однако во сто крат более свирепым, чем негромкая брань, которой она прогоняла прохожего. Поэтому он (твой дедушка) был уверен, что ни одна из женщин не была повинна в том, что он начал водиться с неграми. Ведь Клити сторожила его, словно испанскую девственницу; ведь даже еще не подозревая, что он когда-нибудь может у них поселиться, она прервала его первую встречу с каким-то черномазым и отправила его обратно в дом; а что касается Джудит, то она могла в любое время запретить ему спать в своей комнате на детской кроватке, на какой спят белые мальчики, а если б она даже не могла допустить, чтоб он спал на полу, сумела бы заставить Клити уложить его с собой в другую кровать; она могла бы сделать из него монаха, давшего обет безбрачия, хотя, пожалуй, и не евнуха;

она, быть может, не позволила бы ему выдавать себя за иностранца, но, уж конечно, не стала бы принуждать его якшаться с неграми. Твой дедушка ничего этого не знал, хоть он и знал больше, чем знали в городе и в окрестностях, а именно что там живет какой-то странный мальчик, который, по всей видимости, впервые вышел из дома в возрасте двенадцати лет и чье присутствие для города и округи вовсе не казалось непонятным -- они теперь были убеждены, что знают, почему Генри застрелил Бона. Они только не могли понять, где и как Джудит и Клити ухитрялись все это время его прятать; они теперь были убеждены, что Бона хоронила именно его вдова, хотя у ней и не было на то никакой бумаги; и лишь твой дедушка в недоумении (и ужасе) строил догадки (хотя у него в сейфе к тому времени уже лежали сто долларов и написанное рукою Джудит распоряжение об этом четвертом надгробье, он все еще никак не связывал этого мальчика с тем, которого видел двумя годами раньше, когда окторонка приезжала плакать на могиле), уж не сын ли это Клити, прижитый его отцом от собственной дочери. Мальчик, которого всегда видели около дома, причем неподалеку всегда была Клити; потом подросток, который учился пахать, и Клити снова была где-нибудь неподалеку; и скоро всем стало известно, с какой суровой и неослабной бдительностью она обнаруживала и пресекала любую попытку с ним заговорить, и только твой дедушка в конце концов догадался, что этот подросток и есть тот самый мальчик, который тремя или четырьмя годами раньше приезжал на могилу.

К дедушке в контору и явилась Джудит пять лет спустя, и он никак не мог вспомнить, когда в последний раз видел ее в Джефферсоне; она, теперь сорокалетняя женщина в том же бесформенном ситцевом платье и выгоревшей шляпе, упорно отказывалась сесть и, несмотря на непроницаемую маску, заменявшую ей

лицо, не могла скрыть страшное волнение и требовала, чтобы он тотчас же пошел с нею в суд, а в чем дело, она расскажет по дороге; и когда они вошли в битном набитую народом комнату, где заседал уголовный суд, твой дедушка увидел его, этого мальчика (только теперь это был мужчина), прикованного наручниками к полицейскому -- другая его рука висела на повязке, а голова была забинтована, потому что его сначала отвели к врачу; и твой дедушка постепенно понял, что произошло, полностью или хотя бы частично, потому что сам судья не так уж много мог извлечь из показаний свидетелей -тех, что убежали и позвали шерифа, и тех (кроме одного, которого он так изувечил, что тот не мог даже явиться в суд), с кем он дрался. Это случилось на негритянской вечеринке, в хижине за несколько миль от Сатпеновой Сотни; он там присутствовал, и твой дедушка так никогда и не узнал, часто ли он туда ходил, пришел ли он туда потанцевать или поиграть в кости на кухне, где и началась драка -- эту драку, по словам свидетелей, затеял именно он, а вовсе не негры, и притом без всякого повода, и даже не потому, что кто-то жульничал, а просто так, ни с того ни с сего. Он ничего не отрицал, ничего не подтверждал, он попросту отказывался говорить; бледный и угрюмый, он сидел в судебной камере и молчал, и в итоге вся истина, все свидетельские показания потонули в беспорядочном клубке негритянских голов, тел и черных рук, хвативших поленья, сковородки и бритвы, а центр всего этого являл собою белый человек, который неумело, неуклюже, но весьма решительно и с неожиданной для его хрупкого сложения силой -- она объяснялась, очевидно, только отчаянным упорством и полным равнодушием к последствиям -- размахивал во все стороны невесть откуда взявшимся ножом, казалось, совершенно не замечая ответных ударов и колотушек. Для этого не было ни причин, ни оснований; никто так

никогда и не узнал, что же в конце концов произошло; из ругани и криков невозможно было понять, что заставило его ввязаться в драку, и только твой дедушка как будто начал смутно осознавать, догадываться, что это был яростный протест, бунт против предначертания свыше, вызов, брошенный в лицо действительности с таким яростным и отчаянным безрассудством, какое мог бы выказать сам демон, словно оно передалось этому мальчику, а потом юноше от стен, в которых демон жил, от воздуха, которым он дышал до той минуты, когда его собственная судьба, которой он в свою очередь тоже бросил вызов, нанесла ему ответный удар; и один лишь твой дедушка ощутил этот протест -- судья и все остальные попросту его не узнали, не узнали этого хрупкого человека с перевязанной рукой и головой, с бесстрастным, угрюмым (а теперь еще и бескровным) оливковым лицом, который отказался отвечать на вопросы и не сделал никакого заявления, так что когда твой дедушка вошел, судья (эту должность исполнял в то время Джим Хэмблет) уже начал обвинительную речь, воспользовавшись случаем блеснуть своим красноречием перед собравшимися; глаза его уже остекленели и утратили способность что-либо видеть, как это бывает с людьми, которые любят слушать свои собственные публичные выступления: "В настоящий момент, когда наша страна стремится поднять голову из-под железной пяты угнетателя и тирана; когда будущее Юга -- если мы хотим сделать его местом, где ваши женщины и дети смогут вести достойную жизнь, -- зависит от трудов наших рук; когда орудия, которые мы должны использовать, это гордость, мужество и стойкость черных, равно как гордость, мужество и стойкость белых; и в этот самый момент вы, белый, да, повторяю, белый..." -- а твой дедушка пытается подойти, остановить его, пытается пробиться сквозь толпу, повторяя: "Джим. Джим. {Джим!}", но слишком

поздно, и тут как будто собственный голос Хэмблета в конце концов его разбудил или кто-то щелкнул его по носу, но только он смотрит на задержанного, опять говорит: "белый", но голос его замирает, как будто приказ замолчать произвел короткое замыкание, и все лица повернулись к задержанному, услышав, как Хэмблет воскликнул: "{Кто вы такой? Кто вы и откуда сюда пришли?}"

Твой дедушка его вызволил, замял дело, уплатил штраф, привел его к себе в контору, и пока Джудит ждала в приемной, попытался с ним поговорить. "Вы сын Чарльза Бона", -- сказал он. "Не знаю", -- хрипло и угрюмо отвечал тот. "Вы не помните?" -- спросил твой дедушка. Он ничего не ответил. Тогда твой дедушка сказал, что он должен уехать, исчезнуть, и дал ему денег. "Кем бы вы ни были, когда вы окажетесь среди чужих людей, которые вас не знают, вы сможете стать кем захотите. Я об этом позабочусь, я поговорю с... Как вы ее зовете?" Он зашел слишком далеко, но останавливаться было уже поздно; он сидел и смотрел на это спокойное лицо -- как и лицо Джудит, оно не выражало ровно ничего, ни надежды, ни боли, оно было просто непроницаемым и угрюмым; опустив глаза, тот смотрел на свои мозолистые женские руки с ломаными ногтями, в которых держал деньги, меж тем как твой дедушка думал о том, что не может сказать: "Мисс Джудит", ибо это только лишний раз подчеркнуло бы его происхождение. Потом он подумал {Я даже не знаю, хочет он это скрывать или нет}. И потому он сказал: "Мисс Сатпен". "Я скажу мисс Сатпен -разумеется, не куда вы поедете, ибо этого я и сам не буду знать. Я просто скажу ей, что вы уехали, что мне об этом известно и что у вас все в порядке".

И он уехал, а твой дедушка отправился в Сатпенову Сотню известить Джудит, и Клити вышла к дверям, окинула его долгим пристальным взором и, не сказав ни

слова, пошла звать Джудит, а твой дедушка остался ждать ее в этой полутемной, мрачной, как склеп, гостиной, понимая, что ему не придется ничего говорить ни той, ни другой. И действительно не пришлось. Вскоре появилась Джудит; остановившись в дверях, она посмотрела на него и проговорила: "Я полагаю, вы не хотите мне ничего сказать". -- "Не то что не хочу, а просто не могу, -- ответил твой дедушка. -- Но не из-за того, что я ему обещал. У него есть деньги, и ему..." --- тут он умолк, и тогда между ними, невидимый, возник тот несчастный маленький мальчик, который восемь лет назад приехал сюда в парусиновой робе, натянутой поверх лохмотьев шелка и тонкого сукна; мальчик, который превратился в подростка, облаченного в рваную шляпу и комбинезон -- форменную одежду своего наследственного проклятья; он превратился в мужчину с мужскою силой, но все равно остался тем же одиноким заброшенным ребенком во власянице из кожи и дерюги, и твой дедушка лепетал жалкие слова, произносил пустые лицемерные софизмы, которые мы называем утешением, а сам думал {Лучше бы он умер, лучше б он совсем не родился на свет}; потом ему пришло в голову, что, если б он сказал это вслух, для нее это было бы пустым, излишним повтореньем, ибо она наверняка не раз уж говорила, думала то же самое, только в другом роде и числе. Он возвратился в город. А потом, в следующий раз, за ним больше не посылали; он узнал об этом так же, как узнал весь город -- из слухов, что передают из уст в уста негры; он же, Чарльз Этьен Сент-Валери Бон, был уже здесь (не дома, просто здесь); о том, как он вернулся, твой дедушка узнал позже, он появился с угольно-черной обезьяноподобной женщиной и с самым настоящим брачным свидетельством; вернее, эта женщина его привезла -- незадолго перед тем его так избили и изувечили, что он едва сидел на своем

неоседланном колченогом муле, и жена шла рядом и поддерживала его, чтобы он не свалился; он подъехал к дому и, по всей вероятности, швырнул в лицо Джудит это брачное свидетельство с тем же беспросветным отчаянием, с каким бросался на негров во время игры в кости. И никто так никогда и не узнал, какие невероятные события произошли в тот год, что он отсутствовал, -- сам он никогда о них не говорил, а женщина, которая даже еще год спустя, после рождения их сына, все еще пребывала в том же состоянии, в каком явилась -- оцепеневшая от ужаса, она действовала как автомат, ничего об этих событиях не рассказывала, а возможно, и не умела рассказать, но постепенно они каким-то жутким непонятным образом начали выделяться из ее пор, словно капли холодного пота, вызванного страхом и болью: как он ее нашел, вытащил из какого-то неведомого двухмерного захолустья (был ли это город или деревня и как это место называлось, она либо никогда не знала, либо от потрясения, вызванного исходом оттуда, название его навсегда выскочило у нее из головы), где даже она со своим слабым умом могла добыть себе кров и пропитание, и как он на ней женился -- он, без сомнения, водил ее рукой, когда она

старательно рисовала крест в книге метрических записей, еще не успев узнать ни как его зовут, ни что он -- не белый (никто не мог с уверенностью утверждать, что она знает это даже теперь, даже после того, как она родила сына в одной из полуразвалившихся лачуг, где прежде жили рабы -- он перестроил ее, после того как взял у Джудит в аренду маленький участок земли); как прошел еще примерно год, состоявший из периодов полнейшей неподвижности -- словно порвалась кинолента -- когда белокожий человек, который на ней женился, лежал на спине,, приходя в себя от последних затрещин,

полученных им в грязных вонючих трущобах каких-то больших и малых городов, чьих названий она тоже не знала; они сменялись другими периодами или промежутками бешеного, непонятного и явно бессмысленного движенья, перемещения в пространстве, водоворотом лиц и тел, сквозь которые он прорывался, увлекая ее за собой -- куда или откуда он бежал, какое безумие лишало его мира и покоя, она тоже не знала, и каждый такой рывок кончался, завершался тем же, чем и предыдущий, так что это уже превратилось в некий ритуал. При этом он явно искал случая похвалиться, похвастать своей обезьяноподобной угольно-черной спутницей перед каждым, кого это непременно должно было привести в бешенство: перед чернокожими портовыми грузчиками и матросами на пароходах или в городских притонах -- они принимали его за белого и не верили ему тем больше, чем упорнее он это отрицал; перед белыми -- услышав от него, что он негр, они решали, что он врет для спасения своей шкуры или, еще хуже, что он окончательно свихнулся от половых извращений, и в обоих случаях результат был один: тоненький и хрупкий, как девушка, почти всегда безоружный, он, невзирая на численное превосходство противника, всегда первым лез в драку, с неизменной яростью и презрением к боли, и при этом не бранился, не задыхался, а только хохотал.

И вот он показал Джудит свое свидетельство, привел свою жену -- она была уже почти на сносях -- в развалившуюся лачугу, которую выбрал себе для жилья и отремонтировал; он поместил, посадил ее туда, как собаку в конуру, и возвратился в дом. И никто не знает, что произошло между ним и Джудит в одной из не застланных ковром комнат, где еще оставались стулья и другая мебель, которую не успели разрубить и сжечь, чтобы сварить еду, истопить печку или вскипятить

воды, когда время от времени кто-нибудь хворал; между женщиной, которая овдовела, не успев обвенчаться, и сыном ев покойного жениха и потомственной наложницы-негритянки, которому его черная кровь претила куда меньше, чем белая, и все это со странно преувеличенным упорством, тем более яростным, чем более он осознавал невозможность ее изринуть -- точно так же, наверное, вел бы себя сам демон.

({Потому что это была любовь сказал мистер Компеон Было письмо, которое она принесла и отдала на сохранение твоей бабушке}. Он (Квентин) видел его -видел так же ясно, как то, что лежало открытое на открытом учебнике перед ним на столе -- белое в темной руке отца на фоне его полотняной штанины в сентябрьских сумерках, благоухающих сигарой, глицинией и полных мечущихся светлячков; он думал {Да. Я слышал слишком много, мне рассказали слишком много, мне пришлось слушать слишком долго, слишком много. Да думал он Шрив говорит почти так же, как отец; это письмо. И кто знает, о каком нравственном возрождении она размышляла в уединенье этого дома, этой комнаты, этой ночи; о каком преодолении железных традиций -- ведь чуть ли не все остальное, что она привыкла считать незыблемым, прямо у нее на глазах исчезало, как соломинки, развеянные ураганом, -- она сидела там: возле лампы на прямом жестком стуле, прямая, в том же ситцевом платье, только теперь без шляпы, с непокрытой головой, с сединою в некогда черных как смоль волосах, а он стоял и смотрел на нее. Он ни за что не хотел сесть; быть может, она ему даже и не предложила; и ее холодный ровный голос звучал немногим громче, чем трепет пламени горящей лампы: "Я была неправа. Я это признаю. Я считала, что есть вещи, которые до сих пор имеют значение просто потому, что они имели значение прежде. Но я была

неправа. Ничто не имеет значения, кроме дыхания, кроме того, чтобы дышать и знать и жить. Но ребенок, брачное свидетельство, документ. Как быть с ними? Этот документ связывает тебя с женщиной, которая что ни говори, а негритянка; его можно спрятать, никто не посмеет о нем вспомнить, как о любой другой выходке необузданного пылкого юноши. А что до ребенка, это не страшно. Ведь мой отец тоже родил такого ребенка, и ничего не случилось. Если хочешь, мы можем оставить у себя эту женщину с ребенком, они могут жить здесь, и Клити будет..." -- говоря это, она следила за ним, вглядывалась в него; все еще не двигаясь, не шевелясь, она сидела прямо, руки неподвижно лежали на коленях, ока едва дышала, словно он был какой-то дикой тварью или птицей, которую может вспугнуть легчайшая дрожь ее ноздрей или трепет ее груди: "Нет, я. Я буду его воспитывать, я позабочусь, чтобы он... ему не надо никакого имени; тебе не надо больше ни видеть его, ни о нем беспокоиться. Мы попросим генерала Компсона продать часть земли; он ее продаст, и ты сможешь уехать. На север, в большие города, где не будет иметь значения, даже если... Но они этого не сделают. Они не посмеют. Я скажу им, что ты -- сын Генри, и кто сможет или посмеет это оспаривать...", а он стоял и смотрел на нее или не смотрел, она не знала, потому что он опустил голову, и лица его -- ничем не выдававшего его чувств тонкого лица -- не было видно; она следила за ним, боясь пошевельнуться, она прошептала, вполне ясно, вполне четко, но так, что звуки ее голоса едва достигали его слуха: "Чарльз", а он ответил ей: "Нет, мисс Сатпен", и она, все еще не шевелясь, не дрогнув ни единым мускулом -- казалось, будто она стоит возле зарослей, куда ей удалось заманить какое-то животное; она его не видит, но знает, что оно за ней следит; оно не притаилось; не испугалось, не встревожилось, а просто пребывает в легком возбужденье, всегда

сопутствующем свободным существам, что не оставляют даже следа на земле, которая их носит, -- и, не смея протянуть руку, чтобы его коснуться, она обращается к нему мягким замирающим голосом, исполненным того небесного соблазна, что составляет главное оружие женщины: "Называй меня тетя Джудит, Чарльз"}) Да, кто знает, сказал ли он что-нибудь или, вовсе ничего не сказав, повернулся и вышел из комнаты, а она все еще сидела, не шевелясь, не двигаясь с места, смотрела на него, все еще видела его, и взор ее, проникая сквозь стены и ночную тьму, следил за тем, как он шел обратно по заросшему травой проулку между заброшенными полуразвалившимися хижинами к лачуге, где ждала его жена, шагал тернистым каменным путем к Гефсимании, что сам себе определил и создал, где он сам себя распял и, на мгновение сойдя со своего креста, теперь вновь к нему возвращался.

Да, может, кто и знал все это, но только не твой дедушка. Он знал лишь то, что знал весь город и весь округ: что чужой мальчик, за которым Клити присматривала и которого учила работать на огороде и в поле, который уже взрослым мужчиной сидел в тот день перед судом -- голова перевязана, одна рука висит на повязке, на другой защелкнуты наручники, -- который исчез, а потом снова вернулся с законной женой, похожей на обезьяну из зверинца, теперь взял в аренду часть Сатпеновой плантации и довольно успешно ее обрабатывал, трудился в полном одиночестве, упорно и настойчиво, насколько ему позволяли его физические силы, его тело, руки и ноги, все еще казавшиеся слишком хрупкими и слабыми для той задачи, что он себе поставил; который жил отшельником в собственноручно перестроенной хижине, где вскоре родился его сын, и не якшался ни с белыми, ни с черными (Клити теперь его не караулила,

в этом уже не было нужды) и которого за следующие четыре года видели в Джефферсоне всего три раза, да и то лишь в тех случаях, когда, по словам негров, смертельно боявшихся как его, так и Клити с Джудит, он был либо не в себе, либо мертвецки пьян, на Привокзальной улице, где находились негритянские лавки; его уводил оттуда твой дедушка (а если он был слишком пьян и буянил, городские полицейские); дедушка оставлял его у себя до тех пор, пока его жена, эта черная мегера -- в ней, казалось, жили только глаза и руки, -- не сможет запрячь мулов, приехать, взвалить его на повозку и отвезти домой. Поэтому вначале никто даже не заметил, что он не появляется в городе, и только главный врач округа сказал твоему дедушке, что у него желтая лихорадка, что Джудит велела перенести его к ней в дом и сама за ним ухаживает и что теперь Джудит тоже заболела, и тогда твой дедушка попросил его известить об этом мисс Колдфилд, а сам поехал туда. Он не спешился; он сидел в седле, пока наконец Клити не выглянула из окна верхнего этажа и не сказала, что "им ничего не надо". Через неделю твой дедушка убедился, что Клити была права или, во всяком случае, оказалась права позже, хотя первой умерла Джудит.

-- Вот как, -- сказал Квентин. {Да} подумал он {слишком долго, слишком много} тут он вспомнил, как при виде пятой могилы ему пришло в голову, что человек, хоронивший Джудит, должно быть, опасался, как бы остальные покойники от нее не заразились, и поэтому ее могилу поместили на противоположной стороне огороженного участка и отодвинули от остальных настолько, насколько позволяла ограда, и подумал {На этот раз отцу не придется говорить: "подумай"} -- ведь он догадался, кто заказал и купил этот надгробный камень, догадался еще прежде, чем прочитал высеченную на нем надпись; он представил

себе, как Джудит, почувствовав приближение смерти, поднялась с постели и (возможно, в бреду) старательно вывела печатными буквами инструкции для Клити; как Клити прожила следующие двенадцать лет, воспитывая ребенка, родившегося в старой негритянской хижине; как она экономила, считала каждый грош, чтобы накопить денег и расплатиться за надгробье, в счет которого Джудит за двадцать четыре года до своей смерти дала его деду сто долларов; как она (Клити) поставила на стол ржавую жестянку, битком набитую монетами по пять и десять центов и истрепанными бумажками, и, не обращая внимания на все его попытки отказаться от этих денег, не сказав ни слова, вышла из конторы. Чтобы прочитать надпись на этом камне, ему тоже пришлось смахнуть с него можжевеловые иглы, и, глядя на появляющиеся из-под ладони буквы, он с удивленьем размышлял о том, как они могли сохраниться здесь, как они не сгинули со света в тот самый миг, когда соприкоснулись с жестокой и страшной угрозой: {Джудит Колдфилд Сатпен. Дочь Эллен Колдфилд. Родилась 3 октября 1841 года. 42 года, 4 месяца и 9 дней провела в унижениях и тяжких трудах и, наконец, опочила 12 февраля 1884 года. Остановись, смертный. Одумайся, пока не поздно. Остерегайся тщеславия и безрассудства}. И тут Квентин подумал {Да. Мне незачем спрашивать, кто это сочинил и кто его сюда поставил. Да подумал он слишком долго, слишком много. Мне тогда не надо было слушать, но я не мог не услышать, а теперь мне приходится выслушивать все это снова, потому что он говорит точь-в-точь как отец: Жизнь женщин удивительна, право, удивительна. Они живут и дышат в неуловимом нереальном мире, где бесплотные тени и образы событий -- рождений и смертей, недоуменья, скорби и тоски -- движутся легко и чинно, как гости, что играют в шарады на лужайке, чьи жесты

безукоризненно изящны, но лишены смысла и никому не могут повредить. Этот камень заказала мисс Роза. Она выманила его у судьи Бенбоу. Он был душеприказчиком ее отца, хотя тот и не назначал его душеприказчиком, потому что после мистера Колдфилда не осталось ни завещания, ни имущества, кроме дома и дочиста разграбленной лавки. Поэтому он сам себя назначил, а возможно, сам себя избрал на каком-то совете соседей и сограждан, собравшихся обсудить ее дела и решить, что с нею делать, когда они окончательно убедились, что никакая сила в мире, и уж во всяком случае никто из людей и ни одно людское собрание никогда не сможет заставить ее вернуться к племяннице и зятю, -- тех самых соседей и сограждан, что по ночам оставляли у нее на крыльце корзинки с провизией и посуду (покрытые салфетками тарелки с едой), которую она никогда не мыла, а грязной засовывала обратно в пустую корзинку и ставила корзинку на ту же ступеньку, где перед тем ее нашла, словно желая довершить иллюзию, будто корзинки вообще никогда не существовало или что она, уж во всяком случае, к ней не прикасалась и никогда ее не опустошала, не выходила из дому и не брала корзинку в руки, и все это без тени робости или упрямства -- ведь на самом деле она, разумеется, пробовала еду, чтоб узнать, какова она на вкус и как приготовлена, жевала ее, проглатывала, чувствовала, что она переваривается, но, вопреки неопровержимым доказательствам существования этой корзинки, упорно тешила себя иллюзией, будто всего того, что есть, на самом деле не существует, и, как это умеют женщины, упивалась самообманом -- тем же самообманом, в силу которого не желала признавать, что продажа лавки все же кое-что ей принесла, что она вовсе не осталась нищей; она упорно отказывалась взять у судьи Бенбоу наличные деньги, вырученные от продажи лавки, и тем не менее десятками

всевозможных способов эту сумму использовала (а спустя несколько лет даже и значительно ее превысила), например, заставляла случайно проходивших мимо ее дома негритянских парней подмести ей двор, хотя они, как и весь город, отлично знали, что об оплате не будет и речи, что они ее даже больше не увидят, хотя не сомневались, что она караулит их из-за оконной занавески, а что заплатит им судья Бенбоу. Она постоянно заходила в лавки, требовала с витрин и полок всевозможные вещи -точь-в-точь как потребовала от судьи Бенбоу надгробный камень ценою в двести долларов -- забирала их и удалялась; с той же патологической хитростью, с какой она не желала мыть тарелки из корзинок, она упорно уклонялась от каких-либо переговоров о состоянии своих дел с судьей Бенбоу, хотя, конечно, не могла не знать, что полученные ею от него суммы уже много лет назад превысили (он, Бенбоу, держал у себя в конторе толстую папку, на которой несмываемыми чернилами было написано: Имущество Гудхью Колдфилда. Секретно. После смерти судьи его сын Перси вскрыл эту папку и обнаружил в ней огромное количество бланков тотализатора и погашенных ставок на скаковых лошадей, чьи кости давным-давно истлели неведомо где, которые сорок лет назад выигрывали или проигрывали на ипподроме в Мемфисе; а также два гроссбуха -- в один из них судья Бенбоу своей рукой добросовестно записывал каждую дату, кличку лошади, выиграла она или проиграла и сколько он на нее поставил, а другой показывал, как он сорок лет подряд вносил на этот мифический текущий счет каждый выигрыш, и сумму, равную каждому проигрышу) все, что было выручено от продажи лавки.

Но ты не слушал, потому что ты давно уже все это знал, усвоил, впитал, как это бывает с детьми, не через посредство речи, а как-то иначе, потому что ты родился

и жил рядом, вместе со всем этим, и потому рассказы твоего отца не столько что-то тебе говорили, сколько слово за слово касались чутких струн твоей памяти. Ты бывал здесь и раньше, ты не раз видел эти могилы, когда мальчишкой бродил здесь не только ради охоты, а просто из любопытства, и этот старый дом ты тоже видел, ты знал, как он должен выглядеть, еще прежде, чем впервые бросил на него взгляд, к той поре, когда ты уже подрос и однажды вместе с четырьмя такими же мальчишками, как ты сам, отправился туда, и каждый из вас подбивал остальных вызвать оттуда привидение: ведь в этом доме непременно должны были водиться привидения, иначе и быть не могло, хотя он вот уже двадцать шесть лет стоял совершенно пустой и совсем не страшный, и никто никаких привидений не видел и ничего про них не говорил, пока какие-то переселенцы из Арканзаса, приехавшие в битком набитом фургоне, решили там переночевать, но не успели они выгрузиться из фургона, как что-то случилось. Что именно, они не рассказали, а может, не могли и не хотели рассказывать, однако это заставило их мигом забраться обратно в фургон, и мулы галопом поскакали назад по аллее, так что через десять минут их там и след простыл, и они единым духом домчались до самого Джефферсона. Ты видел прогнившую оболочку дома с покосившимся портиком, облупленными стенами, провисшими ставнями и заколоченными окнами -- дома, стоящего посреди плантации, которая вернулась в первобытное состояние, которую продавали, покупали, снова и снова продавали и покупали, и так без конца. Нет, ты не слушал, в этом вовсе не было нужды; потом собаки зашевелились, встали на ноги, ты поднял глаза -- и впрямь, как предсказал отец, Ластер остановил мула и обеих лошадей под дождем примерно в полсотне ярдов от можжевеловой рощи; закутавшись в пеньковый мешок, он сидел, подтянув колени к груди, а

вокруг в клубах пара суетились лошади и собаки, и казалось, будто он глядит на тебя и на отца из какого-то мрачного, не ведающего физической боли чистилища. "Поедем, спрячемся от дождя, Ластер, -- сказал отец. -- Я не позволю старому полковнику тебя обидеть". -- "Нет, уж лучше нам ехать домой, -- отозвался Ластер. -- Сегодня охоты все равно больше не будет". -- "Мы промокнем, -возразил отец. -- Знаешь что, давай поедем в этот старый дом. Там хоть сухо будет". Но Ластер не двинулся с места, он так и сидел под дождем, придумывая причины, чтобы туда не ехать -- вроде того, что там течет крыша, что без огня мы все трое схватим простуду, а пока мы туда доберемся, мы все равно насквозь промокнем, так что уж лучше ехать прямо домой; и отец смеялся над Ластером, но ты не особенно смеялся: ведь хоть ты и не был черным, как Ластер, ты был не старше его, и вы с Ластером и еще с тремя мальчишками, все пятеро ровесники, пришли туда в тот день и начали подзуживать друг друга войти в дом еще задолго до того, как приблизились, подошли к нему сзади, по тому проулку, где некогда стояли хижины, рабов, а теперь были непроходимые заросли сумака, хурмы, жимолости и ежевики, скрывавшие сваленные в кучи остатки бревенчатых стен, кирпичных дымоходов и крытых дранкой крыш -- все эти хижины давно развалились, кроме одной, той самой; вы подошли к ней; сначала вы совсем не заметили старуху, потому что смотрели на мальчишку, Джима Бонда -- нескладного, губастого светло-коричневого мальчишку чуть постарше и побольше вас, в залатанной, выцветшей, но чистой рубашке и в гитанах, из которых он вырос; он возился в огороде возле хижины, так что вы даже не знали, что она тоже там, пока вдруг все, как один, не вздрогнули, не обернулись и не увидели, что она сидит на стуле, прислоненном к стене хижины, и смотрит на вас -- маленькая, высохшая, чуть побольше

обезьянки, очень старая -- лет ей могло быть сколько угодно, тысяч этак десять, в широченных выцветших юбках, на голове безупречно чистый платок, босые ноги обвились вокруг ножек стула, как у обезьяны, -- сидит, курит глиняную трубку и смотрит на вас глазами вроде сапожных кнопок, воткнутых в бесчисленные морщинки светло-коричневого лица, смотрит и, не вынимая изо рта трубки, говорит так, что по голосу ее почти не отличишь от белой женщины: "Что вам тут, надо?", один из вас, помедлив, отвечает: "Ничего", и вы все, как один, бросаетесь врассыпную, не зная ни кто первым пустился наутек, ни почему -ведь вы ничуть не испугались; вы мчались по бесплодным, заросшим сорняками, изрытым потоками дождя полям, добрались до старой полусгнившей изгороди, перелезли, перевалились через нее, и только тогда земля, небо, кусты, деревья и лес снова сделались такими же, как прежде, и все снова встало на свои места}.

-- Да, -- сказал Квентин.

-- Это был тот самый парень, о котором говорил Ластер, -- сказал Шрив. -И твой отец снова на тебя посмотрел, потому что ты раньше этого имени не слышал, а в тот день, когда вы увидели его на огороде, ты даже не подумал, что его вообще как-нибудь зовут, и ты спросил: "Кто? Джим, а дальше как?" -и Ластер ответил: "Это он и есть. Тот светлокожий парень, что живет там у старухи", а твой отец все еще на тебя смотрел, и тогда ты опять спросил: "Как его фамилия?" -- "Бонд", -- ответил Ластер. Да, это был тот самый, только фамилия его теперь была уже не Бон, а Бонд, но ему было все равно -- он унаследовал от матери то, чем он был, а от отца только то, чем никогда не мог стать. И если б твой отец спросил его, не сын ли он Чарльза Бона, он бы не только этого не знал, ему бы это было все равно; а если б ты ему и сказал, чей он сын, это едва задело бы нечто, что ты (а не он) назвал бы его

сознанием, и исчезло бы оттуда гораздо раньше, чем у него появился какой-нибудь отклик -- радость или гордость, горе или гнев?

-- Да, -- сказал Квентин.

-- И он прожил двадцать шесть лет в той хижине, на задворках дома с привидениями, вместе со старухой, которой теперь уже, наверно, перевалило далеко за семьдесят, но у которой под платком не было ни единого седого волоса, чье тело не обмякло, а приобрело такой вид, словно она, как все нормальные люди, старела до какой-то определенной точки, а потом остановилась и, вместо того чтоб поседеть и расплыться, начала усыхать, так что кожа у нее на лице и на руках сморщилась, покрылась миллионами мелких, тонких, как паутина, морщинок, а тело все уменьшалось и уменьшалось, словно его высушили в печке, как жители острова Борнео сушат отрубленные головы своих пленников; она вполне могла сойти за привидение, если б в таковом когда-либо возникла нужда, если б кому-то взбрело в голову обокрасть этот дом, чего отнюдь не было; если б там было что украсть, чего отнюдь не было; если б остался хоть один из них, кто бы там прятался или скрывался, чего отнюдь не было. И все-таки эта старушенция, эта тетушка Роза, сказала тебе, что там кто-то прячется, а ты ответил, что это Клити или Джим Бонд, а она сказала Нет, и тогда ты сказал, что это наверняка они, потому что демон умер, и Джудит умерла, и Бон умер, а Генри забрался в такую даль, что не оставил даже и могилы; но она сказала Нет, и тогда ты отправился туда, проехал ночью на повозке эти двенадцать миль и нашел в доме Клити и Джима Бонда и сказал Вот видите? а она (тетушка Роза) продолжала твердить Нет, и тогда ты пошел дальше, и там был?

-- Да.

-- Подожди, - сказал Шрив. -- Ради бога, подожди.

VII

Теперь на рукаве у Шрива не было снега, не было у него и рукава, виднелось только гладкое, пухлое, как у купидона, предплечье и еще рука; рука двинулась к пятну света от лампы, взяла трубку в пустой банке из-под кофе, в которой он держал трубки, набила ее и зажгла. Значит, на улице температура около нуля, подумал Квентин; скоро он откроет окно и начнет делать дыхательные упражнения; раздевшись до пояса и крепко сжав кулаки, он будет глубоко дышать на фоне теплого розоватого отверстия, выходящего на студеный четырехугольный дворик. Но он еще не начал; с той минуты, как Квентин это подумал, прошел уже час, и теперь трубка лежала на столе выкуренная, опрокинутая и пустая, из нее высыпалось немного пепла, а Шрив, скрестив на столе розовые, покрытые рыжеватыми волосками руки, посматривал на Квентина сквозь непроницаемые стекла очков, в которых двумя лунами сияло отражение лампы.

-- Значит, он просто хотел иметь внука, -- сказал Шрив. -- Вот чего он добивался. О господи, этот Юг просто великолепен, верно? Он лучше всякого театра, верно? Лучше Бен Гура, верно? Не удивительно, что временами оттуда нужно удирать, верно?

Квентин ничего не ответил. Он спокойно сидел за столом, положив руки по обе стороны раскрытого учебника, на котором покоилось письмо, четырехугольный лист бумаги, сложенный посередине и теперь на три четверти развернувшийся, причем большая его часть под воздействием рычага, которым служил этот старый сгиб, поднялась и повисла в воздухе, словно вопреки всем законам природы лишилась веса; впрочем, письмо лежало так косо, что даже и без этого дополнительного искажения он не мог бы ничего в нем ни прочесть, ни разобрать. Однако он все же смотрел на письмо -- во всяком случае, так

казалось Шриву, -- слегка опустив голову, погрузившись в раздумье, словно чем-то недовольный.

-- Он сообщил об этом дедушке, -- сказал он. -- Это было, когда архитектор сбежал или пытался сбежать в долину реки, чтобы вернуться в Новый Орлеан или куда-то там еще, и он... ("Кто, демон?" -- спросил Шрив. Квентин ему не ответил, не остановился; голос его звучал ровно и как-то странно -- не то сонно, не то с затаенной досадой, и потому Шрив -- на нем были только очки и больше ничего (ниже талии его тело закрывал стол, так что всякий вошедший в комнату решил бы, что он совершенно голый), он напоминал бюст в стиле барокко, вылепленный из раскрашенного сдобного теста неким скульптором, отчасти склонным к извращенным видениям, какие бывают в ночных кошмарах -тоже сидел тихо и смотрел на него пристальным задумчивым взглядом)... он известил дедушку и остальных, -- продолжал Квентин, -- взял своих диких негров и гончих собак, выследил архитектора и через два дня загнал его в пещеру на берегу реки. Это было вторым летом, когда они заготовили весь кирпич и заложили фундамент и срубили и обработали большую часть строевого леса, и однажды архитектор вдруг почувствовал, что не может больше выдержать, или испугался, что умрет с голоду или что у диких чернокожих (а может, и у самого полковника Сатпена) кончится провиант, и они его сожрут, а может, его обуяла тоска по родине, или ему просто захотелось уйти... ("Может, у него была девушка, -- вставил Шрив. -- А может, ему просто понадобилась девушка. Ты ведь говорил, что у демона и у черномазых их было всего две". Квентин и на это не ответил; возможно, он опять не слышал; он продолжал говорить тем же странным, спокойным, глухим голосом, словно обращался к столу, к книге на столе, к лежащему на книге письму или к своим рукам,

лежащим по обе стороны книги)... и он ушел. Исчез средь бела дня, прямо на глазах у двадцати одного человека. А может, Сатпен как раз повернулся к нему спиной, а черномазые видели, как он уходит, но не сочли нужным об этом говорить -- будучи дикарями, они, наверно, не знали, что у Сатпена на уме, хоть он и возился целыми днями вместе с ними голышом в грязи. По-моему, черномазые вообще понятия не имели, зачем нужен этот архитектор, что он должен делать, уже сделал, может сделать или делает, и они, наверно, подумали, что Сатпен сам его отослал, велел уйти с глаз долой, утопиться, умереть или попросту убраться на все четыре стороны. Так он и сделал -- средь бела дня вскочил и в своем вышитом жилете, в галстуке, как у лорда Фаунтлероя, в шляпе, какие обычно носят члены конгресса -- баптисты (шляпу он, наверно, держал в руке), убежал в болото, а черномазые следили за ним, пока он не скрылся из виду, а потом опять взялись за работу, и Сатпен хватился его только вечером, скорее всего за ужином, и тогда черномазые ему все рассказали, и он объявил, что завтра работы не будет, потому что он должен раздобыть собак. Не то чтобы ему нужны были собаки -- он мог пустить по следу и своих черномазых, но он, наверное, подумал, что гости не привыкли пускать по следу черномазых и захотят, чтоб были собаки. А дедушка (он тогда тоже был молодой) захватил шампанское, другие гости захватили виски, и вскоре после заката солнца все начали съезжаться к дому, который еще стоял без стен -- лишь несколько рядов кирпича торчало из земли, но их это ничуть не трогало, потому что, как рассказывал дедушка, спать они не ложились. Они сидели у костра, пили шампанское и виски, закусывали окороком оленя, которого застрелил Сатпен, а в полночь явился человек с собаками. Вскоре рассвело, но собаки сначала не могли взять след, потому что несколько диких

черномазых уже с милю пробежали по следу -- просто так, забавы ради. Но в конце концов на след они напали; собаки и черномазые шли по речной пойме, а всадники ехали с краю, где дорога была получше. Но дедушка и полковник Сатпен ехали с собаками и с черномазыми, потому что Сатпен боялся, как бы черномазые не изловили архитектора прежде, чем он успеет их догнать. Им с дедушкой пришлось порядочно пройти пешком -- один из черномазых обходил с лошадьми топи, а потом они снова садились в седло. Дедушка рассказывал, что погода была прекрасная и что след был хороший, но Сатпен утверждал, что было бы еще лучше, если б архитектор дождался октября или ноября. Вот тогда-то он и рассказал дедушке о себе.

Сатпен был отмечен невинностью духа, вот в чем состояла его беда. Ему вдруг открылось не то, что он хотел сделать, а то, что ему непременно нужно, необходимо было сделать, хотел он того или нет, потому что, не сделай он этого, ему до конца дней своих не жить в ладу с самим собой и с тем, чем наделили его все люди, которые умерли ради того, чтобы он жил, и хотели, чтобы он передал это дальше; не жить, зная, что все умершие ждут и следят, чтобы он сделал это как следует, сделал все как следует, так, чтобы он мог смотреть в глаза не только давно умершим, но и всем живым, что придут после него, когда и он тоже умрет. И в ту самую минуту, когда ему открылось, что именно он должен делать, он понял, что меньше всего на свете к этому подготовлен: ведь он не только не знал, что ему придется это делать, он даже не знал, что такие вещи существуют, что их можно захотеть, что их необходимо сделать, не знал чуть ли не до четырнадцати лет. Ведь он родился в Западной Виргинии, в горах... ("Только не в Западной Виргинии", -- сказал Шрив. "Как так?" -- спросил Квентин. "Только не в Западной Виргинии, -- повторил Шрив. -Потому что

если в 1833 году в Миссисипи ему было двадцать пять лет, значит, он родился в 1808 году. А в 1808 году не было никакой Западной Виргинии, потому что..." -- "Ладно", -- сказал Квентин. "...Западная Виргиния была принята только..." -- "Ладно, ладно", -- сказал Квентин, "...была принята в Соединенные Штаты только..." -- "Ладно ладно ладно", -- сказал Квентин) ...он родился там, где те немногие, кого он знал, жили в бревенчатых хижинах, в которых так же кишмя кишели ребятишки, как и в той хижине, в которой родился он; там, где мужчины и молодые парни либо ходили на охоту, либо валялись на полу у очага, а женщины и девушки постарше переступали через них, чтобы добраться до очага и сварить еду; там, где единственными цветными были индейцы, да и тех можно было увидеть лишь в прицел ружья; родившись там, он даже никогда не слыхал, не мог представить себе, что существует место, где землю аккуратно поделили и присвоили люди, которые только и делают, что скачут по ней верхом на красивых лошадях или сидят разодетые в красивые наряды на верандах своих больших домов, в то время как другие на них работают; он тогда еще не мог себе представить, что такая жизнь существует, или что кто-нибудь хочет такой жизнью жить, или что существуют все те вещи, какие у них там есть, или что владельцы этих вещей не только могут свысока смотреть на тех, у кого их нет, но что в этом им помогают не только другие владельцы таких же вещей, но даже и те самые люди, на кого они смотрят свысока, те, у кого этих вещей нет и никогда не будет. Ведь там, где он жил, земля принадлежала всем и каждому, и потому человек, который бы не поленился обнести забором кусок земли и сказать: "Это мое", был просто сумасшедший; а что до вещей, то ни у кого не было их больше, чем у тебя, потому что у каждого их было ровно столько, сколько он был в силах взять и удержать, и

лишь тот сумасшедший не поленился бы захватить или даже просто пожелать больше вещей, чем он способен был бы съесть либо обменять на порох или виски. Потому-то он и не знал, что существует земля, которая вся аккуратно разделена и закреплена, а на ней живут люди, которые тоже аккуратно разделены и закреплены в зависимости от того, какого цвета у них кожа и чем они владеют, и где немногие присвоили себе право не только распоряжаться жизнью и смертью других, не только их обменивать, покупать и продавать, но еще и заставлять других людей без конца оказывать им разные личные услуги, например наливать виски из бутыли в стакан и подносить им этот стакан или снимать с них сапоги, когда они ложатся спать, -- иначе говоря, делать за них все, что люди с незапамятных времен должны были делать и делают сами за себя, пока не умрут, хоть это вовсе никому не нравится и никогда не понравится, но что все, кого он знал, никогда не помышляли переложить на других, точно так же, как им не пришло бы в голову, что за них могут жевать, глотать или дышать. Ребенком он не прислушивался к туманным и путаным рассказам о роскошной жизни на Тайдуотере, которые проникали даже к ним в горы; он тогда не понимал, о чем идет речь; став подростком, он их не слушал, потому что вокруг не было ничего, с чем эти рассказы можно было бы сравнить или чем измерить, чтобы придать словам жизнь и смысл; он никак не мог понять, о чем идет речь, потому что был слишком занят своими мальчишескими делами; когда же он стал юношей и любопытство извлекло из памяти те рассказы, о которых он думать забыл, не помнил даже, что когда-то их слышал, он заинтересовался и даже захотел взглянуть на эти места, но без всякой зависти и сожаления, просто он был уверен, что одни люди плодятся в одном месте, а другие -- в другом; одних наплодили богатыми (он мог

бы сказать -- везучими), а других -- нет; причем (так он сказал дедушке) от самих людей почти ничего не зависит, а значит, им не о чем жалеть -- ведь ему никогда не приходило в голову, что кто-либо может извлечь из подобного слепого случая право или основание смотреть свысока на других, на любых других. И поэтому он мало что знал о таком мире, покуда сам туда не попал.

Случилось это так. Они попали туда все, всей семьей; они вернулись на побережье, с которого пришел первый Сатпен (очевидно, когда корабль с арестантами из Олд Бейли бросил якорь в Джеймстауне); они кубарем скатились с гор на Тайдуотер под действием силы тяготения, словно оборвалась какая-то тонкая ниточка, удерживавшая семью в горах. Он, кажется, говорил дедушке, что в то время умерла его мать, и отец его сказал, что она была женщина с норовом, но он все равно будет по ней скучать и что это она заставила отца забраться так далеко на Запад. А теперь вся их шайка, начиная с отца и взрослых сестер и кончая малышом, который еще не умел ходить, начала сползать обратно с гор; беспорядочной кучей, словно никому не нужные обломки на поверхности разлившейся реки, они покатились вниз, самопроизвольнонабирая скорость, как это бывает с косными неодушевленными предметами, которые порою упорно движутся против течения, пересекли Виргинское плато и очутились в болотистых низинах возле устья Джеймс-ривер. Он не знал, что вызвало их переезд, а может, и знал, но забыл -- то ли оптимизм, какая-то надежда, зародившаяся в груди его отца, то ли тоска по родным местам -потому что не имел понятия, откуда отец его родом: из тех мест, куда они вернулись, или нет; не имел понятия, знает ли, помнит ли об этом сам отец, хочет ли он их вспомнить и найти. Он не знал, то ли кто-то, какой-

нибудь путник рассказал ему о тихом месте, где хорошо живется, где добыть теплый кров и пропитание намного легче, чем в горах; то ли кто-то, кого отец прежде знал или кто прежде знал отца, случайно про него вспомнил и подумал, то ли какой-то родственник, который и хотел бы о нем забыть, да не смог, послал за ним, и он послушался и поехал -- не за обещанной работой, а просто в поисках праздности; быть может, надеясь, что благодаря родству ему удастся уклониться от работы -- если это и в самом деле было родство, если же нет, то просто уповая на собственную косность или на тех богов, что до сих пор за ним наблюдали. Запомнил он только одно... ("Он, демон", -- вставил Шрив)... -однажды утром его отец встал, велел старшим дочерям собрать все, что у них было съестного; кто-то запеленал младенца, еще кто-то залил водою огонь в очаге, и они стали спускаться с горы вниз, к дорогам. У них теперь была кособокая двухколесная тележка и пара колченогих волов. Он говорил дедушке, что не помнит, где, когда и как отец их раздобыл. Ему в то время было десять лет; двое старших братьев незадолго до того ушли из дому, и с тех пор о них не было ни слуху ни духу. Волами правил он, потому что едва они приобрели тележку, как отец взял себе за правило перемещаться в пространстве, лежа ничком в тележке среди одеял, фонарей, ведер, узлов с тряпьем и ребятишек; забыв обо всем на свете, он храпел, и от него несло винным перегаром. Так он об этом рассказывал. Он не помнил, сколько длилось их путешествие -- недели, месяцы или целый год, помнил только, что, когда они выехали, одна из его старших сестер была незамужней, а когда они наконец остановились, все еще не вышла замуж, но стала матерью прежде, чем они потеряли из виду последнюю гряду голубых гор. Он не помнил, застала ли их в дороге зима, весна или лето или же, опускаясь все

ниже и ниже, они постепенно, одно за другим обгоняли времена года, а может, смена времен года объясняется самим спуском, они же двигались не параллельно времени, а спускались перпендикулярно температурным и климатическим зонам; это был как бы (периодом назвать это нельзя, потому что, сколько он помнил или сказал дедушке, что помнил, это не имело ни определенного начала, ни определенного конца. Может, точнее будет -- переход) переход от какой-то исступленной инертности и терпеливой неподвижности, когда они сидели на тележке у дверей трактиров и кабаков, ожидая, чтоб отец напился до бесчувствия, к какому-то призрачному бесцельному перемещению -после того как они извлекали старика из какой-нибудь пристройки, сарая, амбара или сточной канавы и взваливали на тележку; при этом они, казалось, нисколько не продвигались вперед, а неподвижно висели в воздухе, между тем как сама земля меняла свою форму, становилась ровнее, расширяла ущелье, в котором все они родились, вздымалась, как волна прибоя; в ней всплывали, исчезали, сменяли друг друга чужие грубые зверские рожи у дверей кабаков, куда старик входил и откуда его выносили или вышвыривали (один раз это сделал огромный верзила-черномазый, первый повстречавшийся им негр-раб -- он вышел из дверей, взвалил себе на плечи старика, словно мешок с мукой; при этом он, черномазый, громко хохотал, разинув пасть, полную белых зубов -- ни дать ни взять надгробные камни на кладбище); земля, вселенная, вздымалась, проплывая мимо, словно тележка не катилась вперед, а топталась по кругу. И прошла весна, и наступило лето, а они все еще двигались к какому-то неведомому месту -- его никто из них никогда не видел, ничего о нем не знал и вовсе не желал туда ехать, -- удаляясь от другого места, от глухого уголка на склоне холма, куда никто из них, наверно, не смог бы найти

дорогу -- кроме, пожалуй, отца, который почти все время был не в себе и ему мерещилось, будто он гоняется за малиновыми слонами и змеями, -- и перед застывшим от изумления взором этих спокойных и рассудительных жителей захолустья возникали и исчезали чужие места и чужие лица; кабаки и трактиры теперь превращались в деревушки, деревушки -- в поселки, поселки -- в города; земля становилась все ровнее и ровнее, ее пересекали добротные дороги и поля, на полях работали черномазые, а белые люди верхом на прекрасных лошадях за ними присматривали; другие прекрасные лошади и прекрасно одетые люди -- у них даже выражение лица было не такое, как у горцев, -- встречались возле трактиров, куда отца даже не впускали через парадный ход и откуда его немедленно выдворяли, как только он, по обычаю деревенской голытьбы, начинал буянить (так что теперь они стали двигаться намного быстрее); и теперь никто не смеялся и не улюлюкал, хотя и раньше улюлюканье и смех были грубые, а совсем не добродушные.

Вот что с ним происходило. Он постиг разницу не только между белыми и черными, но начал понимать, что существует еще разница между белыми и белыми и что она измеряется отнюдь не способностью переставить с места на место наковальню, выдавить кому-нибудь глаза или выпить сколько влезет виски, а потом подняться и выйти из комнаты. Он начал это усваивать, еще сам того не сознавая. Он все еще полагал, что вся разница только в том, где и при каких обстоятельствах человек родился, повезло ему или не повезло; что везучим еще больше, чем невезучим, лень и неохота извлекать выгоду из своего везения или даже думать, будто от него может проистечь что-нибудь кроме самого везения, он все еще полагал, что везучие жалеют невезучих куда больше, чем невезучие когда-

либо пожалеют их. Все это он обнаружит позднее. Он точно знал, когда он это обнаружил -- в тот самый момент, когда открыл в себе невинность духа. Как раз об этом моменте, об этой секунде он особенно не распространялся; важно было то, как он к нему пришел; это было то мгновенье, когда они наконец поняли, что больше никуда не едут -- не потому, что они остановились и как-то устроились -- это и прежде случалось с ними в пути; он вспомнил, как однажды почувствовалась разница между тем, когда у тебя есть теплая одежда и башмаки и когда их нет; это было в коровнике, где ребенок его сестры появился на свет и, как он сказал дедушке, сколько он помнил, был там же и зачат. Дело в том, что теперь они наконец остановились. Где они находились, он не знал. Сначала, первые дни, недели или месяцы, чутье обитателя лесов, приобретенное им в тех местах, где он вырос, а может, доставшееся по наследству от обоих исчезнувших братьев -- один из них как-то раз пробрался на Запад, до самой реки Миссисипи, -- это чутье досталось ему вместе с поношенными штанами из оленьей кожи и другими вещами, которые братья бросили в хижине, покидая ее навсегда; оно еще больше обострилось, когда он мальчишкой охотился на мелкую дичь, и теперь помогало ему ориентироваться, так что он (по его же собственным словам) со временем сумел бы найти дорогу обратно к их старой хижине в горах. Но то мгновенье, когда он еще мог точно сказать, где он родился, давно миновало. Прошло уже много недель, месяцев, а может, даже и целый год с тех пор, как он потерял счет своим годам и уж никогда больше не мог их определить -- он же говорил дедушке, что не может с точностью до года сказать, сколько ему лет. Теперь он уже не знал ни откуда и зачем он приехал, ни где он находится. Он просто был там, и его окружали лица, почти все знакомые ему с детства лица (хотя число их

уменьшалось, редело, несмотря на старания его незамужней сестры, которая очень скоро -так он сказал дедушке -- и опять без всякой свадьбы родила еще одного ребенка; уменьшалось от скверного климата, сырости и жары); он жил в хижине, почти точь-в-точь такой же, что и та в горах, только та была открыта всем ветрам, а эта притулилась на низком берегу большой реки, которая порой, казалось, застывала в неподвижности, а порою даже начинала течь вспять; где на его братьев и сестер после ужина нападала хворь, а к завтраку их уже не было на этом свете; где полчища черномазых под присмотром белых людей сажали и выращивали растения, о каких он прежде и слыхом не слыхал. Отец его теперь был занят не только выпивкой; во всяком случае, после завтрака он уходил из хижины, трезвым возвращался к ужину и ухитрялся кое-как всех их прокормить. Там был также человек, которому принадлежала вся земля, все черномазые и, по-видимому, также и все те белые, которые присматривали за работой; человек этот жил в своем доме, самом большом из всех, какие ему в жизни приходилось видеть, и проводил чуть ли не весь день, развалясь в гамаке из бочарной клепки, подвешенном между двумя деревьями (он рассказывал дедушке, как он сквозь густой кустарник, окаймлявший лужайку, подползал поближе к этому человеку и за ним следил), без башмаков, а черномазый, наряженный и в будни в такую одежду, какой ни он сам, ни его отец, ни сестры сроду не носили и даже не помышляли носить, только и делал, что обмахивал его и подавал ему питье. И вот он (ему тогда было не то одиннадцать, не то двенадцать, не то тринадцать -- в это время он как раз понял, что безвозвратно утратил счет своим годам) целый день лежал в кустах, наблюдая за этим человеком, который не только носил башмаки летом, но которому даже и не нужно было их надевать, между тем как его сестры то и

дело выскакивали из дверей хижины за две мили от большого дома и кричали, чтобы он принес им дров или воды.

Но он по-прежнему не завидовал человеку, за которым наблюдал. Он мечтал о таких башмаках и, наверное, хотел бы, чтоб у его отца тоже была разодетая в тонкое черное сукно обезьяна, которая подавала бы ему кувшин с питьем, приносила его сестрам дрова и воду для стирки и стряпни и растапливала печку, чтоб ему самому ничего не надо было делать. Может, он даже уразумел, как его сестры радовались бы, что им прислуживают, а главное, что это видят соседи (другие такие же белые, жившие в других хижинах, не таких добротных и совсем не таких прибранных и уютных, как те, в которых жили черномазые рабы, но зато осиянных ярким светом свободы, какого обитатели негритянских хижин, несмотря на крепкие крыши и оштукатуренные стены, были лишены). Ведь он еще не только не лишился невинности духа, но даже еще и не открыл, что ею обладает. Он завидовал тому человеку не больше, чем завидовал бы горцу, у которого случайно оказалось хорошее ружье. Он мечтал бы о таком ружье, но вместе с его обладателем гордился бы и радовался, что тот им владеет; ему никак не пришло бы в голову, что этот человек может бессовестно воспользоваться удачей, которая дала ружье ему, а не кому-нибудь другому, и сказать всем остальным: {Раз это ружье принадлежит мне, значит, мои руки и ноги, плоть и кровь лучше ваших} -- такое было возможно, только если б он одержал над ними верх в перестрелке, а как один человек мог затеять перестрелку с другим лишь потому, что он владеет расфранченными черномазыми и может целый день валяться в гамаке без башмаков? И чего ради стал бы он затевать с ними перестрелку, если это так? В тот день, когда отец послал его с поручением

в господский дом, он даже еще не знал о своей невинности. Он не помнил (или не сказал), в чем заключалось это поручение; он, видимо, все еще толком не знал, чем его отец занимается (или должен заниматься), в чем вообще заключаются его обязанности на плантации. Он был мальчишкой лет тринадцати или четырнадцати -- точно он не знал; на нем была одежда, которую отец получил в лавке плантации и уже успел сносить, а одна из сестер залатала и ушила ему по росту; он столь же мало задумывался о том, как он в ней выглядит или каким может показаться со стороны, сколько о цвете своей кожи; он прошагал по дороге, вошел в ворота, миновал черномазых, которые целыми днями только и делали, что сажали цветы и подстригали траву, добрался до дома, до портика, до парадной двери, надеясь наконец-то увидеть, каково там внутри, и узнать, чем еще может владеть человек, который держит особого черномазого лишь для того, чтоб подавать ему питье и стаскивать с него башмаки, которые ему и носить-то незачем; он ни на секунду не усомнился в том, что этот человек будет рад показать ему все свое добро, как горец был бы рад похвастать пороховницей и формой для отливки пуль, приобретенными им вместе с ружьем. Ведь он все еще не утратил невинность духа. Он знал это, сам того не сознавая; он рассказал дедушке, что еще прежде, чем черномазая обезьяна, встретившая его у дверей, кончила свою речь, он как бы растворился, какая-то часть его существа повернулась и промчалась назад сквозь те два года, что семья там прожила, -- так бывает, когда быстро пройдешь по комнате, посмотришь на находящиеся в ней вещи, повернешь обратно, снова пройдешь по той же комнате, посмотришь на эти же вещи с другой стороны и убедишься, что раньше вообще их не видел -- он промчался назад сквозь эти два года и увидел многое

из того, что происходило и чего он прежде никогда не замечал: холодный бесстрастный вид, с каким его сестры и другие белые женщины подобного сорта молча смотрели на черномазых, не с отвращением или со страхом, а с какой-то сосредоточенной неприязнью -- она вызывалась не каким-либо определенным обстоятельством или причиной, а была врожденным свойством и белых и черных; это ощущение, эти флюиды от белых женщин, стоявших в дверях покосившихся лачуг, передавались черномазым, проходившим мимо по дороге, и их нельзя было полностью объяснить тем, что черномазые были лучше одеты; черномазые не отвечали на это такой же неприязнью и уж никак не дерзостью и не издевкой, они просто этого не замечали, слишком откровенно не замечали. Все знали, что их можно ударить, говорил он дедушке, и они не дадут сдачи и даже не станут сопротивляться. Но никто не хотел их бить; бить хотелось вовсе не их (не черномазых); все знали: бить их -- все равно что бить детский воздушный шар, на котором намалевана рожа, гладкая, надутая рожа, которая вот-вот разразится смехом; и никто не смел ее ударить, зная, что она просто расхохочется, и потому лучше ее не трогать, пусть лучше уберется с глаз долой, чем слушать, как она хохочет. Он вспомнил ночные разговоры у очага, когда к ним приходили гости или они сами после ужина шли в соседнюю лачугу, вспомнил голоса женщин -- они звучали достаточно сдержанно, даже спокойно, но в них слышалась какая-то угрюмая досада, и лишь кто-нибудь из мужчин, большей частью его подвыпивший отец, начинал хрипло похваляться перед остальными своею удалью и силой; а он, мальчишка тринадцати, четырнадцати, а может, даже двенадцати лет, понимал, что и мужчины и женщины говорят об одном и том же, хотя и не называют этого прямо -- так люди говорят о голоде и

лишениях, не упоминая об осаде, или о болезни, не упоминая об эпидемии. Он вспомнил, как однажды шел с сестрой по дороге и, услышав, что их нагоняет коляска, отодвинулся на обочину, но вдруг увидел, что сестра не собирается уступать дорогу, а по-прежнему идет посреди дороги, задрав голову с выражением мрачного упорства; он крикнул на нее, и тут их обдало клубами пыли, лошади взвились на дыбы, сверкнули металлические пряжки сбруи, мелькнули спицы колес, он увидел в коляске два зонтика, услышал, как черномазый кучер в цилиндре завопил: "Эй, девка! Прочь с дороги!", а потом все пронеслось мимо и скрылось из виду -- коляска, пыль, две пары глаз, сверкнувших из-под зонтиков на его сестру, а он стоял и бессмысленно швырял комками грязи вслед удалявшимся клубам пыли. И вот теперь, слушая, что говорил разодетый, словно обезьяна, черномазый лакей, загородивший своею тушей дверь, перед которой он стоял, он понял, что бросал комками грязи вовсе не в черномазого кучера, а в пыль, которую подняли те горделиво точеные колеса, и что это было столь же бессмысленно. Он вспомнил, как однажды отец поздно ночью вошел, вернее, ввалился в хижину, и он даже спросонья явственно почуял запах виски и услышал в голосе отца его обычное злобное, мстительное торжество: "Мы сегодня отодрали одного петтибоновского черномазого", и тогда он окончательно проснулся, встал и спросил которого, а отец сказал, что не знает, потому что раньше никогда его не видел, а на вопрос, что этот черномазый натворил, ответил: "А черт его знает, распроклятого петтибоновского сукиного сына!" Вероятно, в его вопросе содержался тот же смысл, что и в ответе отца, хотя тогда он этого не понимал -- ведь он еще не знал о своей невинности: ни тот, ни другой не имели в виду какого-то определенного черномазого, живое существо, живую

плоть, способную чувствовать, кричать и корчиться от боли. Казалось, он их даже видит: разорванная факелами тьма среди деревьев, дикие озверелые лица белых, раздутая, как воздушный шар, физиономия черномазого. Возможно, черномазому связали руки, а возможно, его просто держат за руки, но это не имеет значения, потому что шароподобная физиономия вовсе не собиралась с помощью этих рук сопротивляться или вырываться на свободу; она, эта шароподобная физиономия, просто висела, парила в воздухе, как нечто невесомое, гладкое, растянутое и тонкое, как бумага. Потом кто-то в остервенении что было силы влепил в этот шар одну-единственную отчаянную затрещину, и ему показалось, будто он видит, как все кинулись врассыпную, понеслись прочь, а им вдогонку, вокруг них, над ними, обгоняя их и возвращаясь, чтобы вновь на них обрушиться, гремит зычный, громкий, как рев морского прибоя, грозный бессмысленный смех. И вот теперь он стоял перед этой белой дверью, которую загораживала черномазая обезьяна, презрительно глядевшая на его перешитую, залатанную бумажную одежонку и на его босые ноги; я думаю, он навряд ли умел пользоваться гребнем, потому что сестры уж наверняка постарались подальше его запрятать. Он никогда не обращал внимания ни на свои, ни на чужие волосы и одежду, пока не увидел, как эта черномазая домашняя обезьяна, которой без всякой заслуги с ее стороны посчастливилось вырасти в Ричмонде... ("А может, даже и в Чарльстоне", -- вздохнул Шрив)... на него смотрит, и он даже никогда не мог вспомнить, что' этот черномазый говорил, как этот черномазый ему сказал, прежде чем он успел объяснить, для чего он туда явился, чтоб он больше никогда не смел подходить к парадной двери, а отправлялся прямо к заднему крыльцу.

Он даже не помнил, как оттуда ушел. Он вдруг увидел, что бежит уже на довольно большом расстоянии от дома и совсем не в сторону своей хижины. Он говорил, что не плакал. Он даже не обиделся. Ему просто надо было собраться с мыслями, и потому он направился туда, где мог спокойно посидеть и подумать. Он пошел в лес. Он говорил, что не приказывал себе, куда идти, его тело и ноги сами пошли туда -- к тому месту, где звериная тропа углублялась в заросли тростника, а рухнувший дуб образовал нечто вроде норы, где он держал чугунную сковородку, на которой иногда жарил мелкую дичь. Он говорил, что забрался в эту нору, прислонился к вырванному из земли корневищу и стал думать. Он еще не мог разобраться, что же с ним произошло. Он даже еще не понял, что вся его беда, вся незадача заключается только в его невинности -ведь понять это он мог лишь после того, как во всем разберется. Поэтому он стал копаться в своем скудном жизненном опыте в поисках какой-нибудь мерки, которую можно было бы приложить к этому происшествию, но так ничего и не нашел. Ему велели отправляться к заднему крыльцу еще прежде, чем он успел изложить данное ему поручение; между тем он вырос среди людей, в чьих домах вообще не было никакого заднего крыльца, а лишь окна, и через окна входил или выходил тот, кто хотел либо спрятаться, либо убежать, он же не прятался и не бежал. Ведь он пришел по делу, чистосердечно полагая, что говорить по делу можно с каждым. Он, разумеется, не ожидал, что его пригласят к столу -ведь время, расстояние от одного кухонного горшка до другого не измеряют днями и часами; возможно, он вообще не ожидал, что его пригласят в дом. Но он ожидал, что его выслушают, потому что он пришел, был послан по делу, которое -- хотя он не помнил и в то время (по его словам), возможно, даже и

не понимал, в чем оно состоит, -- было, конечно, как-то связано с плантацией, благодаря которой существовал на свете этот красивый белый дом, эта красивая, белая, окованная медью дверь и даже суконная ливрея, белье и шелковые чулки той черномазой обезьяны, которая отправила его к заднему крыльцу прежде, чем он успел хотя бы изложить свое дело. Вроде как если бы его послали отнести кусок свинца или даже отлитые пули, чтобы владелец того прекрасного ружья мог ими пострелять, а тот подошел бы к дверям, велел ему оставить пули на пеньке у опушки леса и даже не позволил подойти поближе полюбоваться ружьем.

Потому что он вовсе не обиделся. Он упорно твердил это дедушке. Он просто размышлял; он понимал: необходимо что-то сделать, непременно надо что-то сделать, иначе он до конца дней своих не сможет жить в ладу с самим собой; но что именно надо сделать -- он не знал, не знал из-за той невинности духа, которую он только что в себе открыл и с которой (именно с этой невинностью, а не с этим человеком и не с обычаем) ему и придется вступить в борьбу. Единственный масштаб, мерило, давало ему сравнение с ружьем, но оно тут ровно ничего не объясняло. Он был совершенно спокоен, говорил он; охватив руками колени, он сидел в своей маленькой берлоге у звериной тропы, и, когда ветер дул в его сторону, в каком-нибудь десятке футов от него несколько раз проходили олени; сидел и потихоньку вел спор с самим собой, и оба спорщика соглашались, что надо бы спросить кого-нибудь постарше и похитрее. Но никого такого не было, был только он один, вернее, в его теле их было двое, и эти двое тихо и мирно спорили друг с другом {Но ведь я могу его пристрелить} (не черномазую обезьяну. Этот черномазый значил не больше, чем тот, которого его отец в ту ночь отдубасил. Этот черномазый опять-таки был всего лишь намалеванной на воздушном шаре

надутой гладкой рожей, которая заливалась таким зычным, громким и жутким смехом, что он не смел ее проткнуть; и в ту секунду, когда она, загородив полуоткрытую дверь, смотрела на него сверху вниз, какая-то частица его существа от него отделилась и -- он даже не мог закрыть ей глаза -- уставилась на него из той самой намалеванной на шаре рожи, точь-в-точь как тот человек, которому даже незачем было носить свои собственные башмаки, человек, которого этот шар своим смехом защищал и ограждал от всех ему подобных, из какого-то невидимого места, где бы ему (тому человеку) в ту минуту ни случилось быть, смотрел на косолапого босоногого мальчишку, стоявшего перед закрытой дверью в своей залатанной одежонке, смотрел сквозь него и через него, а сам он увидел своего отца, братьев и сестер такими, какими, наверно, видел их все время хозяин, богач (а не черномазый) -- скотами, тупыми уродливыми тварями, которых грубо вышвырнули в этот мир, где не было для них ни надежды, ни цели, и которые, в свою очередь, будут бесконечно плодиться и размножаться и, удваивая, утраивая, многократно умножая свое число, заполнят мировое пространство и землю отвратительным племенем, которому в будущем предстоит носить все те же ушитые, латаные-перелатаные одежки, купленные ими, потому что они белые, в кредит по грабительской цене в лавках, где черномазые получают ту же одежду бесплатно, а единственное их наследство -- это намалеванная на воздушном шаре, захлебывающаяся от смеха рожа, которая глядела на какого-то забытого безымянного прародителя, когда он маленьким мальчиком постучался в дверь, и черномазый прогнал его на заднее крыльцо): {Но я могу его пристрелить}, -говорил он самому себе, а тот, другой, возражал: {Нет. От этого не будет никакого проку}; и тогда первый спрашивал: {Так что же нам делать?}, а второй

отвечал: {Не знаю}, а первый: {Но ведь я могу его застрелить. Я проберусь туда сквозь кусты, дождусь, когда он придет и ляжет в гамак, и пристрелю его}; второй же говорил: {Нет. От этого не будет никакого проку}; и тогда первый спрашивал: {Так что же нам делать?}, а второй говорил: {Не знаю}.

В конце концов он проголодался. Он вышел из дому еще до обеда, а теперь в его тайнике было уже темно, хотя он видел, что солнце все еще освещает верхушки деревьев вокруг. Но желудок говорил ему, что уже поздно, а когда он придет домой, будет еще позже. И вот тут-то, по его словам, он начал думать {Домой}. Домой и сначала ему показалось, что он хочет засмеяться, и он продолжал уверять себя, будто смеется, даже когда понял, что это вовсе никакой не смех; домой, подумал он, когда вышел из лесу, приблизился к своей лачуге и увидел прогнившие необтесанные бревенчатые стены, просевшую прохудившуюся крышу -- никто и не думал заменять недостающие дранки, а под те места, где крыша протекала, просто подставляли тазы и ведра; пристройку, служившую кухней, -- она была в самый раз, потому что в сухую погоду никто не замечал, что печка без трубы, а когда шел дождь, ею просто не пользовались; во дворе он увидел сестру -- склонившись над корытом, она мерно сгибала и разгибала спину; на ней было бесформенное ситцевое платье, стоптанные отцовские башмаки без шнурков хлопали ее по голым ногам; широкозадая, как корова, она равнодушно и тупо выполняла свой неблагодарный труд, тяжелую, доведенную до своей грубой первоосновы бессмысленную работу, которую способна выдержать лишь тупая бессловесная тварь, и только теперь сказал он, он впервые задался вопросом, что сказать отцу, когда тот спросит, выполнил ли он поручение, сказать ему правду или соврать -- ведь, если он соврет, обман

может тотчас же открыться: хозяин, наверно, уже послал черномазого узнать, почему отец не сделал, что ему было велено, и даже ничем не отговорился -- если в этом состояло поручение, в чем (зная своего отца) он был почти уверен. Но отец еще не возвращался, и пока все обошлось. Зато сестра, казалось, только и ждала -- не дров, а того, что он придет и даст ей возможность пустить в ход свои голосовые связки, и не успел он появиться, как она тут же набросилась на него с криками, требуя, чтоб он принес ей дров; он не отказывался, не возражал, он просто ее не слушал, не обращал на нее внимания, потому что все еще думал. Потом пришел отец, сестра на него пожаловалась, и старик отправил его за дровами; его не спросили о поручении ни за ужином, ни когда он улегся на тюфяк -- лечь в постель означало просто растянуться на тюфяке, -- однако он не уснул, а просто лежал, подложив под голову руки, но о поручении опять не было речи, и он так и не мог решить -соврать или нет. Ведь, как он говорил дедушке, самое страшное до него еще не дошло; он просто лежал, а те двое, расположившись поудобней у него внутри, не перебивая друг друга, спокойно, рассудительно и беззлобно продолжали свой спор: {Но я могу его убить. -- Нет. От этого не будет никакого проку. -- Что ж нам тогда делать? -- Не знаю}; -- а он, по его словам, без особого любопытства прислушивался, а потом даже и слушать перестал, хотя слова все еще доходили до его сознания. В голове его теснились совсем непрошеные мысли, они возникли сами по себе, потому что хотя они и были вполне естественны для мальчишки, для ребенка, он не обращал никакого внимания и на них, потому что всякому мальчишке пришло бы в голову то же самое, и ему было ясно: чтобы сделать то, без чего он не сможет жить в ладу с самим собой, он должен сначала все хорошенько обмозговать, как подобает мужчине, и вот

он думал {Черномазый так и не дал мне ничего ему сказать, и теперь он (опять-таки не черномазый) ничего про это не узнает, а того, что надо было сделать, теперь никто не сделает, и он про это тоже не узнает, а когда узнает, то будет слишком поздно, ну и поделом ему: чего он своему черномазому велел такими делами заниматься, а вдруг меня послали сказать, что у него горит конюшня или дом, а черномазый и тогда не дал бы мне и слова вымолвить, его предупредить}. А потом, говорил он, он вдруг перестал думать, а вроде как бы крикнул, да так громко, что могли услышать сестры на другом тюфяке и храпевший спьяну отец с двумя малышами на кровати {Он так и не дал мне ничего сказать, а папаня так и не спросил меня, сказал я ему или нет, и потому он вовсе не знает, что папаня хотел ему чего-то передать; так выходит, ему все равно, узнает он про это или нет, а папане и подавно; выходит, я туда пришел, только чтобы тот черномазый велел мне больше никогда не подходить к ихней парадной двери; и выходит, если б я ему сказал, ему бы это не помогло, а если б не сказал, ему бы это не повредило; вот и выходит, что я ничем на свете не могу ни помочь ему, ни повредить}. И вот, рассказывал он, произошел как бы взрыв -- яркая ослепительная вспышка, она появилась и исчезла, не оставив за собой ни пепла, ни других следов; перед ним открылась бесконечная плоская равнина, посреди которой, словно памятник, торчала суровая глыба его нерушимой невинности, и эта невинность поучала его так же спокойно, как разговаривали те двое, она использовала его же сравнение с ружьем, и когда она говорила они вместо он, это значило гораздо больше, чем все вместе взятые ничтожные людишки, которые могут целый день валяться в гамаках без башмаков; и он размышлял: "Если ты задумал воевать с теми, у кого есть хорошие ружья, ты должен первым делом раздобыть себе ружье,

хотя бы и похуже, чем у них, -- взять его взаймы, украсть или смастерить сам, верно?" -- и отвечал себе: "Верно. Да только дело не в ружье. Если ты задумал с ними воевать, тебе надо, чтоб у тебя было все, что есть у них, все, что позволяет им поступать так, как поступил тот человек. Надо, чтоб у тебя была земля, черномазые и красивый дом, и тогда ты сможешь с ними воевать. Понял?" -- и снова согласился: "Понял". В ту ночь он ушел. Он проснулся до рассвета, встал с постели точно так же, как и лег: просто поднялся с тюфяка и на цыпочках вышел из дома. Он больше никогда не видал своих родных.

-- Он отправился в Вест-Индию. -- Квентин не шелохнулся, даже не поднял головы, в задумчивости склоненной над раскрытым письмом; оно лежало на раскрытом учебнике, по обе стороны которого лежали на столе его руки; одна половина листа, в том месте, где проходила пересекавшая его складка, поднялась кверху под косым утлом и стояла, ни на что не опираясь, словно уже наполовину проникла в тайну преодоления силы тяжести. -- Так сказал сам Сатпен. Они с дедушкой теперь сидели на бревне, потому что собаки потеряли след. То есть они нашли дерево, с которого он (архитектор) никак не мог слезть, но на которое он, несомненно, забирался: они нашли шест, к которому были привязаны его подтяжки -- с его помощью он и залез на дерево; правда, сперва они никак не могли взять в толк, при чем тут подтяжки, и только часа через три их осенило, что архитектор использовал свою архитектуру и физику, чтобы от них ускользнуть, -- так человек в минуту смертельной опасности всегда прибегает к тому, что умеет лучше всего: убийца -- к убийству, вор -- к воровству, лжец -- ко лжи. Если даже он (архитектор) не мог знать, что Сатпен приведет собак, про диких черномазых он знал и потому залез на это дерево, втащил за собою шест,

рассчитал нагрузку, дистанцию и траекторию и перепрыгнул на ближайшее соседнее дерево, преодолев расстояние, какого не смогла бы преодолеть никакая белка, и, перепрыгивая с дерева на дерево, прошел не меньше полумили, прежде чем снова ступил ногою на землю. Только через три часа один из диких черномазых (собаки ни за что не отходили от дерева, они были уверены, что он там сидит) отыскал место, где он спустился вниз. И вот они с дедушкой сидели на бревне и разговаривали; тем временем другой черномазый сбегал обратно в лагерь за едой и остатками виски, потом они затрубили в рог, созвали остальных и поели, а пока они ждали, он рассказал дедушке, что было дальше.

Он отправился в Вест-Индию. Так сказал сам Сатпен; он не говорил, как он узнал, где Вест-Индия находится, как он добрался до места, где стояли суда и как попал на одно из них; не говорил, понравилось ли ему море, не рассказывал, как тяжело живется морякам, а ведь ему, мальчишке четырнадцати или пятнадцати лет, который прежде никогда не видел океана и вышел в море в 1823 году, наверняка пришлось там тяжко. Сидя с дедушкой на бревне -- собаки между тем все лаяли и лаяли под деревом, где, как они думали, засел архитектор, потому что куда ж он мог деваться, -- он просто сказал: "И вот я отправился в Вест-Индию", -- точно так же тридцать лет спустя, сидя у дедушки в конторе (на этот раз он был в своей великолепной форме, которая, правда, слегка замусолилась и поизносилась за три года войны; в кармане позвякивали монеты, борода тоже никогда не была краше -- борода, тело и ум его достигли той высшей точки, когда соединяются воедино все качества, составляющие зрелого мужчину, и когда он может наконец сказать {Я добился всего, чего хотел, и при желании могу теперь остановиться, и никто на свете, даже я сам, не упрекнет меня в лености} --

возможно, это и есть та самая минута, которую Судьба всегда выбирает, чтобы огреть тебя по башке, да только эта высшая точка кажется такой надежной и прочной, что сразу не заметишь, как покатился под уклон, и вот, слегка вскинув голову -- никто точно не знал, то ли он кому-то подражает, то ли позаимствовал эту позу из той самой книжки, по которой учил слова и выспренние цветистые обороты; он, говорил дедушка, уснащал ими свою речь, даже когда просил спичку, чтобы раскурить сигару, или предлагал сигару; причем в этом не было ничего суетного, ничего смешного, благодаря невинности духа, которой он так никогда и не утратил, ведь после того, как той ночью она наконец указала ему, что делать, он и думать о ней забыл и знать не знал, что она еще при нем осталась), он сказал дедушке -заметь себе: просто сказал, он не искал никаких извинений или сочувствия, ничего не объяснял и не оправдывал; он просто сказал дедушке, что отстранил свою первую жену, все равно как поступали короли в XI и XII веке: "Я убедился, что она, без всякой провинности со своей стороны, не может и никогда не сможет споспешествовать и благоприятствовать выполнению цели, которую я себе поставил, и потому я ее обеспечил и отстранил", -- и вот, сидя с дедушкой на бревне в ожидании, когда черномазые возвратятся с остальными гостями и принесут виски, он тем же тоном продолжал: "Итак, я отправился в Вест-Индию. За одну неполную зиму я получил начатки образования, благодаря которым узнал о существовании Вест-Индии и уяснил себе, что она в высшей степени отвечает моим намерениям". Он не помнил, каким образом попал в школу. Вернее, почему отец вдруг ни с того ни с сего решил послать его учиться; какое смутное виденье могло возникнуть в той смеси паров спиртного, расправ над черномазыми и всевозможных уловок с целью уклониться от работы, которая образовалась в голове

старика -- едва ли это были честолюбивые мечты о славе, о том, чтобы сын его занял более высокое положение в обществе, или минутная вспышка безотчетного отвращения к лачуге, сквозь дырявую крышу которой заливало дождем не один десяток семей, как и они, приходивших, ютившихся там и исчезавших, не оставив за собой никакого следа, ничего, ни грязных тряпок, ни черепков; нет, скорее, это была черная зависть к двум или трем плантаторам, с которыми ему временами приходилось сталкиваться. Как бы там ни было, одну зиму он почти три месяца подряд ходил в школу -- подросток лет тринадцати или четырнадцати сидел в комнате, битком набитой ребятишками; он был на три или четыре года старше любого из них и на столько же лет от них отстал; он наверняка не только на целую голову перерос самого учителя (а что за учитель обучал детей в сельской школе, состоящей из одной-единственной комнатушки в самом сердце плантаций Тайдуотера, нетрудно себе представить), но и вообще казался взрослее его; кроме здравого смысла, настороженности и сдержанности горца, он, несомненно, принес с собой в школу врожденное отвращение ко всякой дисциплине, о которой он даже и не подозревал, как, впрочем, сперва не подозревал и о том, что учитель его побаивается. Нельзя назвать это своеволием или гордостью; это была скорее воспитанная уединением уверенность в себе -- ведь по крайней мере некоторые из его предков были горцами (мать его родилась в горах Шотландии и, судя по тому, что он рассказывал дедушке, так никогда и не научилась толком говорить по-английски); как бы там ни было, эти его свойства запрещали ему снисходить до заучивания правил арифметики и тому подобной сухой материи, но зато не мешали внимательно слушать, когда учитель читал вслух. "В школе, -рассказывал он дедушке, -- я мало чему научился, не считая того, что

все, находящееся в пределах возможностей человека, большинство хороших и дурных деяний, влекущих за собой хвалу, посрамление или награду, уже совершены, и узнать о них можно только из книг. Поэтому, когда он нам читал, я слушал. Теперь я понимаю, что он по большей части прибегал к чтению вслух, лишь убедившись, что все ученики того и гляди встанут и разбегутся. Но что бы ни заставляло его нам читать, я все равно слушал, хотя и не знал, что услышанное подготовит меня к осуществлению моего позднейшего замысла гораздо лучше, нежели вся таблица умножения, которую я мог бы выучить по книжке. Так я узнал про Вест-Индию. Не про то, где она расположена, -- знай я тогда, что эти сведения могут позднее сослужить мне службу, я бы узнал и про это тоже. А узнал я то, что есть на свете местность под названием Вест-Индия, куда бедняки уплывали на кораблях и где они богатели -- как именно, неважно, коль скоро человек был умен и смел; последним качеством я, как я думал, был наделен, что же до первого, то, как я думал, если его можно приобрести в школе жизни усилием воли и энергией, я непременно его приобрету. Помню, как однажды вечером после уроков я дождался, вернее, подстерег учителя; это был плюгавый человечек, всегда как бы покрытый пылью, словно он родился и всю жизнь прожил на чердаках и в чуланах. Помню, как при виде меня он отпрянул и я тогда подумал, что, если б я его ударил, он даже не посмел бы крикнуть, послышался бы только звук удара и взвились клубы пыли, какие поднимаются в воздухе, когда выколачивают висящий на веревке половик. Я спросил его, правда ли то, что он нам читал про людей, которые поехали в Вест-Индию и там разбогатели. "Конечно, правда, -- отвечал он, отпрянув. -- Ты же слышал, что это написано в книге". -- "А почем я знаю, что вы читаете то, что написано в книге?" -- спросил я его. Понимаете, я был тогда самым

настоящим неучем, деревенщиной. Я даже не умел еще прочитать свое собственное имя и, хотя ходил в школу уже почти три месяца, смею вас уверить, что знал не больше, чем в тот день, когда впервые переступил порог классной комнаты. Но, понимаете, мне необходимо было это узнать. Быть может, человек закладывает основу своего будущего не одним способом, а несколькими, строит в расчете не только на свое тело, которым он сможет располагать и завтра, и в будущем году, но и на поступки, и на неотвратимо вытекающие из них последствия, которых его слабые чувства и разум не могут предвидеть, но которые он через десять, а то и через двадцать или тридцать лет предпримет, должен будет предпринять, чтобы эти поступки пережить, -- возможно, именно такое безотчетное побуждение и заставило меня схватить его за руки в ту минуту, когда он от меня отпрянул (я, в сущности, не подвергал сомнению его слова. Я думаю, что даже в то время, даже мальчишкой, я понял, что он не мог этого выдумать, что он был неспособен обмануть даже малого ребенка. Но, понимаете, мне надо было знать все это точно, я должен был во что бы то ни стало узнать все это точно. А у меня под руками был только он, и больше ничего) и, в ужасе глядя на меня, старался вырваться, а я крепко держал его и спокойно, совершенно спокойно -- ведь мне надо было только узнать -- говорил: "А что, если я туда поеду и увижу, что это неправда?"; он закричал: "Спасите! Помогите!" -- и я его выпустил. И вот, когда настало время, когда я понял, что для претворения в жизнь моего замысла прежде всего и главным образом потребуются деньги, и притом в значительном количестве и в самом ближайшем будущем, я вспомнил то, о чем он нам читал, и отправился в Вест-Индию".

Тут стали собираться остальные, а вскоре вернулись и черномазые с кофейником, оленьим окороком и с

виски (и с бутылкой шампанского, про которую, по словам дедушки, они раньше забыли), и Сатпен на время умолк. И ничего больше не рассказывал, пока они не кончили есть и не уселись в кружок, закурив сигары, между тем как черномазые и собаки совершали вылазки во все стороны. Им пришлось оттаскивать собак от дерева и особенно от шеста с подтяжками, словно этот шест был последним предметом, который хранил не только следы архитектора, но и следы восторга, охватившего его, когда он нашел еще одну возможность от них ускользнуть, и собак этот восторг взбесил. Черномазые и собаки уходили все дальше, и, наконец, перед самым заходом солнца один черномазый издал клич, и тогда Сатпен (он, по словам дедушки, некоторое время молча лежал, опершись головою на руку; он был в хороших сапогах, в своих единственных брюках и в рубашке -- он надел их, когда вылез из болота и умылся, очевидно, поняв, что если он хочет поймать архитектора живым, он должен сам пуститься за ним в погоню; он молчал и, возможно, не слушал, как другие говорили о политике и о хлопке, а только курил дедушкину сигару, смотрел на тлевшие угли, возможно, еще раз мысленно совершая то путешествие в Вест-Индию, которое проделал четырнадцатилетним мальчишкой, даже не зная, куда он едет, приедет ли когда-нибудь туда или нет -- ведь он не мог проверить, врут или не врут люди, сказавшие, что корабль отправляется именно туда, как прежде не мог проверить, правду или неправду говорит учитель о том, что написано в книге. И он никогда не рассказывал, тяжело ли далось ему путешествие и что он пережил в пути. Но ведь он был уверен, что нужны только смелость и ум и что смелость у него есть, а ум будет, если только его можно приобрести, и, наверное, его даже утешало, что путешествие было тяжелым, а значит, люди, сказавшие, что судно направляется в

Вест-Индию, не соврали; дедушка говорил, что в то время он, наверное, не мог поверить ни во что простое и легкое), тогда Сатпен сказал: "Это здесь", -встал, и все двинулись вперед и нашли место, где архитектор снова спустился на землю, выиграв у них почти три часа. Поэтому им теперь пришлось поторопиться, и разговаривать было некогда, во всяком случае, по словам дедушки, он явно не собирался продолжать свой рассказ. Наконец солнце село, и гостям надо было возвращаться в город, и все уехали, кроме дедушки: он хотел послушать, что было дальше. Поэтому он попросил одного из гостей передать, что не будет ночевать дома (он тогда еще не был женат), и они с Сатпеном продолжали идти вперед, пока не стемнело. Двое черномазых еще раньше отправились обратно за едой и одеялами (до лагеря было уже миль тринадцать). Потом спустилась ночь, и черномазые стали зажигать сосновые ветки, и они прошли еще немного по следу, стараясь продвинуться как можно дальше -- ведь архитектору с наступлением темноты непременно придется залечь в какую-нибудь нору, чтобы не блуждать по кругу. Дедушке запомнилось, как они с Сатпеном ведут в поводу лошадей (оглядываясь назад, он видел, как в глазах лошадей отражается свет факелов; они вскидывают головы, и по их бокам и спинам ползут черные тени); впереди бегут собаки; черномазые (они почти все голые, лишь там и сям промелькнет пара штанов) несут дымящиеся факелы, алые отблески пламени играют у них на руках, на круглых, как шары, головах; глина, которой они обмазались на болоте, спасаясь от москитов, высохла, затвердела и переливается, как стекло или фарфор; их тени то удлиняются, то совсем исчезают; даже деревья, кусты и заросли тростника то появляются, то совсем исчезают, хотя ты знаешь, что они все время здесь, потому что ощущаешь их своим дыханием, словно,

оставаясь невидимыми глазу, они вытесняют и сгущают невидимый воздух, которым ты дышишь. И тут Сатпен снова заговорил, и прежде, чем дедушка понял, что это продолжение рассказа, ему подумалось, что в судьбе человека (или в самом человеке) заложено нечто заставляющее судьбу к нему прилаживаться -- как бывает с одеждой, например с сюртуком -- новый он будет впору тысяче людей, а стоит кому-нибудь его поносить, он уж больше не подойдет никому, и тогда его не спутаешь ни с каким другим, даже если увидишь только рукав или воротник, и вот его... ("Демонова", -- вставил Шрив)... судьба приладилась к нему, к его невинности, к его природной склонности и героической мелодраме, к его детской непосредственности, точь-в-точь как парадная форма тонкого сукна -- в такой же четыре года ходили десятки тысяч мужчин, -- в которой он явился в контору к дедушке тридцать лет спустя, приладилась к его спеси и к выспренним цветистым выражениям, в каких он спокойно, с невинной откровенностью -- мы называем ее детской, хотя дитя человеческое единственное в мире живое существо, которое никогда не бывает ни невинным, ни откровенным, -- излагал нечто в высшей степени простое и в высшей степени страшное. Он рассказывал, что было с ним дальше; он уже как бы вернулся в то место, о котором говорил, хотя еще ни словом не обмолвился ни о том, как он туда попал, ни о том, каким образом произошли те события, участником которых он оказался (в то время, о котором шла речь, ему было, наверно, уже лет двадцать; он притаился у окна и стрелял в темноту из ружья, которое заряжал и подносил ему кто-то другой); вместе с дедушкой он перенесся в осажденный дом на острове Гаити так же легко и просто, как перенесся в Вест-Индию -- сказал, что решил отправиться в Вест-Индию, и так и сделал. Случай, о котором он теперь говорил, вовсе не вытекал

из рассказанного раньше, а просто всплыл у него в памяти при виде шагавших перед ними черномазых с факелами; он не говорил, как он туда попал, что произошло за шесть лет, отделявших тот день, когда он решил отправиться в Вест-Индию и разбогатеть, от той ночи, когда он -надсмотрщик, десятник или еще что-то в этом роде, служивший у француза -владельца сахарной плантации, -- сидел, забаррикадировавшись в доме вместе с семьей плантатора. И тут, по словам дедушки, впервые была упомянута некая тень; она на мгновенье как бы возникла, а потом снова рассеялась, хотя и не совсем, тень... ("Это девушка, -- вмешался Шрив. -- Можешь мне этого не говорить. Просто продолжай, и все")... женщины, о которой он тридцать лет спустя скажет дедушке, что, убедившись в ее несоответствии его замыслу, он ее отстранил, хотя и обеспечил; там было еще несколько насмерть перепуганных мулаток-служанок, и ему приходилось то и дело отрываться от окна, чтобы пинками и бранью заставить их помогать этой девушке заряжать ружья, из которых они с плантатором стреляли в окна. И дедушка наверняка твердил: "Подождите, бога ради подождите", -- совсем как ты, и он наконец остановился, вернулся назад и начал все сначала, хотя бы для того, чтобы у событий были хоть какие-то причины и следствия, раз уж они не имели никакой логической последовательности и связи. А может, просто потому, что теперь они уже снова сидели, решив, что на сегодня хватит, и черномазые разбили лагерь, приготовили ужин, и они (он с дедушкой) выпили виски, поели и уселись у костра, и он повторил все сначала, и все-таки не до конца было ясно, как и почему он очутился там и кем он был, потому что он говорил не о себе. Он просто рассказывал какую-то историю. Он не хвастался чем-то, чего достиг, он просто рассказывал историю о чем-то, что произошло с

человеком, которого звали Томас Сатпен, и эта история ничуть не изменилась бы, если б того человека вообще никак не звали и если б ее рассказывали вечером за стаканом виски о любом первом встречном, а то и вообще ни о ком.

Может, это заставило его сбавить скорость. Но от этого история ничуть не прояснилась. Он все еще рассказывал дедушке вовсе не о жизни человека, которого звали Томас Сатпен. По словам дедушки, о тех шести или семи годах, которые должны были где-то пройти и действительно прошли, он только сказал, что ему пришлось выучить местное наречие -- иначе он не мог занять место надсмотрщика, -- а также французский язык, если не для того, чтобы сделать предложение своей будущей жене, то хотя бы для того, чтобы суметь от нее отречься уже после женитьбы; он рассказал дедушке, что сначала думал, будто смелости и ума будет достаточно, но затем понял, что ошибся, и пожалел, что кроме сведений о Вест-Индии не приобрел в школе никаких других познаний, когда открыл, что не все люди говорят на одном языке, и увидел, что ему потребуется не только смелость и ловкость, но придется еще выучить новый язык, иначе замысел, которому он себя посвятил, окажется мертворожденным, и вот он выучил этот язык -- наверно, так же, как выучился ремеслу моряка; дедушка спросил его, почему он не взял себе какую-нибудь девушку, чтобы, живя с нею, усвоить язык самым простым способом, а он сидел у костра, на его лице и бороде играли отблески пламени, и, глядя на дедушку своими спокойными и ясными глазами, ответил -- по словам дедушки, это был единственный случай, когда он выразил свою мысль просто и ясно: "В ту ночь, о которой я рассказываю (и, я мог бы добавить, до моей первой женитьбы), я был еще целомудрен. Вы, наверно, этому не поверите, а если я начну вам объяснять,

усомнитесь еще больше. Поэтому я только скажу, что это тоже было частью моего замысла", и тогда дедушка спросил: "Почему вы думаете, что я вам не верю?" -- а он, снова бросив на дедушку тот же спокойный ясный взгляд, проговорил: "Неужели верите? Вряд ли вы обо мне такого низкого мнения, чтобы поверить, будто в двадцать лет я еще не испытал соблазна и сам никого не соблазнил", и тогда дедушка сказал: "Вы правы. Мне не следовало вам верить. Но я верю". Итак, это был рассказ не о женщинах и, уж конечно, не о любви; женщина, девушка, была всего лишь тенью, которая могла заряжать ружье, но которой нельзя было позволить выстрелить из окна в ту ночь (или в те семь или восемь ночей, что они провели, притаившись во тьме и глядя в окна на объятые пламенем и дымом поля, амбары, житницы, словом, как еще там зовутся помещения, где хранят урожай сахарного тростника; он рассказывал, как все было пропитано этим запахом, густым, терпким, сладковатым запахом, словно ненависть и жестокость и породившие эту ненависть и жестокость тысячелетия темных страшных тайн многократно усилили запах сахара; и при этих словах дедушка вспомнил, что Сатпен никогда не пил кофе с сахаром, и теперь он (дедушка) понял почему, но все-таки для верности спросил еще раз, и Сатпен сказал, что это правда и что он не испытывал страха, пока не сгорели дотла все поля и амбары и пока они не забыли даже самый запах горящего сахара, но что с тех пор он не переносит сахар), она лишь на мгновенье возникла в рассказе, чуть ли не в одном-единственном слове; дедушке даже показалось, будто ее озарило вспышкой ружейного выстрела, и перед ним на мгновенье мелькнула склоненная голова, щека, подбородок за прядями распущенных волос, шомпол в маленькой узкой белой руке -- и все. Больше никаких подробностей -так же коротко и сжато он рассказывал и о том, как

пришел в осажденный дом с полей, где выполнял обязанности надсмотрщика, когда черномазые набросились на него со своими мачете, и о том, как попал на эти поля из полуразвалившейся виргинской лачуги; и это казалось дедушке еще более невероятным, чем даже путь на эти поля из Виргинии, потому что путь из Виргинии подразумевал пространство, которое надо было преодолеть за какое-то время -- ведь время длиннее любого расстояния; тогда как с полей в осажденный дом он прорвался с неистовой скоростью, презрев и пространство и время; этот путь был столь же кратким, сколь и самый его рассказ, потому что время как бы сжалось, превратилось в мерило этой скорости, да и рассказывал он об этом легко и небрежно, словно занятный анекдот из судебной хроники -- очевидно, излагая эти события так, как они ему запомнились, со сдержанным беспристрастным любопытством, которое даже страх (единственный раз, когда он упомянул о страхе, он в присущей ему манере говорил о времени, когда еще не испытывал страха или еще не начал его испытывать) не мог вытеснить. Ведь, по словам дедушки, он испугался только тогда, когда все уже кончилось, потому что все это было для него не более как спектаклем, зрелищем, которое надо непременно посмотреть, ибо такая возможность едва ли повторится -- ведь его невинность еще продолжала действовать, и он не только не знал, что такое страх, пока все не кончилось, он даже не знал, что сначала не испугался; он даже не знал, что нашел то место, где человек может быстро добыть себе деньги, если он смел и умен (дедушка говорил, что он имел в виду не ум, а скорее неразборчивость в средствах, просто он не знал такого выражения -его, наверное, не было в книге, которую читал им учитель. А может, это понятие он вкладывал в слово "смелость", сказал дедушка), но где деньгам сопутствует высокая

смертность, где доллары отливают не золотом, а кровью, клочок земли, который, по словам дедушки, небеса специально создали и отвели под сцену, где разыгрываются кровавые драмы насилия и беззаконий, сатанинской алчности и злобы, где обреченные отщепенцы и изгои исступленно бросаются в последнюю отчаянную схватку с роком -- маленький островок в ласковом, коварном, невыразимо синем море, на полпути между тем, что мы называем варварством, и тем, что мы называем цивилизацией, на полпути между загадочным темным континентом, у которого насильники вероломно похитили его черную плоть и кровь, его мысли, память, надежды и чаянья, между ним и холодной знакомой страною, которой суждено было стать им тюрьмой, цивилизованной страной и народом, который отторг от себя тех из своих сынов, чьи дерзновенные мысли и желанья он был не в силах больше терпеть, и забросил их, отчаявшихся и бездомных, в бескрайнюю пустыню океана -маленький затерянный островок, лежащий в широтах, чей климат способны переносить лишь отпрыски древних племен, что десять тысяч лет прожили на экваторе; земля, обильно политая кровью жертв двухвекового порабощения и гнета, которая вскормила мирные луга, алые цветы и молодые побеги сахарного тростника не более четырех дюймов в обхвате, в три раза выше человеческого роста: фунт его, хотя и больше по объему, почти равен по стоимости фунту серебряной руды, словно сама природа вместо человека вела счета, подводила итог и предлагала возмещение за искалеченные тела и разбитые сердца; где посевы природы и человека не только удобрены напрасно пролитою кровью, но и овеяны ветрами, от которых напрасно бежали обреченные корабли, ветрами, под чьим напором погружался в синие волны последний лоскут парусов и замирал последний отчаянный вопль

женщины или ребенка; да и посевы людей, еще нетронутые тела и мозг, чья извечно бессонная кровь, впитавшись в землю, по которой они ступали, и поныне взывает о мести. А он присматривал за всем этим, мирный надсмотрщик верхом на лошади; он изучал язык (эту, как говорил дедушка, тонкую хрупкую нить, что на мгновенье соединяет уголки и края людского одиночества, прежде чем они снова погрузятся во тьму, где впервые раздался никем не услышанный зов души и где он раздастся в последний раз и его вновь никто не услышит), не зная, что ступает по вулкану; он слушал, как по ночам воздух трепещет и дрожит от барабанной дроби и от песнопений, но не подозревал, что этот голос исходит из самой земли; он верил (так говорил дедушка) в доброту и кротость земли и думал, что за тьмою скрывается лишь нечто, доступное или недоступное глазу; он присматривал за тем, что видел, сам не зная, что ничего не видит; он ежедневно совершал вылазки из вооруженной крепости, пока не настал тот самый день. О том, как это случилось, что к этому дню привело, он тоже не рассказывал -- по словам дедушки, он, очевидно из-за своей невинности, сам не знал, не понимал того, что ему приходилось видеть каждый день -- свиную кость, на которой еще торчал кусочек тухлого мяса; пучок куриных перьев; грязный, покрытый пятнами тряпичный узелок с горстью камешков -- старик однажды утром нашел его у себя на подушке, и никто (а меньше всех сам плантатор, который на этой подушке спал) не знал, как он мог туда попасть, потому что одновременно стало известно, что все слуги-мулаты куда-то исчезли, и пока плантатор не сказал ему, что пятна на тряпке не от грязи, не от жира, а от крови, он понятия об этом не имел, равно как и о том, что плантатора охватила вовсе не бешеная ярость, а страх, ужас; ему было просто любопытно, интересно, потому что плантатор и его дочь

все еще оставались для него иностранцами. Он рассказал дедушке, что до той первой ночи осады ему ни разу не пришло в голову, что он не знает, как зовут эту девушку, не знает даже, слышал он ее имя или нет. Он также рассказал дедушке, мимоходом бросил -- так игрок мимоходом вытаскивает из свежей колоды карт джокер, а потом не может вспомнить, вынимал он его оттуда или нет, -- что жена старика была испанкой, и тут дедушка, а отнюдь не сам Сатпен, понял, что до той первой ночи, когда началась атака, он, по всей вероятности, видел эту девушку всего несколько раз. Труп одного из мулатов в конце концов был найден, его нашел Сатпен, он искал его два дня, даже не подозревая, что постоянно натыкается на глухую стену из непроницаемых черных лиц, стену, за которой могло готовиться невесть что -- и, как он позже убедился, так оно и было, и на третий день он нашел труп в таком месте, где никак не мог его не заметить в первый же час первого дня поисков, если б он там находился. Рассказывая это он все время сидел на бревне, он говорил и, по словам дедушки, сопровождал свой рассказ жестами, а ведь дедушка сам видел, как этот человек, голый до пояса боролся с одним из своих собственных диких черномазых при свете костра, пока строился его дом, и продолжал в том же духе при свете фонаря на конюшне уже после того, как наконец добыл себе жену, способную содействовать осуществлению его замысла, боролся без особых церемоний и без всяких рукопожатий и поздравлений, смывал с себя кровь и надевал рубашку, потому что к концу раунда черномазый всякий раз, задыхаясь, навзничь валился на землю, и другой черномазый обливал его водой. Он сидел на бревне и рассказывал дедушке, как в конце концов нашел мулата -- или то, что осталось от мулата, -- и только тогда начал понимать, что положение может стать опасным; а после этого -- осажденный дом; они

пятеро: плантатор, дочь, две служанки и он сам заперлись изнутри; воздух насыщен дымом и запахом горящего тростника; в небе полыхают отблески пожара; воздух дрожит и трепещет от барабанной дроби и песнопений -- маленький затерянный островок под перевернутой вверх дном пустою чашей сменяющих друг друга дней и ночей, и нет ниоткуда подмоги, и даже ветры не проникают сюда из внешнего мира, и лишь унылые, тоскливые пассаты продувают его из конца в конец, а обремененные отзвуком тоскливых голосов умерщвленных женщин и детей, чьи бездомные непогребенные души носятся над пустынным, отгородившим их от мира океаном, -- две служанки и девушка, чьего имени он все еще не знает, заряжают ружья, из которых он и отец этой девушки стреляют не во врага, а в саму гаитянскую ночь, тщетно мечут слабые, еле заметные искорки в душную, тяжелую, кровоточащую, трепещущую тьму -- и все это как раз между ураганами и долгожданным сезоном дождей. Он рассказал, что на восьмую ночь, когда иссяк запас воды и надо было что-то предпринять, он положил ружье на пол, вышел из дома и усмирил их. Он именно так и выразился: вышел и усмирил их, а когда он вернулся, они с дочерью плантатора обручились, и тут дедушка сказал: "Подождите, подождите, -- он наверняка сказал: -- Вы ведь ее совсем еще не знали; вы говорили, что, когда началась осада, вы даже еще не знали, как ее зовут", а он взглянул на дедушку и сказал: "Да. Но ведь я и поправился далеко не сразу". И ни слова о том, как он усмирил негров. Об этом тоже не было речи, это тоже не имело значения для его рассказа; он просто положил ружье, велел кому-то открыть запертую засовом дверь, потом снова ее за ним закрыть, вышел в темноту и усмирил их -- то ли тем, что кричал громче их, то ли тем, что мог вынести, выдержать больше, чем любая плоть и кровь, по их мнению, может или должна

выдержать (да, да, вот именно, должна, и это было самое ужасное -- что нашлась плоть, которая выдержала больше, чем от нее надо требовать), а возможно, в конце концов они сами повернулись и в ужасе кинулись прочь от белого человека, из чьих рук и ног, таких же, как у них, могла брызнуть и политься такая же кровь, но в чьем теле жил неукротимый дух: он, очевидно, родился в том же первозданном огне, что и они, хотя и не мог, никоим образом не мог в нем родиться. Он показал дедушке рубцы от ран; одна из них, по словам дедушки, могла оставить его целомудренным навеки. Потом забрезжил рассвет, барабаны впервые за восемь дней умолкли, и они (вероятно, старик с дочерью) выбрались из дома, прошли по выжженной земле -над ней как ни в чем не бывало светило яркое солнце -- по этой жуткой немыслимой пустыне, объятой мирной тишиной, отыскали его, принесли в дом, а когда он поправился, они с девушкой обручились. На этом он все оборвал.

-- Ладно, -- сказал Шрив. -- Продолжай.

-- Говорят тебе, что он все оборвал, -- сказал Квентин.

-- Слышу. Оборвал что? Он был помолвлен, потом все оборвал, и тем не менее у него была жена, которую он позже бросил, -- так, что ли? Ты говорил, будто он не помнил, как приехал на Гаити, не помнил, как попал в дом, окруженный черномазыми, а теперь ты хочешь мне сказать, будто он даже не помнил, как женился? Что он обручился, потом решил все оборвать, но в один прекрасный день обнаружил, что не только ничего не оборвал, а наоборот, уже женат? И ты еще утверждаешь, что он был целомудрен?

-- Оборвал -- это значит умолк, оборвал свой рассказ, -- отвечал Квентин. Он сидел неподвижно, и слова его, казалось, были обращены (если он вообще к чему-нибудь обращался) к письму, лежавшему на столе

между страницами раскрытой книги, по обе стороны которой лежали его руки. Сидевший напротив Шрив набил трубку и снова ее выкурил. Белесый пепел из перевернутой вверх дном головки веером просыпался на стол перед скрещенными голыми руками Шрива, который, казалось, одновременно и опирался ими о стол, и, прижав их к груди, пытался согреться -- было всего одиннадцать часов, но комната уже начала остывать; к полуночи батареи будут теплыми лишь настолько, чтоб не замерзли трубы, а он еще должен пойти в спальню (сегодня вечером он не будет делать дыхательных упражнений возле открытого окна), откуда вернется сначала в купальном халате, потом в пальто, натянутом на халат, и с пальто Квентина, переброшенным через руку. -- Он просто сказал, что обручился, -- продолжал Квентин, -- а потом оборвал свой рассказ. Просто оборвал, сказал дедушка, раз и навсегда, словно все было исчерпано, говорить больше было не о чем, и за бутылкой виски один собеседник не мог услышать от другого больше ничего интересного. Может, так оно и было. -- Он (Квентин) сидел, опустив голову. Он все еще говорил тем же странным, глухим, даже чуть-чуть сердитым голосом, и потому Шрив с самого начала следил за ним с пристальным вниманием и любопытством -- выражение это на его физиономии ученого херувима еще больше усиливали, а возможно, даже создавали его очки. -- Сатпен просто-напросто поднялся, посмотрел на бутылку виски и сказал: "На сегодня хватит. Нам надо выспаться -- завтра рано вставать. Может, нам удастся поймать его, пока он еще не успеет очухаться".

Но это им не удалось. Они поймали его -- я имею в виду архитектора -только к вечеру, да и то лишь потому, что он повредил себе ногу, пытаясь с помощью своей архитектуры переправиться через реку. Но на сей раз он допустил ошибку в расчетах, и тут собаки и

черномазые его затравили, и, вытаскивая его наружу, черномазые подняли страшный шум. По словам дедушки, черномазые, наверное, решили, что, совершив побег, архитектор добровольно отказался от своего права быть запретной пищей, совершив побег, он добровольно предложил черномазым гамбит, который они, пустившись за ним в погоню, приняли, а поймав его, выиграли партию, и что теперь им позволят его зажарить и съесть, причем обе стороны -- и победители и побежденный -- примут это, как и полагается по правилам игры, мужественно, без всякой горечи и обиды. Все участники погони, которые накануне вечером уехали домой, теперь вернулись, кроме троих; они захватили с собой и других, так что теперь, говорил дедушка, их было даже больше, чем в первый день. Они вытащили его из пещеры на берегу реки, и вот перед ними предстал этот маленький человечек во фраке с оторванным рукавом; когда он упал в реку, его расшитый цветами жилет был безнадежно испорчен водой и глиной; сквозь разорванную штанину видно было, что он перевязал ногу лоскутом от рубашки, тряпка пропиталась кровью, нога распухла, а шляпа бесследно исчезла. Ее так и не смогли отыскать, и поэтому в день его отъезда, когда постройка дома закончилась, дедушка подарил ему новую шляпу. Это было у дедушки в конторе, и дедушка сказал, что архитектор взял новую шляпу, посмотрел на нее и заплакал... этот маленький изможденный человечек, с диким взглядом, заросший двухдневной щетиной; когда его, словно дикую кошку, вытаскивали из пещеры, он, несмотря на раненую ногу, отчаянно сопротивлялся; собаки заливались лаем, черномазые кричали и гикали в радостном предвкушении жуткого пира -- они, наверно, думали, что, раз погоня длилась больше суток, правила игры сами собою отпадут и им можно будет съесть его сразу, не дожидаясь, пока он сжарится; в

конце концов Сатпен перешел вброд реку, разогнал палкой собак и черномазых, и архитектор остался один -- ничуть не испуганный, он только слегка задыхался, и лицо его слегка исказилось от боли, потому что негры в пылу схватки задели его раненую ногу, и тут он произнес длинную речь на французском языке и притом такой скороговоркой, что, по словам дедушки, даже другой француз навряд ли бы все в ней понял. Но звучала она просто замечательно, и, по словам дедушки, даже он, да и все они, сразу поняли, что архитектор вовсе не просит прощения; это была замечательная речь, сказал дедушка; он сказал, что Сатпен повернулся к нему, но он (дедушка) уже подошел к архитектору и протянул ему откупоренную бутылку виски. И дедушка увидел глаза на изможденном лице, отчаянные, безнадежные, но и неукротимые, непобежденные глаза, потому что все равно они его не одолели -- пусть он двое суток бродил по темному лесу, увязая в болотах не зная ни отдыха, ни сна, пусть ему было нечего есть' некуда идти, негде приклонить голову, пусть заранее зная, что его ждет поражение, он держался только волею к победе -- все равно они его не одолели; и он взял бутылку маленькой, как у енота, грязной рукой, поднял другую руку, словно хотел приложить ее к шляпе, но вспомнил, что шляпы нет, и безнадежно махнул рукой -- по словам дедушки, этот жест просто невозможно было описать, казалось, он собрал в одну горсть все неудачи и невзгоды, какие когда-либо выпадали на долю рода человеческого, и, как щепотку пыли, швырнул их через голову назад, поднес к губам бутылку, отвесил поклон сначала дедушке, потом всем остальным, -- образовав кружок, они смотрели на него, сидя верхом на своих лошадях, -- и отхлебнул из бутылки не только первый в своей жизни глоток чистого, неразбавленного виски, но глоток, какого он вообще ни при каких обстоятельствах

не мог выпить -- так индийский брамин ни за что не поверит, что может попасть в положение, при котором он сможет унизиться настолько, чтобы есть нечистое собачье мясо.

Квентин умолк. Шрив тотчас сказал: "Ладно. Можешь не говорить, что он оборвал рассказ. Просто продолжай, и все". Но Квентин заговорил не сразу -ровный, странно безжизненный голос, склоненная голова, расслабленное тело -он не шевелился, только дышал; они оба не шевелились, только дышали; оба были молоды; родившись в один год на разных концах одного континента -- один в Альберте, другой в Миссисипи, они как бы претерпели некое географическое перевоплощение, оказались каким-то образом связанными воедино этой Трансконтинентальной Трубой, этой Рекою, которая не только протекает по физической почве, чью геологическую пуповину она собой являет, не только питает духовную жизнь обитающих вокруг нее существ, хотя некоторые из них, как, например, Шрив, никогда ее не видали, она сама не что иное, как Окружающая Среда, для которой не существует никаких градусов температуры и широты, -- они, эти двое, еще четыре месяца назад не подозревавшие о существовании друг друга, теперь спали в одной комнате, ели за одним столом, читали одни и те же учебники, штудируя начальный университетский курс -- эти двое теперь смотрели друг на друга через освещенный лампой стол, а на нем лежал испещренный каракулями лист бумаги, этот бренный ящик Пандоры, из которого, презрев логику, вырвались на свободу свирепые демоны и джинны, заполнив эту уютную монашескую келью, эту призрачную студеную обитель чистой мысли. "Ничего, -- сказал Шрив. -- Продолжай, и все".

-- Это заняло бы тридцать лет, -- заметил Квентин. -- Сатпен только через тридцать лет рассказал дедушке,

что было дальше. Может, он был слишком занят. Ему некогда было разговаривать, потому что все время уходило на осуществление его замысла, и единственным его развлечением была борьба с дикими черномазыми на конюшне, где гости, пробравшись по задам, привязывали лошадей, чтоб их не увидели из дома -- ведь он теперь был женат, дом был закончен, а его самого уже успели арестовать за то, что он украл всю обстановку, а потом выпустили, так что теперь все было в порядке, в доме была жена и двое, нет, трое детей, земля была расчищена и засеяна семенами, которыми ссудил его дедушка, и он теперь все богател и богател...

-- Да, -- сказал Шрив. -- Этот мистер Колдфилд; что у них там было?

-- Не знаю, -- отвечал Квентин. -- Никто точно не знал. Кажется, речь шла о каком-то коносаменте; он каким-то образом уговорил мистера Колдфилда воспользоваться его кредитом; это было одно из тех дел -- в случае, если выгорит, ты молодец, нет -- ты меняешь фамилию и перебираешься в Техас; и отец говорил, что мистер Колдфилд, наверно, сидел в этой своей лавчонке и видел, как его товар, некогда умещавшийся в одном фургоне, примерно каждые десять лет удваивается или, по крайней мере, не уменьшается; он всегда видел такую возможность, да только совесть (не робость -- отец говорил, что он был совсем не робкого десятка) ему не позволяла. А тут является Сатпен и предлагает ему это дело, и если оно выгорит, они с мистером Колдфилдом делят добычу, а если нет, он (Сатпен) берет всю вину на себя. И мистер Колдфилд на это пошел. Отец говорит, будто мистер Колдфилд не верил в успех, не верил, что они выйдут сухими из воды, но никак не мог отказаться от этой мысли и потому решил, что, если они попытаются и потерпят неудачу, он (мистер Колдфилд) сможет

наконец выбросить это из головы, а если все окончательно провалится и их поймают, мистер Колдфилд настоит на том, чтобы взять на себя свою долю вины во искупление греха, который он все эти годы мысленно совершал. Ведь мистер Колдфилд никогда не верил, что дело выгорит, и потому, когда он увидел, что оно вот-вот выгорит и даже уже выгорело, отказался от своей доли прибыли -- самое меньшее, что он мог сделать, -- вот почему, убедившись, что дело в конце концов выгорело, он возненавидел не Сатпена, а свою совесть, свою совесть и землю, страну, которая создала его совесть, а потом предоставила ей возможность заработать эти огромные деньги, и совести не осталось ничего, кроме как от этих денег отказаться; он так сильно возненавидел эту страну, что даже обрадовался, видя, как она все больше и больше приближается к неизбежной роковой войне; отец говорил, что он даже готов был вступить в армию янки, да только он не был рожден солдатом и знал, что либо погибнет в бою, либо умрет от лишений и потому не доживет до того дня, когда Юг поймет: пришла пора расплатиться за то, что он возвел здание своей экономической системы не на твердой скале суровой добродетели, а на зыбучих песках беспринципного приспособления к обстоятельствам и разбойничьей морали. И вот он сделал единственный шаг, какой только мог измыслить, чтоб выразить свое неодобрение тем людям, которые переживут войну и вследствие этого будут тоже испытывать муки совести...

-- Разумеется, -- перебил его Шрив. -- Замечательно. Однако Сатпен. Его замысел. Продолжай.

-- Да, -- сказал Квентин. -- Его замысел -- богатеть все больше и больше. Ему, наверное, казалось, что в будущем все просто и ясно -- дом построен, он даже намного больше и белее того дома, к дверям которого он в тот день подошел, а расфуфыренная обезьяна-

черномазый прогнал его на заднее крыльцо, и даже черномазые у него своей, особой породы, каких не было у человека, что без башмаков валялся в гамаке, и он может послать одного из них к двери, когда босоногому мальчику в перешитых отцовских штанах настанет черед прийти и постучаться в эту дверь. Но только отец сказал, что теперь дело было не в этом, что в тот день, когда он спустя тридцать лет пришел к дедушке в контору, он не собирался оправдываться, равно как и в пойме реки в ту ночь, когда они ловили архитектора; на этот раз он просто хотел объяснить, изо всех сил старался объяснить -- ведь теперь он был стар и знал это, знал, что своим рассказом должен победить старость, что впереди остается все меньше и меньше времени и что это может сократить и неизбежно сократит его шансы и возможности, даже если б он доверял своим физическим силам так же, как своей смелости и воле; и вот он говорил дедушке, что дело не в том мальчике-символе, что стоял у дверей, -- ведь тот мальчик-символ был всего лишь плодом воображения изумленного и отчаявшегося ребенка; что теперь он возьмет того мальчика к себе, и ему никогда больше не придется стучаться ни в какую запертую белую дверь, возьмет не только для того, чтобы дать ему кров, но для того, чтобы этот мальчик или любой другой безымянный незнакомец мог сам раз и навсегда закрыть за собою дверь, отгородиться от всего, что он прежде знал, и, глядя в таинственное светлое будущее, где все его потомки, которым, возможно, даже никогда не придется услышать его (мальчика) имя, ждут только часа своего появления на свет, и им даже не надо знать, что их однажды навеки вырвали из тьмы невежества, как это было с его (Сатпеновыми) детьми...

-- И ты еще утверждаешь, что я говорю точь-в-точь как твой отец? -сказал Шрив. -- Но продолжай. Сатпеновы дети. Продолжай.

-- Да, -- сказал Квентин. -- Эти двое детей, -- говоря это, он думал {Да. Может, мы оба -- это и есть мой отец. Может, ничто никогда не случается только раз и все. Может, все случается не один раз, а расходится, как круги по воде, когда камешек падает в пруд: круги движутся, расширяются; пруд связан тонкой водяной пуповиной со следующим прудом, который он, этот первый пруд, питает и все время питал -- пусть даже у того первого пруда иная температура воды, иной молекулярный состав, иная способность видеть, чувствовать, вспоминать, отражать в ином ракурсе бесконечное неизменное небо -- все равно водное эхо от падения камешка, которого второй пруд даже не видел, бежит по его поверхности изначальными кругами, в том же нерушимом ритме. Да думал он мы оба -- это и есть мой отец. А может, мы с отцом -- это Шрив и, может, нужны были мы с отцом, чтобы был Шрив, или мы со Шривом, чтобы был отец, или Томас Сатпен, чтобы были мы все}.

Да, эти двое детей -- сын и дочь; они по своему возрасту и полу так идеально соответствовали его замыслу, словно он заранее задумал и это, а их духовные и физические свойства тоже так идеально ему соответствовали, словно он облюбовал их среди небесных сонмов серафимов и херувимов, точно так же, как отобрал себе двадцать черномазых при заключении сделки, которая, очевидно, состоялась, когда он отверг свою первую жену и ребенка, узнав, что они не могут споспешествовать осуществлению его замысла. Дедушка говорит, что совесть тут ни при чем; когда Сатпен в тот день спустя тридцать лет сидел у него в конторе, он сказал, что вначале совесть его немного мучила, но что он спокойно и логично разубеждал ее до тех пор, пока она не успокоилась; он, наверное, точно так же разубеждал свою совесть насчет их с мистером Колдфилдом коносамента (только в том случае,

вероятно, менее обстоятельно, потому что времени было в обрез), пока все не уладилось; он, мол, вполне допускает, что с определенной точки зрения поступил не совсем справедливо, но постарался, насколько это было в его силах, эту несправедливость устранить, действуя открыто и честно, -- ведь он мог попросту бросить жену, взять свою шляпу и уйти, но он так не поступил; он, как дедушка, несомненно, должен признать, имел вполне законное основание претендовать если не на всю плантацию, которую вместе с жизнью всех находившихся там белых он единолично спас, то, во всяком случае, на ту ее часть, которая особо оговаривалась и передавалась в его собственность согласно брачному контракту, который он заключил чистосердечно, не скрывая ни своего низкого происхождения, ни своих материальных средств, тогда как они со своей стороны пошли не только на утайку, но и на прямой обман, обман столь чудовищный, чтобы без его ведома не только подорвать и уничтожить самую основу его замысла, но и превратить в жалкую насмешку все, что он выстрадал и вытерпел в прошлом, равно как и все, что мог совершить для осуществления этого замысла в будущем -- однако же от вышеозначенных законных претензий он добровольно отказался, взяв себе лишь двадцать черномазых из всего, на что мог бы претендовать и чего многие другие на его месте, без сомнения, стали бы настоятельно требовать, и последнее, безусловно, было бы оправдано с точки зрения юридической и моральной, хотя, быть может, и не с точки зрения щепетильности; и дедушка теперь даже не стал говорить ему: "Подождите, подождите", потому что снова усмотрел здесь ту самую невинность духа, невинность духа, которая внушала ему, будто составные части морали -все равно что составные части торта или пирога, и коль скоро вы их взвесили, отмерили, смешали и поставили в

духовку, значит, все в порядке, и ничего, кроме торта или пирога, из них получиться не может... Да, вот так он сидел у дедушки в конторе и терпеливо, недоуменно, в который раз повторяя все сначала, пытался объяснить -- не дедушке и не себе -- ведь, по словам дедушки, самое его спокойствие доказывало, что он уж больше и не надеется все это понять, нет, он пытался объяснить обстоятельствам или даже самой судьбе те логические построения, которые привели к итогу навеки и безнадежно для него непостижимому; он повторял простое и ясное резюме своей истории (теперь известной и ему и дедушке), словно пытаясь объяснить ее упрямому и своенравному ребенку:

"Видите ли, у меня был замысел. Хороший это был замысел или плохой -несущественно; вопрос состоит в том, где я ошибся, что я сделал или чего не сделал, кого и чем обидел, если это могло так кончиться. У меня был замысел. Чтобы его осуществить, мне требовались деньги, дом, плантация, рабы, семья и, между прочим, разумеется, жена. Я начал обзаводиться всем этим, не прося помощи ни у кого. Я даже один раз рисковал своей жизнью, как я вам уже рассказывал, хотя, как я равным образом вам рассказывал, я пошел на этот риск отнюдь не с целью добыть себе жену, хотя это и имело такое следствие. Но и это тоже несущественно; достаточно того, что у меня была жена, с которой я вступил в брак чистосердечно, не утаив ничего о себе, и ожидал того же от них. Заметьте, я этого даже не требовал -- как можно было ожидать (или, во всяком случае, считать простительным) со стороны человека столь низкого происхождения, не обученного благородным манерам в обращении с благородными господами. Я этого не требовал, я принимал их такими, какими они себя представляли, сам же, со своей стороны, решительно настаивал на том, чтобы сообщить им все и о себе и о своих предках, и тем не

менее они умышленно скрыли от меня то единственное обстоятельство, которое, как я имею все основания полагать, по их мнению, заставило бы меня от всего этого отказаться -- в противном случае им незачем было бы его от меня скрывать, -обстоятельство, ставшее мне известным лишь после рождения моего сына. Но даже и тогда я не стал действовать поспешно. Я мог бы напомнить им об этих потерянных напрасно годах, о годах, которые теперь отделили меня от цели, а также о том дополнительном времени, какое потребуется, чтобы еще раз добиться того, чего я уже достиг, но теперь снова лишился. Однако я этого не сделал. Я просто объяснил, что из-за этого нового обстоятельства я не могу включить эту женщину и этого ребенка в мой замысел, после чего, как я вам уже говорил, я не только не попытался сохранить то, что мог считать заработанным мною с риском для собственной жизни и что было передано в мою собственность согласно законным документам, а напротив, отказался от всех прав и претензий на вышеозначенное, дабы загладить несправедливость, в коей меня могли бы упрекнуть, и обеспечил оба эти лица -- ведь меня опять-таки могли бы упрекнуть, что я лишил их того, что мог бы приобрести впоследствии; и заметьте, что это было согласовано, согласовано между обеими сторонами. И несмотря на это и более чем через тридцать лет, более чем через тридцать лет после того, как моя совесть окончательно заверила меня в том, что, если я и совершил несправедливость, я сделал все возможное, чтобы таковую загладить..." -- и теперь дедушка не сказал: "Подождите", теперь он сказал, может, даже крикнул: "Совесть? Совесть? О господи, милый мой, чего вы еще ожидали? Неужели вы, с вашей склонностью, я бы сказал даже, с инстинктивным тяготением к неудачам, проведя столько времени в монастыре, не говоря уже о той жизни, какой вы все это время жили,

можете этому удивляться? Неужели робость и страх перед женщинами, который вы, наверное, впитали с молоком матери, ничему вас не научили? Кому могло прийти в голову назвать целомудрием эту безграничную слепую невинность? Какая сделка с совестью могла внушить вам уверенность, будто вам не удастся откупиться от этой женщины какой-либо иной монетой, кроме справедливости?..."

На этом месте Шрив пошел в спальню и надел купальный халат. Он не просил подождать, он просто поднялся, оставил Квентина за столом наедине с письмом и раскрытою книгой, вышел и вернулся в халате, снова уселся, взял холодную трубку, но ни набивать, ни раскуривать ее не стал.

-- Ладно, -- сказал он. -- Значит, на рождество Генри привез его домой, и демон, взглянув на него, увидел лицо человека, с которым, как ему казалось, он сполна рассчитался и от которого отделался двадцать восемь лет назад. Продолжай.

-- Да, -- сказал Квентин. -- Отец говорил, что он, наверное, сам дал ему имя. Чарльз Бон. Чарльз Добрый. Дедушке он про это не говорил, но дедушка был уверен, что он это сделал, должен был сделать. Без этого уборка осталась бы незаконченной -- точно так же он после осады помогал бы убирать стреляные капсюли и гильзы, если бы не был ранен (или, возможно, уже помолвлен); возможно, он бы даже на этом настаивал; и опять-таки совесть, которая не позволяла отвести этой женщине и ее ребенку никакого места в его замысле, хотя он мог бы закрыть на это глаза, и даже если б ему не удалось обмануть весь свет, как обманули его, он все равно сумел бы запугать любого, кому бы вздумалось во всеуслышание заявить об этой тайне, та самая совесть, которая не позволяла этому ребенку, поскольку он был мальчиком, носить ни его имя, ни имя деда с материнской стороны, тем не менее запретила ему, по

общепринятому обычаю, срочно отыскать мужа для брошенной им женщины и таким образом дать своему сыну не выдуманное, а настоящее, законное имя. Дедушка был уверен, что он выдумал это имя сам, точь-в-точь так же, как давал имена им всем -- всем этим Чарльзам Добрым, Клитемнестрам, Генри, Джудит, всей поросли зубов дракона, как называл их мой отец. И еще отец рассказывал...

-- Ох уж мне твой отец, -- вставил Шрив. -- До чего ж он быстро получил кучу запоздалых сведений -- всего каких-нибудь сорок пять лет прошло. Если он все это знал, почему он тогда сказал тебе, что Генри с Боном поссорились из-за окторонки?

-- Он в то время этого еще не знал. Дедушка рассказал ему не все, потому что Сатпен тоже рассказал дедушке не все.

-- Кто же тогда мог ему рассказать?

-- Я, -- Квентин не шелохнулся, не взглянул на Шрива, хотя тот не сводил с него глаз. -- На следующий день после того, как мы... после той ночи, когда мы...

-- А-а, -- отозвался Шрив. -- После того, как ты со старой тетушкой. Понятно. Продолжай. И еще твой отец рассказывал...

-- ... рассказывал, как он в тот день, наверное, стоял на веранде, ожидая, когда Генри со своим другом, о котором он писал всю осень, покажется на аллее, и как, прочитав в первом же письме Генри это имя, Сатпен, наверное, сказал себе, что этого просто не может быть, что даже ирония судьбы имеет пределы, за которыми она превращается либо в злую, но не смертоносную шутку, либо в безобидное совпадение; ведь, говорил отец, даже и Сатпену должно было быть известно, что никто еще не придумал такого имени, какого бы кто-нибудь не носил теперь или прежде; и вот они наконец подъехали к дому, и Генри сказал: "Папа, это Чарльз", и он... ("Демон", -- вставил Шрив)... увидел это лицо и

понял: порою события принимают такой оборот, когда совпадение все равно что маленький мальчик, который прибежал на футбольное поле поиграть с мячом, а игроки, сталкиваясь друг с другом, носятся вокруг беззащитного ребенка, и в пылу борьбы за нечто, называемое победой или пораженьем, ни один из них про него не вспомнит и даже не заметит, кто явился и спас его от неминуемой гибели; он стоял у дверей своего собственного дома, точь-в-точь так, как он воображал, задумывал, планировал, и вот, спустя пятьдесят лет, одинокий, бездомный, безымянный, заблудившийся мальчик пришел, чтобы в них постучаться, и нет нигде под солнцем расфуфыренной обезьяны-черномазого, который мог бы прогнать этого мальчика от дверей; и отец сказал, что даже в ту минуту, даже зная, что Бон и Джудит еще никогда не видали друг друга, он наверняка почувствовал и увидел, как весь его замысел -- дом, положение, потомство и все остальное -рушится, словно весь он был построен из дыма -- без звука, без шороха, какой издает вытесняемый воздух, и даже не оставляя обломков. А он не хочет признать, что это возмездие, что он попал в яму собственных грехов или что это просто неудача, -- нет, он называет все это ошибкой; он не мог найти эту ошибку сам и потому пришел к дедушке -- даже не оправдываться, а изложить все факты, чтобы беспристрастный (и, добавил дедушка, юридически образованный) ум рассмотрел их, обнаружил его ошибку и ему на нее указал. Понимаешь, не моральное возмездие, всего лишь старая ошибка, которую человек, наделенный смелостью и умом (первой, как он еще раньше убедился, он обладал, а ума, по его мнению, он теперь тоже набрался), все еще смог бы преодолеть, если б только ему удалось узнать, в чем она заключалась. Потому что он не сдался. Он не сдался до самого конца, и дедушка говорил, что дальнейшие его

поступки (например, то, что он некоторое время вообще ничего не предпринимал, от чего, вероятно, и возникло положение, которого он так страшился) объяснялись вовсе не недостатком смелости, ума или жестокости, а тем, что он был уверен, будто все произошло из-за какой-то ошибки, и не хотел рисковать, покуда не узнает, в чем эта ошибка заключалась.

Поэтому он пригласил Бона в дом и все две недели каникул (правда, на это не понадобилось столько времени; отец говорил, что миссис Сатпен, наверно, обручила Джудит с Боном в ту минуту, когда увидела имя Бона в первом же письме Генри) следил за Боном, Генри и Джудит или, вернее, за Боном и Джудит, потому что про Генри и Бона он все уже знал из писем Генри; следил за ними две недели и ничего не предпринимал. Потом Генри с Боном вернулись в университет, и теперь черномазый конюх, который каждую неделю доставлял почту из Оксфорда в Сатпенову Сотню и обратно, привозил Джудит письма, написанные отнюдь не почерком Генри (в чем, по словам отца, тоже не было никакой надобности, потому что миссис Сатпен уже разнесла по всему городу и округу весть о помолвке, которой, как говорил отец, еще даже и не существовало), а он все еще ничего не предпринимал. Он не предпринял ровно ничего до тех пор, покуда в самом конце весны Генри не написал ему, что пригласил Бона провести у них два-три дня перед его поездкой домой. Тогда Сатпен отправился в Новый Орлеан. Выбрал ли он это время, чтобы застать Бона и его мать вместе и покончить с этим делом раз и навсегда, или нет, никто не знает, равно как никто не знает, виделся ли он тогда с матерью Бона, согласилась она его принять или отказалась, или согласилась и он попытался еще раз с нею столковаться, быть может, даже откупиться от нее деньгами -ведь, как сказал отец, если человек способен думать, будто от

оскорбленной, возмущенной и обозленной женщины можно отделаться доводами формальной логики, он вполне способен поверить, что ее можно купить деньгами -- и из этого ничего не вышло; или если Бон был там, сам Бон отказался от его предложения, хотя никто никогда не мог сказать наверное, знал ли Бон, что Сатпен его отец, или не знал, пытался ли он отомстить за мать вначале и лишь позже влюбился, лишь позже его затянуло в поток возмездия и рока, который, по словам мисс Розы, привел в движение Сатпен, чем погубил всех своих потомков, как черных, так и белых. Но из этого явно ничего не вышло, и наступило следующее рождество, Генри с Боном снова приехали в Сатпенову Сотню, и теперь Сатпен убедился, что все пропало, что Джудит влюблена в Бона и что теперь безразлично -- хочет ли Бон отомстить или же он просто попал в водоворот, идет ко дну и тоже обречен на гибель. И тогда, в тот сочельник, незадолго до ужина он, очевидно, послал за Генри (отец говорил, что, возможно, теперь, после поездки в Новый Орлеан, он наконец узнал про женщин достаточно, чтобы понять -- идти сначала к Джудит бесполезно) и рассказал Генри все. Он знал, что Генри ему скажет, и Генри именно это ему и сказал, он обвинил отца во лжи, тот молча проглотил обвинение, и тогда Генри убедился, что отец сказал ему правду; мой отец говорил, что он (Сатпен) наверняка знал, как Генри поступит, и именно на это и рассчитывал -- ведь он все еще думал, будто допустил всего лишь мелкую тактическую ошибку. Он был как командир разъезда, который перед лицом превосходящих сил противника не может отступить и надеется, что, если станет действовать достаточно терпеливо, достаточно умно, достаточно спокойно и достаточно осторожно, ему удастся рассеять вражеских солдат и перестрелять их всех поодиночке. И Генри именно так и поступил. И он

(Сатпен) наверняка знал, как Генри будет вести себя дальше, что Генри тоже поедет в Новый Орлеан, чтоб убедиться во всем самому. Потом наступил шестьдесят первый год, и Сатпен знал, что они теперь предпримут -- не только что предпримет Генри, но и к чему он принудит Бона; возможно (будучи демоном -- хотя теперь, чтобы предвидеть войну, вовсе не надо было быть демоном), он даже предвидел, что Генри с Боном вступят в ту самую университетскую роту; он, вероятно, нашел какой-то способ за ними следить и даже узнал, когда их имена появились в списке добровольцев, какой-то способ узнавать, где находится их рота, даже прежде, чем дедушка стал командовать полком, в который она входила, пока дедушка не был ранен при Питсберг-Лендинге (где ранили также и Бона) и не вернулся домой привыкать обходиться без правой руки, а сам он (Сатпен) в шестьдесят четвертом году приехал домой с двумя надгробными камнями и зашел к дедушке в контору поговорить перед тем, как они оба опять вернулись на войну. Может, он все время знал, где находятся Генри с Боном, знал, что они все время были в дедушкином полку, где дедушка, пусть даже и сам того не зная, мог как-то за ними присматривать, если за ними вообще нужен был присмотр; ведь Сатпен должен был знать и об искусе, и о том, что теперь Генри держит всех троих -себя, Джудит и Бона -- в напряженном ожидании, а сам борется со своей совестью, стараясь вырвать у нее согласие на то, что он хочет сделать, -совсем как тридцатью годами раньше его отец; может, он теперь даже стал таким же фаталистом, как Бон, и предоставлял войне возможность самой все уладить, убив его, или Бона, или их обоих вместе (но без всякой помощи, без всякой подтасовки с его стороны -- ведь это он вынес раненого Бона в тыл после битвы при Питсберг-Лендинге); а может, он знал, что Юг потерпит поражение и что тогда

будет все равно, тогда не останется вообще ничего дорогого, ради чего стоило бы волноваться, возмущаться, страдать, умирать и даже жить. Он пришел к дедушке в контору в тот день, единственный день, когда ему... ("Демону", -- сказал Шрив)... дали отпуск, и он привез домой надгробные камни. Джудит была дома, и, я думаю, он посмотрел на нее, и она посмотрела на него, и он сказал: "Ты знаешь, где он", и Джудит не стала ему врать, и он (он ведь знал Генри) сказал: "Но ты не получала от него писем", и Джудит и тут не соврала, но и не заплакала: ведь они оба знали, что будет написано в письме, когда оно придет, и ему не надо было спрашивать: "Когда он напишет тебе, что едет, вы с Клити начнете шить подвенечное платье?" -даже если бы Джудит ему про это соврала, но она, конечно, не соврала; и вот он поставил один камень на могилу Эллен, а второй в прихожую и поехал к дедушке; он пытался все ему объяснить, надеясь, что дедушка сможет отыскать ошибку, которую он считал единственной причиной всех его бед; он сидел в своей потрепанной, заношенной форме, перчатки у него протерлись, пояс выцвел, а плюмаж на шляпе (у него непременно должен был быть плюмаж. Он мог остаться без сабли, но плюмаж у него наверняка был) изорвался, измялся и запачкался; лошадь под седлом ждала его на улице, и, хотя, чтобы найти свой полк, ему предстояло проехать тысячу миль, он сидел там в единственный вечер своего отпуска, словно нигде на свете не было никаких неотложных спешных дел, словно ехать ему предстояло всего лишь за двенадцать миль в Сатпенову Сотню, а впереди -- тысяча дней или даже лет неизменного благополучия и мира, а он, даже после смерти, по-прежнему останется здесь, по-прежнему будет наблюдать, как повсюду, сколько видит глаз, вырастают его замечательные внуки и правнуки; а сам он, хотя и лежит мертвый в земле, все тот же

представительный мужчина, как называл его Уош Джонс, но все это будет позже, не сейчас. Сейчас он блуждал в тумане своей же собственной воинствующей морали и в то время, когда (по словам дедушки) рушился Рим и погибал Иерихон, занимался казуистикой, предаваясь отвлеченным рассуждениям вроде {это было бы хорошо, если бы} или {то было бы плохо, но} -- что, как говорит отец, есть признак разжижения крови и окостенения артерий и суставов -- к ним склонны дряхлые старики; когда они были молодыми, подвижными и сильными, они так же мгновенно, безоговорочно и бездумно отзывались на простое и ясное Да и на простое и ясное Нет, как щелкают выключателем, чтобы зажечь или погасить электричество; он сидел и говорил, а дедушка никак не мог взять в толк, о чем он говорит: по словам дедушки, Сатпен, казалось, и сам этого не знает, потому что даже тогда Сатпен еще не все ему рассказал. И опять-таки из соображений морали, сказал дедушка, той самой морали, которая не позволяла ему чернить и порочить память об его первой жене или, во всяком случае, память о женитьбе, при которой, как он чувствовал, его надули; не позволяла чернить и порочить их даже в глазах своего знакомого, которому он доверял настолько, что решил перед ним оправдаться, даже в глазах сына от второго брака, ради того, чтобы спасти достигнутое им положение, цель всей его жизни, разве что уж в самом крайнем случае. Не то чтобы он стал колебаться тогда, сказал дедушка, но, уж конечно, никак не раньше. Его самого надули, но он выпутался, не прося и не принимая помощи ни от кого; так пусть теперь всякий, кто будет обманут так, как он, поступит точно так же... И вот он сидел и рассуждал насчет того, что, какой бы путь он ни выбрал, итог все равно был бы один -- плана и замысла, которому он посвятил пятьдесят лет своей жизни, с таким же успехом и в

течение тех же пятидесяти лет могло бы и вовсе не существовать, а дедушка даже не понимал, о каком выборе идет речь и в чем заключался второй выбор, который он должен сделать, не понимал, пока он не произнес последнее слово перед тем, как встал, надел шляпу, пожал дедушке левую руку и уехал; этот второй выбор, необходимость снова выбирать, казался дедушке таким же темным, как и причина первого -ухода Сатпена от первой жены, и дедушка даже не сказал: "Я не знаю, что вам следует выбрать", не потому, что больше сказать ему было нечего, не потому, что это было даже меньше, чем отсутствие ответа, а потому, что любой его ответ был бы столь же бесполезен: ведь Сатпен не слушал, не ожидал ответа, он пришел не за сочувствием, советовать ему тоже было нечего, а оправдание он уже вырвал у своей совести тридцать лет назад. Он по-прежнему знал, что обладает смелостью, и, хотя мог в последнее время усомниться, действительно ли обрел ум, в чем еще недавно был уверен, он, тем не менее, по-прежнему думал, что где-нибудь на свете существует возможность набраться ума-разума, а раз так, то он его еще наберется, и, по словам дедушки, возможно еще и вот что: если ум не поможет ему выпутаться вторично, как это было в первый раз, то смелость поможет ему найти в себе волю и силы, чтобы в третий раз взяться за осуществление своего замысла, как это было во второй раз; он пришел в контору не за сочувствием и не за помощью -- по словам дедушки, он так никогда и не научился обращаться ни за помощью, ни за чем другим, и потому, сумей даже дедушка оказать ему какую-нибудь помощь, не знал бы, что с нею делать; он просто явился, погруженный в спокойное и трезвое раздумье, быть может, надеясь (если он вообще на что-нибудь надеялся, если он вообще что-нибудь имел в виду, а не просто думал вслух), что юридически образованный ум

сможет обнаружить и разъяснить ту первоначальную ошибку, на существовании которой он по-прежнему упорно настаивал, но которой сам найти не мог: "Мне пришлось либо закрыть глаза на обстоятельство, перед которым меня без моего ведома поставили, когда я трудился над осуществлением моего замысла, что было бы равносильно полному и окончательному отрицанию этого замысла; либо и дальше придерживаться первоначального плана, для чего необходимо было это обстоятельство устранить. Я сделал выбор и постарался -насколько это было в моих силах -- возместить ущерб, какой я своим выбором мог бы нанести, заплатив за право сделать именно этот выбор даже больше, чем от меня могли бы ожидать или даже (по закону) требовать. Однако мне и теперь приходится вторично встать перед необходимостью сделать выбор, причем интересно не то, на что указывали вы и что вначале пришло в голову и мне, то есть что возникла необходимость в новом выборе, а то, что, какой бы выбор я ни сделал, какой бы путь ни избрал, итог один и тот же: либо я своей же собственной рукою разрушаю свой замысел -- что произойдет, если я буду вынужден пустить в ход свой последний козырь; либо я не делаю ровно ничего, предоставляю событиям идти своим, заранее известным мне путем и вижу, что мой замысел претворяется в жизнь совершенно закономерно, естественно и успешно -- в глазах света; в моих же глазах, напротив, выглядит насмешкой и предательством по отношению к тому мальчику, который пятьдесят лет назад подошел к тем дверям и которого оттуда прогнали, к мальчику, ради отмщения которого весь этот план был задуман и осуществлен вплоть до той минуты, когда возникла необходимость вторично сделать выбор, выбор, вытекающий из первого, каковой, в свою очередь, был мне навязан договором, соглашением, в которое я вступил

чистосердечно, не утаив ничего, тогда как другой его участник или участники скрыли от меня то единственное обстоятельство, которое должно было разрушить весь план и замысел, над осуществлением которого я трудился, скрыли так ловко, что я узнал об этом обстоятельстве лишь после рождения своего сына..."

-- Ох уж мне этот твой папаша, -- сказал Шрив. -- Когда твой дед рассказывал все это ему, он понял из его рассказа ровно столько, сколько сам твой дед понял из рассказа демона. А когда твой папаша рассказывал это тебе, ты из всех их рассказов вообще ничего бы не понял, если бы не побывал там и не увидел Клити. Верно?

-- Да, -- сказал Квентин. -- Дедушка был его единственным другом.

-- Чьим другом -- демона?

Квентин ничего не ответил, не шелохнулся. В комнате теперь было холодно. Батареи совсем остыли; холодное рифленое железо просвистело грозный сигнал, предупредило, что наступает время сна, малой смерти, обновленья. Часы уже давно пробили одиннадцать.

-- Ну ладно, -- сказал Шрив. Он закутался в свой купальный халат, как прежде кутался в свою голую розовую, почти безволосую кожу. -- Он сделал выбор. Он выбрал блуд. Я следую его примеру. Однако продолжай.

Его замечание вовсе не было дерзким или презрительным. Оно исходило (если у него вообще был какой-либо источник) из той неисправимой несентиментальной сентиментальности молодых людей, которая принимает форму жестокой и часто глупой развязности, на что, кстати, Квентин не обратил ни малейшего внимания; он сидел, все еще опустив голову, все еще размышляя над развернутым письмом,

лежавшим на раскрытой книге меж его рук, и, словно его и не перебивали, продолжал:

-- В ту ночь он отправился в Виргинию. Дедушка рассказывал, что стоял у окна и смотрел, как он едет через площадь на отощалом вороном жеребце -прямой, в выцветшей серой форме, шляпа со сломанным пером слегка набекрень, хотя и не так лихо, как касторовая шляпа в былые времена -- словно (говорил дедушка), даже несмотря на все свои воинские отличия и чины, он чванился уже не так, как прежде, однако не потому, что был сломлен несчастьем, измучен или просто устал от войны, а потому, что даже сидя в седле, казалось, все еще не одолел оторопи, все еще отчаянно боролся, стараясь удержать над бурным потоком людского безумия и сумасбродства не столько свою голову, чтобы вдохнуть воздух, и даже не столько пятьдесят лет усилий и попыток основать и утвердить свой род сколько свой кодекс логики и морали, свой собственный рецепт и формулу соотношения причин и следствий чей конечный итог упорно отказывался плавать и даже просто держаться на поверхности. Дедушка увидел как он подъехал к трактиру Холстон-Хаус, как оттуда] прихрамывая, вышел старый мастер Маккаслин и еще два старика; они остановили его, и он, не спешиваясь, с ними заговорил, и хотя он не повышал голоса, дедушка сказал, что самая его осанка и скупые жесты подчеркивали его адвокатское красноречие. Потом он двинулся дальше. Он успел еще засветло добраться до Сатпеновой Сотни и потому, вероятно, лишь после ужина повернул вороного в сторону Атлантического океана, и, быть может, у него оставалась целая минута, когда они с Джудит могли еще раз посмотреть в глаза друг другу, и ему не было нужды говорить: "Я помешаю этому, если смогу", и ей не было нужды говорить: "Ну что ж, помешай -- если можешь"; было лишь краткое слово прощанья, поцелуй в лоб, и не было даже слез;

потом он сказал несколько слов Клити и Уошу, господин -- рабыне, сеньор -- вассалу: "Прощай, Клити, береги мисс Джудит. Уош, я пришлю тебе из Вашингтона фалду от фрака Эйба Линкольна", а Уош, наверное, ответил ему, как, бывало, в беседке, увитой виноградом, за бутылью виски и ведром ключевой воды: "Так точно, полковник, раздавите этих гадов всех до одного!" Он съел кукурузную лепешку, запил ее желудевым кофе и уехал. Потом наступил шестьдесят пятый год, и армия (дедушка тоже вернулся в армию; он стал теперь бригадным генералом и, я думаю, не только потому, что лишился руки) уже отступила через Джорджию в Каролину, и все знали, что теперь остается недолго. Потом в один прекрасный день Ли послал на подкрепление Джонстону несколько полков из одного своего корпуса, и дедушке стало известно, что в число их входит Двадцать третий Миссисипский полк. И ему (дедушке) было неизвестно, что произошло: то ли Сатпен каким-то образом узнал, что Генри в конце концов заставил свою совесть вступить с ним в сделку, как его (Генри) отец тридцатью годами раньше; то ли Джудит известила отца о том, что Бон наконец ей написал, и об их с Боном намерениях; то ли они все четверо вдруг дошли до такой точки, когда что-то непременно нужно было сделать, что-то непременно должно было произойти -- ему (дедушке) было неизвестно. Просто однажды утром ему доложили, что Сатпен приехал в штаб бывшего дедушкина полка, попросил разрешения поговорить с Генри, поговорил с ним и еще до полуночи уехал обратно.

-- Значит, он в конце концов сделал выбор, -- сказал Шрив. -- В конце концов он козырнул этим тузом. И тогда он приехал домой и нашел...

-- Подожди, -- сказал Квентин.

-- ...нашел то, что, наверное, хотел или, во всяком случае, думал там найти...

-- Говорят тебе, подожди! -- сказал Квентин; он все еще не шевелился и даже не повысил голос, этот хрипловатый, напряженный голос. -- Я же рассказываю {Неужели мне придется выслушать все это снова думал он Да, мне придется выслушать все это снова я уже слышу все это снова я слушаю все это снова мне придется снова слушать только это и больше ничего никогда во веки веков и потому ясно что не только никто никогда не переживет своего отца, но и все его друзья и знакомые тоже}... он приехал домой и обнаружил то, что по крайней мере не требовало ни писем, ни предупреждений, даже если бы Джудит ему написала, сообщила, что над ней одержали верх; но она, по словам мистера Компсона, не только ему не сообщила, что он одержал над нею верх; она (по выражению мисс Колдфилд, та, что никого не оплакивала) встретила его по возвращении не с яростью и отчаянием, каких он мог бы ожидать, хотя он, как думал мистер Компсон, так мало знал, так мало успел узнать про женщин; однако он, уж во всяком случае, не ожидал того ледяного спокойствия, с каким она, по словам мисс Колдфилд, его встретила: опять, как почти два года назад, поцелуй в лоб, голоса, речи -- тихие, сдержанные, почти бесстрастные: "А...?" -- "Да. Генри его убил"; потом слезы -- они полились и тотчас иссякли, словно капли состояли из одного-единственного слоя влаги, тонкого, как папиросная бумага, и принявшего форму человеческого лица; потом: "А, Клити. А, Роза... Здорово, Уош. Хоть я тебе и обещал отрезать фалду от того фрака, я не смог так далеко пробраться за линии янки"; потом гоготанье, фырканье (Джонса), древняя тупая неизменность грязи, наделенной даром речи, которая, как выразился мистер Компсон, переживет все победы и пораженья: "Ну что ж, полковник, они нас убили, но не побили, верно я говорю?" -- и все. Он вернулся. Он снова был дома, и

теперь ему нужно было спешить, бежать наперегонки с временем, торопиться. {Теперь}, сказал мистер Компсон, {его уж больше не тревожило, достанет ли ему смелости, воли и, наконец, ума. Он ни на минуту не усомнился в своей способности в третий раз начать все сначала. Он заботился лишь о том, чтобы ему хватило времени это сделать, вернуть потерянное. Он не тратил попусту ни минуты, отпущенного ему времени. Воли и ума он тоже попусту не тратил, хотя наверняка не считал, что именно воля и ум услужливо подсунули ему под руку возможность, и, наверно, меньше всего благодаря уму и даже воле, а больше всего благодаря смелости он сумел обручиться с мисс Розой всего через три месяца после своего возвращения и прежде, чем она успела осознать, что, собственно, произошло... мисс Роза, лучшая ученица и жрица культа изгнания демона, чьим главным объектом (хотя и не жертвой) он был, оказалась обрученной с ним прежде, чем успела привыкнуть к его присутствию в доме -- да, благодаря скорее смелости, чем воле, хотя отчасти и благодаря уму -- уму, который он мучительным трудом пятьдесят лет капля за каплей добывал, уму, который то вдруг капитулирует и отступает, то вдруг затаится, то пускает пышные ростки, как зерно, что остается бесплодным в пустоте или в одном-единственном окаменелом комке земли. Ведь, обходя свой дом, словно все еще продолжая свой бесконечно долгий путь из Виргинии, он, на секунду остановившись -- даже не для того, чтоб поздороваться с семьей, а лишь чтобы зайти за Джонсом, потащить его на заросшие кустарником поля, к поваленным изгородям, сунуть ему в руку топор или кирку, -- он успел заметить единственное слабое место, единственную уязвимую точку в вооруженном до зубов девстве мисс Розы, пошел на приступ и одним махом взял штурмом эту цитадель, применив беспощадную тактику своего бывшего командира

(двадцать третий Миссисипский полк одно время входил в состав корпуса Джексона). И тут ум подвел его опять. Он рухнул, потонул в том извечном бессилии логики и морали, которое уже однажды его предало; кто знает, в какой день, в какой борозде он вдруг остановился, подняв ногу для следующего шага, на мгновенье выпустив из бесчувственных рук бесчувственную рукоятку плуга, или когда рука его повисла в воздухе, держа какую-то жердь от изгороди, внезапно показавшуюся невесомой мышцам, кто знает, когда его вдруг осенило, что задача состоит не только в недостатке времени, что решить ее нужно не просто в малый, а в сверхуплотненно малый срок; что ему уже за шестьдесят, что у него может родиться всего лишь один сын, что в лучшем случае у него в чреслах таится всего лишь один сын -- так старая пушка, наверно, чувствует, что в ее стволе осталось всего лишь одно, последнее ядро. И вот он предложил ей то, что предложил, и она поступила так, как должна была поступить -- о чем он должен был бы знать и, вероятно, и впрямь бы знал, если бы не позволил себе по горло увязнуть в болоте своей морали, у которой были на месте все составные части, но которая упорно отказывалась работать, действовать. Отсюда предложение, смертельная обида, изумленье, и вот уже порыв негодования и гнева унес мисс Розу прочь из Сатпеновой Сотни; легкая как пушинка, она неслась по волнам, гонимая ветром, что раздувал паруса ее юбок, в ярости нахлобучив под немыслимым углом шляпку (очевидно, одну из шляпок Эллен, украденную ею на чердаке). А он стоял, держа в руке поводья, и, может быть, в его бороде и в уголках глаз таилось какое-то подобие улыбки, но только это была не улыбка -- прищурив глаза, он сосредоточенно, мучительно думал; он спешил, ему надо было спешить; это был не страх, не тревога, нет, просто лихорадочная спешка -- ведь он

потратил столько времени попусту; к счастью, это была всего лишь пристрелка легким зарядом, и старая пушка, старый ствол и лафет от этого еще не пострадали, только в следующий раз и на пристрелку и на полновесный выстрел может не хватить пороху; просто нить ума, смелости и воли наматывалась на ту же катушку, что и пить оставшихся ему дней, и эта катушка была так близко, что кажется, стоит протянуть руку, и ты ее достанешь. Но он еще не начал тревожиться всерьез, потому что все это (извечная логика, извечная мораль, которые до сих пор неизменно его подводили) уже складывалось в готовый шаблон, неопровержимо доказывая ему, что он был прав, о чем он знал и сам, и, значит, то, что произошло, было всего лишь иллюзией обманом чувств, а на самом деле не существовало}.

-- Нет, -- сказал Шрив. -- Теперь ты подожди. Дай мне тоже немножко поговорить. Теперь еще этот Уош. Он (демон) стоял там со своей лошадью, с этим оседланным боевым конем, сабля покоилась в ножнах, серая форма мирно ждала, когда ее уберут на съедение моли, и не осталось ничего, кроме бесчестья, и тут вдруг раздается голос верного могильщика, который открыл пьесу и должен ее закрыть; он выходит из-за кулис, совсем как у старика Шекспира, и произносит: "Ну что ж, полковник, они, может, нас и побили, но им нас не убить, верно я говорю?"...

Это тоже была не дерзость. Это тоже была всего лишь напускная развязность, за которой молодая стыдливость прячет свои чувства; то же самое испытывал и Квентин, отсюда угрюмая задумчивость Квентина, легкомысленный тон обоих, вымученные остроты; они оба -- сознательно или бессознательно -- в этой холодной комнате (теперь она уже совсем остыла), отведенной для изощренных логических рассуждений, которые, в сущности, весьма напоминали

морализирование Сатпена и демонологию мисс Колдфилд -- в этой комнате, не только отведенной, но и как нельзя более для этого пригодной, ибо именно здесь -- из всех возможных на земле мест -- они (эта логика и это морализирование) могли причинить меньше всего вреда -- они оба, плечом к плечу, словно у последней траншеи, говорили Нет Квентинову призраку из Миссисипи, действия которого при жизни в минимальной степени соответствовали логике и морали, который на пороге смерти совершенно ими пренебрег, а после смерти остался к ним не только равнодушен, но и совершенно глух и даже ухитрился сделаться в тысячу раз живей и энергичней. Шрив вовсе не хотел обидеть Квентина и ничуть его не обидел, и потому Квентин даже не остановился. Он даже не запнулся, а без всякой запятой, точки или двоеточия подхватил слова Шрива:

-- ...у него уже не осталось боезапаса, чтобы рискнуть на пристрелку, и потому он прямо приступил к делу -- так выгоняют из кустов кролика, швыряя в него комьями сухой земли. Может, это была первая нитка бус из лавчонки, которую он держал вместе с Уошем, откуда он, когда ему надоедало торговаться с покупателями -- черномазыми и белой швалью -- в бешенстве выгонял их вон, после чего запирал дверь изнутри и напивался до бесчувствия. Отец говорил, что Уош вполне мог и сам отнести эти бусы, Уош, который стоял у ворот, когда он в тот день приезжал с войны, а когда он уехал с полком, с таким упорством твердил соседям, будто он (Уош) присматривает за плантацией и за черномазыми полковника, что вскоре и сам этому поверил. Мать моего отца рассказывала, что, когда Сатпеновы черномазые в первый раз услыхали эти его речи, они остановили его на дороге, что вела из поймы реки, где был старый рыбачий лагерь, в котором Сатпен разрешил поселиться ему с внучкой (ей в то время было

лет восемь). Их было слишком много, чтобы он рискнул, попытался отколотить их всех; они приставали к нему с вопросом, почему он не пошел на войну, а он отвечал: "Прочь с дороги, черномазые!" -- и тогда они расхохотались ему в лицо и стали спрашивать друг друга (а на самом деле вовсе не друг друга, а его): "Кто он такой, чтоб обзывать нас черномазыми?" -- и тогда он бросился на них с палкой, и они отступили -- самую малость, без всякой злости, только со смехом. Он по-прежнему приносил в дом рыбу и птиц, которых он ловил (а может, и крал), а также овощи -- они теперь составляли почти единственное пропитание миссис Сатпен и Джудит (да и Клити тоже), и Клити не пускала его на кухню даже с корзиной, говоря: "Стойте тут, белый человек. Вы никогда не переступали порог этого дома при полковнике, не переступите его и теперь". Так оно и было, и отец говорил, что он даже немножко гордился тем, что никогда не пытался войти в дом, хотя был уверен, что, если бы и попытался, Сатпен не позволил бы им его выгонять; он (по словам отца) как бы говорил себе {Я не вхожу не потому, что вдруг какой-нибудь паршивый черномазый скажет: тебе туда нельзя, я просто не хочу, чтоб мистеру Тому пришлось из-за меня бранить черномазых или слушать брань от своей жены}. Но воскресными вечерами они вместе выпивали в виноградной беседке, а в будни он смотрел, как Сатпен (видный мужчина, как он выражался) на вороном жеребце галопом скачет по плантации, и отец говорил, что в эти минуты в сердце Уоша воцарялись гордость и покой, и быть может, ему казалось, что этот мир, где черномазые, которых, как сказано в Библии, господь бог создал и обрек быть скотами и слугами всех людей с белой кожей, питались, жили и даже одевались лучше, чем он со своею внучкой, что этот мир, где его вечно преследовали раскаты глумливого презрительного негритянского смеха, -- всего лишь сон,

виденье, а настоящий мир -- это тот мир, где скачет на чистокровном коне воплощение его одинокой мечты (как говорил отец), и, быть может, говорил отец, он думал, что раз в Священном писании сказано, что все люди созданы по образу и подобию божьему, значит, все люди равны перед богом или, во всяком случае, кажутся богу одинаковыми, и потому он смотрел на Сатпена и думал {Прекрасный гордый человек. Если бы сам господь сошел с небес и стал ходить по матери-земле, он захотел бы быть таким, как он}. Может, он даже сам отнес первую нитку бус, а может, говорил отец, доставлял и все ленты потом, следующие три года, когда девчонка быстро созревала, как бывает с девчонками подобного сорта; во всяком случае, он узнавал на ней каждую ленту, даже если она врала, где и как ее раздобыла, чего она скорей всего старалась не делать -- она должна была знать, что он все эти три года ежедневно видел эти ленты на прилавке и они были ему знакомы, как шнурки его башмаков. И знакомы они были не только ему, но и всем другим мужчинам-покупателям и просто бездельникам, белым и черным, которые стояли или сидели на корточках на крыльце лавки и смотрели, как она проходит мимо -- не то чтоб вызывающе, не то чтобы смущенно, не то чтобы совсем уж открыто похваляясь своими лентами и бусами; но и не без этого, а одновременно дерзко, хмуро и опасливо. Но отец говорил, что душа у Джонса все еще была спокойна, даже когда он увидел платье и спросил о нем -- может быть, теперь слегка озабоченно -- и, глядя на ее замкнутое упрямое испуганное лицо, слушал, как она ему объясняла (еще не дождавшись его вопроса, быть может, слишком настойчиво, слишком поспешно), что мисс Джудит подарила ей это платье и помогла его сшить; и отец сказал, что, быть может, он вдруг, неожиданно понял, что когда он проходит мимо мужчин, сидящих на крыльце, они провожают взглядом

и его и что они уже знают то, о чем они, как ему только что пришло в голову, наверно, думают. Но отец говорил, что душа его все еще была спокойна -- даже теперь -- и что он ей ответил, если он вообще что-нибудь ответил -- пресек все ее возражения и отговорки и сказал: "Ну и ладно. Если полковник и мисс Джудит решили сделать тебе подарок, надеюсь, ты догадалась сказать им спасибо". Он не встревожился, говорил отец, он только задумался, нахмурился, и отец рассказывал, что в тот вечер дедушка зачем-то поехал к Сатпену, но в лавке никого не оказалось, и он уже хотел было уйти и отправиться к нему домой, как вдруг из задней комнаты до него донеслись голоса, и прежде, чем они смогли услышать, что он зовет Сатпена, он невольно кое-что подслушал. Дедушка их еще не видел, еще даже не приблизился к тому месту, откуда они могли услышать голос, но он сказал, что и без того точно знал, что там должно происходить: когда Сатпен велел Уошу достать бутыль, тот заговорил, и тут Сатпен стал к нему поворачиваться; и еще прежде, чем до него дошло значение слов, он понял, что Уош не собирается доставать бутыль, а когда слова до него дошли, он все еще сидел полуобернувшись, потом вдруг как бы отпрянул, вскинул голову и посмотрел на Уоша, а Уош стоял перед ним без всякого раболепства, и Сатпен сказал: "Что там насчет платья?" -- и дедушка рассказывал, что отрывисто и резко звучал голос Сатпена, а вовсе не Уоша -- голос Уоша звучал спокойно и ровно, ничуть не подобострастно, он говорил медленно и сдержанно: "Я вас уже скоро двадцать лет как знаю. Я никогда не отказывался делать, что вы мне велели. Мне уже за шестьдесят. А она девчонка, ей всего-навсего пятнадцать", и Сатпен отвечал: "Ты хочешь сказать, что я могу ее обидеть? Да ведь мы же с тобой ровесники", а Уош ему в ответ: "Будь это кто другой, я б тогда сказал, что он мне ровесник. И будь он

хоть молодой, хоть старый, я б запретил ей брать от него платья или что другое. Но вы не такой, как все". -- "Что значит -- не такой?" -- спросил Сатпен, и дедушка говорил, что Уош на это ничего не ответил, и тогда он (дедушка) опять их позвал, но они его опять не услышали, и Сатпен сказал: "Значит, ты поэтому меня боишься?" -- а Уош ему ответил: "Я не боюсь. Потому что вы храбрый. Не то что вы были храбрый одну секунду, одну минуту или час за всю жизнь и получили в том бумагу от генерала Ли. Вы просто храбрый -- все равно как вы живой и дышите воздухом. Вот в чем вся разница. И ни от кого мне в том никакой бумаги не надо. И еще я знаю, если вы за кого возьметесь, будь то полк солдат или глупая девчонка, а то и просто охотничья собака, вы все сделаете как надо". Потом дедушка услышал, как Сатпен вдруг с грохотом встал и, по словам дедушки, наверняка начал размышлять, гадать, что может думать Уош. Но Сатпен сказал только: "Достань бутыль", а Уош отозвался: "Так точно, полковник".

И вот настало то самое воскресенье -- спустя год после этого дня и спустя три года после того, как он предложил мисс Розе сначала попробовать, и если родится мальчик и он выживет, то они поженятся. Еще не рассвело, и в этот день его кобыла должна была родить жеребенка от вороного, и потому, когда он еще затемно вышел из дома, Джудит подумала, что он идет на конюшню. Никто не знал, что и сколько известно Джудит про ее отца и внучку Уоша, что именно она могла невольно узнать или не узнать из того, что наверное знала (и о чем ей, вероятно, рассказала, а может и не рассказала) Клити, потому что это знали все соседи, и белые и черные, каждый, кто хоть раз видел девчонку в бусах и лентах, про которые всем было известно, откуда они берутся; никто не знал, на что она (Джудит) закрывала глаза во время примерки и шитья

того самого платья (отец говорил, что Джудит и в самом деле этим занималась; девчонка Уошу не соврала -- они обе целую неделю с утра до вечера оставались одни в доме; и о чем они могли разговаривать, о чем могла говорить Джудит, когда девчонка стояла перед нею в том, что служило ей нижней рубашкой, и исподлобья следила за нею с этим своим угрюмым, замкнутым, дерзким и испуганным выраженьем; что она ей отвечала, что могла сказать такого, что Джудит постаралась пропустить или не пропустить мимо ушей -- этого не знал никто). Но вот подошло время обеда, а он все не возвращался, и только тогда она сама отправилась на конюшню или послала Клити и узнала, что кобыла ночью ожеребилась, но что его там нет. И только к вечеру она нашла какого-то мальчишку, дала ему монетку в десять центов и велела сходить в старый рыбачий лагерь спросить Уоша, где Сатпен, и мальчишка, насвистывая, обогнул полусгнившую лачугу и, может, сперва увидел косу, а может, тело, лежавшее в траве, которую Уош еще не успел скосить, закричал, оглянулся и увидел, что Уош смотрит на него из окна. Потом, примерно неделю спустя, поймали эту черномазую, повитуху, и она рассказала, будто в то утро совсем не знала, что Уош был там, когда она услышала стук копыт и шаги Сатпена, и он вошел, остановился возле соломенного тюфяка, на котором лежала девчонка с ребенком, и сказал: "Пенелопа (так звали кобылу) сегодня утром ожеребилась. Отличный жеребенок. Будет как две капли воды похож на своего отца -- помнишь, какой он был, когда я в шестьдесят первом году поехал на нем на Север?" -- и старуха черномазая, по ее словам, ответила: "Да, господин", а он показал хлыстом на тюфяк и спросил: "Ну, старая ведьма, говори -- жеребец или кобыла?" -- и она ему ответила, и тогда он с минуту постоял, опустив руку с хлыстом к ноге; он не шевелился; полоски солнечных

лучей, что пробивались сквозь щели в стене, падали на него, на его седые волосы, на совсем еще не тронутую сединою бороду; и она сказала, что увидела его глаза, а потом сверкавшие сквозь бороду зубы и хотела убежать, но не могла, потому что ноги у нее совсем отнялись и не давали ей встать и убежать; и потом он снова глянул на лежавшую на тюфяке девчонку и сказал: "Очень жаль, Милли. Будь ты кобылой, я б отвел тебе хорошее стойло на конюшне", повернулся и вышел вон. Но она все еще не могла двинуться с места и даже не знала, что Уош на дворе; она только услыхала, как Сатпен сказал: "Отойди, Уош. Не смей ко мне прикасаться", а в ответ раздался тихий, едва слышный голос Уоша: "А вот и посмею, полковник", и тогда Сатпен повторил: "Отойди, Уош!" -- на этот раз уже сердито, и тут она услыхала, как он ударил Уоша хлыстом по лицу, но не помнит -- слышала ли звон косы или нет, потому что вдруг почувствовала, что силы опять к ней вернулись, и тогда она встала, выбежала из лачуги и через заросли кинулась прочь...

-- Подожди, -- вмешался Шрив. -- Подожди. Ты хочешь сказать, что у него наконец появился сын, которого он хотел иметь, а он все равно...

-- ...еще до полуночи прошел три мили туда и обратно за старухой черномазой, а потом всю ночь сидел на покосившемся крыльце, пока наконец не забрезжил рассвет; тут внучка перестала кричать, и один раз даже послышался крик ребенка, а он все сидел и ждал Сатпена. Отец говорил, что и тогда еще душа его была спокойна, хотя он знал, что будут к вечеру говорить во всех хижинах по всей округе -- точно так же, как знал что говорили последние четыре или пять месяцев, когда положение его внучки (которого он никогда не пытался скрывать) не могло уже вызвать никаких сомнений: {Уош Джонс в конце концов поймал старика Сатпена. У него на это целых двадцать лет

ушло, но теперь старик Сатпен попался ему на крючок, и уж теперь ему ни за что не вырваться -- разве только с мясом} Вот что, говорил отец, он думал, ожидая на крыльце, куда его отправила, прогнала старая повитуха, а может, он даже стоял, прислонись к тому самому столбу, возле которого уже два года ржавела коса, а внучка теперь кричала через равные промежутки времени, как заведенная, но душа его была спокойна, он ни о чем не беспокоился и не тревожился, и наверно, говорил отец, он был словно в тумане, и в голове его блуждали разные мысли (ведь мораль у него была почти такая же, как у Сатпена, и она говорила ему, что он прав -- назло всему порядку вещей, всем обычаям и всему остальному), мысли, которые всегда каким-то непонятным образом связывались со стуком копыт скачущего галопом коня -- даже в старое мирное время, о котором никто теперь не помнил, а уж за четыре года войны, на которой он не был, этот галоп стал еще более лихим и оглушительным, и быть может, говорил отец, в нем он и нашел ответ на все свои вопросы, быть может, именно тогда, прорвавшись сквозь туман, на желтом предрассветном небе перед ним возник величавый гордый образ человека, что скакал во весь опор на величавом гордом призрачном коне; и тут его мысли прояснились, и перед ним, не нуждаясь ни в оправданиях, ни в объясненьях, говорил отец, предстало воплощение его одинокой мечты, понятное и ясное, недоступное никакой человеческой скверне: {Что перед ним все эти янки, которые убивали нас и наших, которые убили его жену, сделали вдовой его дочь, выгнали из дома его сына, украли у него черномазых и разорили его землю; что перед ним весь этот округ, за который он дрался, а тот в благодарность заставил его открыть маленькую сельскую лавчонку, чтоб он мог заработать себе на пропитание; что перед ним все униженья и лишенья, какие тот ему поднес,

словно горькую чашу, про которую сказано в Библии. И разве может быть, чтоб я двадцать лет жил с ним рядом, а он меня не переделал? Пускай я не такой, как он, пускай я никогда не скакал галопом на коне. Но все равно он тащил меня за собой всюду, куда ни шел. И мы с ним можем еще много чего сделать и сделаем -пусть он мне только укажет, что я должен делать}; и, быть может, он все еще стоял, держа за повод жеребца, когда Сатпен вошел в лачугу, все еще слышал топот копыт, видел, как гордый призрачный всадник скачет галопом, исчезает и возникает вновь, меняя свое обличье по мере того, как проходят годы, скачет галопом к своему блистательному торжеству и, остановив свой вечный неустанный бег, застывает, размахнувшись саблей, под изрешеченным пулями флагом, что рушится с горящих грозовых небес; он стоял и слышал, как Сатпен, войдя в дом, обратился к его внучке с одной-единственной фразой привета, вопроса и прощанья, и отец говорил, что в ту секунду, когда Уош увидел, как Сатпен с хлыстом в руке вышел из дома, ему, наверно, показалось, что земля уходит у него из-под ног, и он подумал -- спокойно, словно бы во сне: {Не мог я слышать то, что слышал. Не мог, и все тут думал он. Вот, значит, что заставило его подняться в такую рань} думал он {Тот жеребенок, а вовсе не я и не мое дитя. И даже не собственное дитя заставило его встать с кровати} и может, он все еще не чуял под ногами землю, не чуял под собою ног, а может, даже не слышал собственного голоса, когда Сатпен увидел его лицо (яйцо человека, который за все двадцать лет не сделал ни шагу без его приказа -точь-в-точь как его жеребец) и остановился: "Вы сказали, что, будь она кобылой, вы отвели бы ей хорошее стойло на конюшне"; может, даже не услышал, как Сатпен вдруг в сердцах сказал: "Отойди. Не смей ко мне прикасаться", да только он не мог этого не слышать, ибо тотчас же

ответил: "А вот и посмею, полковник", и Сатпен снова сказал: "Отойди, Уош", а потом старуха услыхала свист хлыста. Но только он ударил его хлыстом дважды, потому что в ту ночь на лице Уоша обнаружили два рубца. Быть может, эти два удара даже сбили его с ног; быть может, именно вставая, он ухватился за косу...

-- Подожди, -- перебил Шрив, -- ради бога, подожди. Ты хочешь сказать, что он...

-- ...весь тот день просидел у окошка, откуда он мог следить за дорогой; возможно, он поставил косу на место и пошел прямо в дом, и, наверно, внучка жалобно спросила, что там за шум, и он ответил: "Какой шум, детка?" -- и может, стал уговаривать ее поесть солонины, которую, наверно, в субботу вечером захватил из лавки, а может, пытался соблазнить ее грошовой, липкой, как клей, конфетой из полосатого кулька, и, наверно, сам поел и уселся у окошка, откуда было видно тело и косу в траве и можно было следить за дорогой. Там он и сидел, когда мальчишка, насвистывая, завернул за угол лачуги. И отец говорил, что тут Уош, наверно, понял, что ждать уже недолго, все произойдет, как только стемнеет, что он, наверно, сидел там и чуял, чувствовал, как они собираются с лошадьми, собаками и ружьями -- любопытные и жаждущие мести, -- мужчины того же сорта, что и Сатпен, которые ели за его столом, когда ему (Уошу) еще не позволяли подходить к дому ближе увитой виноградом беседки, -- мужчины, которые командовали другими, помельче, и вели их в бой; мужчины, у которых, наверно, тоже были бумаги от генералов, где говорилось, что и они -- храбрейшие из храбрых (мужчины, которые в доброе старое время тоже надменно и гордо скакали на великолепных конях по великолепным плантациям), что и они символ восхищенья и надежды, орудие отчаянья и горя; те, от кого ему, очевидно, полагалось бежать, хотя ему,

наверно, казалось, что все равно, бежать от них или, напротив, к ним; ведь, обратись он в бегство, он побежит всего лишь от одной толпы хвастливых и злобных призраков к другой, потому что они (эти люди) одни и те же по всей земле, которую он знал; меж тем как он уж стар, слишком стар, чтоб убежать далеко, и даже если б он и убежал, ему все равно никогда от них не уйти, хоть он бежал бы очень долго и убежал бы очень далеко; шестидесятилетнему ни за что не убежать так далеко, чтоб выбраться за пределы земли, где эти люди живут и устанавливают свои порядки и свои законы, и, говорил отец, быть может, впервые в жизни он начал понимать, почему армия янки или любая другая армия могла победить их -- доблестных, гордых и смелых, избранных и достойных, образец храбрости, гордости и чести. Солнце уже, наверно, клонилось к закату, и он, наверно, чувствовал, что они уже совсем близко; ему, наверное, казалось, говорил отец, будто он их даже слышит -- все голоса, весь шепот, все, что скажут завтра, завтра и завтра, после того, как уляжется первый приступ ярости: {Старине Джонсу теперь каюк. Он думал, что поймал Сатпена на удочку, но Сатпен оставил его в дураках. Он думал, что поймал его на удочку, да только сам остался в дураках}, а потом он, может, даже произнес все это вслух; отец говорил, что, может, он даже крикнул: "Но я этого никогда не ждал, полковник! Вы сами знаете, что никогда!", потом внучка, наверное, зашевелилась и снова что-то жалобно пролепетала, и он подошел, успокоил ее, вернулся к окошку и снова стал говорить сам с собой, но теперь уже осторожно и тихо, потому что Сатпен был совсем близко и мог ясно слышать его без всякого крика: "Вы сами знаете, что я никогда. Никогда я не ждал, не просил и не хотел ничего такого, не то что от вас, а вообще ни от одной живой души. И я никогда этого не просил. Я не думал, что это будет

надо. Я просто сказал сам себе {Незачем. Незачем парню вроде Уоша Джонса задавать вопросы или не верить человеку, про которого сам генерал Ли своей рукой написал бумагу, что он храбрый}. Храбрый (может, опять громко, опять забывшись) Храбрый! Лучше б ни один из них не вернулся назад в шестьдесят пятом!", а потом подумал {Лучше б все такие как он и такие как я никогда не родились бы на свет. Лучше пусть всех нас, которые остались, сметет с лица земли, чтобы другой Уош Джонс никогда не видел, как вся его жизнь пошла прахом и сгорела, как сухая мякина на костре} Потом они приехали. Он, наверно, слышал, как они приближались по дороге -- люди, лошади и собаки, и видел фонари, потому что уже стемнело. Майор де Спейн, который тогда был шерифом, спешился и увидел тело, но потом говорил, что Уоша он не видел и не знал, что он там, пока Уош тихим голосом не спросил из окна прямо у него над головой: "Это вы, майор?" Де Спейн велел ему выходить, и потом рассказывал, что когда Уош ответил, что сейчас придет, голос его звучал тихо-тихо, слишком тихо, слишком спокойно, чересчур тихо и спокойно, и де Спейн потом даже говорил, будто до него не сразу дошло, что это слишком уж тихо и спокойно: "Одну минутку. Я только помогу внучке". -- "Мы ей сами поможем, -отвечал де Спейн. -- Выходи". -- "Так точно, майор, -- отозвался Уош. -- Одну минутку". И вот они ждали, стоя перед темным домом, а на следующий день -так сказал отец -- не меньше ста человек вспомнили, что у него был нож, каким мясники рубят мясо, острый, как бритва, и спрятанный в надежном месте -единственная во всей его безалаберной жизни вещь, которая всегда была в порядке и которой он гордился; да только когда они все это вспомнили, было уже поздно. Потому они и не знали, что он хочет сделать. Они услышали в темном доме его шаги, потом жалобный плаксивый голос

внучки: "Кто там? Дедушка, зажги лампу", потом снова его голос: "Для этого не надо света, детка. Одна минутка -- и все"; потом де Спейн выхватил пистолет и крикнул: "Эй, Уош! Выходи оттуда!" Но Уош все еще не отвечал а только тихонько спрашивал внучку: "Где ты?" -- и плаксивый голос отвечал ему: "Да здесь же! Где мне еще быть? Что ты...", потом де Спейн сказал: "Джонс!" -- и стал осторожно подниматься по сломанным ступенькам, как вдруг раздался крик внучки; и все, кто там был, потом утверждали, будто слышали, как нож полоснул по шейным позвонкам, но де Спейн этого не слышал. Он только сказал, что услыхал, как Джонс вышел на крыльцо, и отскочил назад, но понял, что Джонс бежит не к нему, а в другую сторону, туда, где лежал труп, но что о косе он не подумал и, только отбежав на несколько футов от лачуги, увидел, как Уош нагнулся, снова выпрямился и бросился к нему. Вернее, сказал де Спейн, он бросился ко всем ним, на фонари, и тут все увидели, что он держит над головой косу, увидели его лицо, его глаза, потому что, высоко подняв над головой косу, он бежал прямо на фонари и на дула ружей, бежал молча, без звука, а де Спейн пятился от него и кричал: "Джонс! Стой! Стой, или я буду стрелять! Джонс! Джонс! {Джонс!}"

-- Подожди, -- сказал Шрив. -- Ты хочешь сказать, что у него родился сын, которого он так хотел, и после всех этих хлопот и треволнений он повернул кругом и...

-- Да. В тот вечер он сидел у дедушки в конторе и, слегка откинув голову, объяснял дедушке -- так, как, наверно, объяснял правила арифметики своему сыну Генри, когда тот учился в четвертом классе: "Видите ли, я хотел только сына -- и ничего больше. Мне кажется, что это -- принимая во внимание современные мне события -- едва ли можно почитать чрезмерным требованием к природе и обстоятельствам..."

- {Подождешь ты или нет?} -- сказал Шрив -- ...что, обретя в лачуге сына, который после всех этих хлопот и треволнений лежал наконец в лачуге, ему непременно понадобилось до такой степени раздразнить деда, чтоб тот убил сперва его, а потом и ребенка?

- Что? -- сказал Квентин. -- Это был вовсе не сын. Это была девочка.

- А-а... -- отозвался Шрив. -- Пошли. Уйдем из этого ледника и ляжем спать.

VIII

Сегодня дыхательных упражнений не будет. Окно, выходящее на замерзший пустой квадратный дворик, осталось закрытым; на противоположной стене погасли почти все окна, кроме двух или трех; часы скоро пробьют полночь, и их невозмутимый мелодичный звон, прозрачный и хрупкий, как стекло, прозвенит в неподвижном студеном воздухе (снег уже прошел).

-- Итак, старик велел черномазому позвать Генри, -- сказал Шрив. -- И когда Генри явился, старик сказал: "Они не могут пожениться, потому что он твой брат", а Генри возразил: "Ты лжешь" -- прямо так, с места в карьер, -без остановки, без передышки, без ничего, вроде как бы ты нажал кнопку, и в комнате зажегся свет. Старик просто сидел, он даже не шелохнулся, не ударил его, и потому Генри не сказал еще раз: "Ты лжешь" -- ведь теперь он знал, что так оно и есть, он просто сказал: "Это неправда"; он не сказал: "Я не верю", а только: "Это неправда", потому что теперь он, может, опять посмотрел старику в лицо и -- демон тот был или нет -- увидел в нем скорбь и жалость, не к самому себе, а к Генри: ведь Генри был просто молод, тогда как он (старик) знал, что у него еще остается храбрость и даже весь его ум...

Шрив теперь уже не сидел, он снова стоял у стола напротив Квентина. В пальто, натянутом на купальный халат и криво застегнутом не на те пуговицы, огромный

и бесформенный, как взъерошенный медведь, он стоял, уставившись на Квентина (южанина, чья кровь быстро остывала и потому бежала более стремительно, быть может, чтоб уравновесить резкие колебания температуры, а быть может, просто находилась ближе к поверхности), который, сгорбившись, сидел на стуле, засунув руки в карманы, словно пытался согреться, обхватив себя обеими руками; он казался очень хрупким и даже болезненно бледным в свете лампы, в розовом отблеске, который теперь не давал ни тепла, ни уюта, между тем как дыханье их обоих превращалось в еле заметный парок в этой холодной комнате, где их теперь было не двое, а четверо, и те двое, которые дышали, были теперь не два отдельных индивида, а нечто одновременно и большее и меньшее, чем близнецы, нечто, объединенное их общей юностью. Шриву было девятнадцать лет, на несколько месяцев меньше, чем Квентину. У него и вид был точь-в-точь как у девятнадцатилетнего; он принадлежал к тем людям, чей возраст никогда нельзя правильно определить, потому что их внешность точно соответствует их возрасту, и потому ты говоришь себе, что ему или ей никак не может быть столько лет: ведь их внешность слишком точно соответствует их возрасту и, стало быть, они не могут этим не воспользоваться, и оттого никогда нельзя безоговорочно поверить, что им действительно столько лет, сколько они говорят или, доведенные до полного отчаяния, признают, или же столько, сколько кто-то про -них сказал, и каждому из таких людей достанет силы и готовности на двоих, на две тысячи или на всех им подобных. Не двое в комнате университета в Новой Англии, а один в Миссисипи шестьдесят лет назад, в библиотеке, украшенной по зимнему времени и празднику остролистом и омелой -- букеты в вазах на камине, гирлянды на картинах, развешанных по стенам, и, может быть, две-три веточки

над фотографией, изображающей группу -- мать с двумя детьми -- на письменном столе, за которым сидел отец, когда вошел сын; и вот они оба, Шрив и Квентин, думают о том, как после слов отца и еще до того, как потрясение, вызванное его словами, прошло и слова начали приобретать смысл, Генри (позже он об этом вспомнит) увидел в окне за головой отца, как его сестра со своим возлюбленным медленно идет по саду; она слушает, наклонив голову, голова возлюбленного склонилась над ней; они медленно проходят мимо, в том ритме, который отмечают и отмеряют не глаза, а сердца, проходят и скрываются за какими-нибудь зарослями или за кустом, сверкающим звездами белых соцветий -жасмина, таволги или жимолости, а может, даже китайской розы с россыпью лишенных аромата мелких цветочков, тех, что никак не сорвешь из-за слишком коротких стебельков -- названия, цветы, которых Шрив, вероятно, никогда не слыхал и не видал, хотя тот ветер, что ласково их взлелеял, сначала овевал лицо ему. Здесь, в Кеймбридже, не будет иметь значения, что в том саду тоже была зима, и оттого в нем не осталось ни листочка, ни цветка; ни тем более кого-нибудь, кто мог там гулять и кого можно было там увидеть, -- ведь, судя по дальнейшим событиям, в том саду тоже была ночь. Но это не имело значения, потому что происходило так давно. И уж во всяком случае, это не имело значения для них (для Квентина и Шрива): они могли, даже не шелохнувшись, столь же свободные сейчас от плоти, как отец, который тогда приказывал и запрещал; сын, который не верил и отвергал; возлюбленный, который на все соглашался; возлюбленная, которая еще не понесла утраты, -- они могли без скучного томительного перехода от очага и сада к седлу уже сейчас гулко стучать подковами по промерзшим ухабам в ту декабрьскую ночь, на заре того рождественского дня, дня радости и мира,

доброты и остролиста и поленьев, горящих в очаге, и не вдвоем, как тогда, а вчетвером, скакать верхами на двух лошадях в кромешной тьме; равным образом не имело значения ни какие у них лица, какими именами они себя называли, ни как называли их другие -- до тех пор, покуда в их жилах текла еще кровь, кровь, бессмертная недолговечная неизменная юная кровь, для которой честь превыше ленивого несожаленья, а любовь -- превыше беспечного тупого стыда.

-- А Бон про это ничего не знал, -- продолжал Шрив. -- Старик не шелохнулся, и Генри на этот раз не сказал: "Ты лжешь", он сказал: "Это неправда", и старик сказал: "Спроси у него. Если так, спроси у Чарльза", и тогда Генри понял, что именно это отец все время имел в виду и что именно это имел в виду и он сам, когда сказал отцу, что тот лжет -- ведь отец не сказал ему просто: "Он твой брат", а сказал: "Он все время знал, что он брат тебе и твоей сестре". Но Бон ничего не знал. Послушай, разве ты не помнишь, как твой отец говорил, что он -- старикан, демон, -- казалось, ни разу не задумался о том, как та, другая жена ухитрилась его выследить, отыскать; ни разу не задумался о том, что она могла делать все это время, все тридцать лет с того дня, когда он с нею за все расплатился и получил в том расписку (так он считал) и своими глазами увидел, что все (так он считал) уничтожено, разорвано в клочья и развеяно по ветру; ни разу об этом не задумался, а думал только, что вот она как сделала -- захотела его выследить, и на тебе, выследила его и настигла. Значит, это не она рассказала Бону. Она бы не стала рассказывать, может, потому, что знала: он -- демон -- все равно подумает на нее. А может, она так и не собралась с духом ему рассказать. Может, ей никогда и в голову не приходило, что ей придется еще кому-то рассказывать, как ее обидели и как она страдала -- ведь на всем свете у ней нет никого ближе ее единственного

родного сына. Но может, не успел он вырасти, еще не знал слов, а она уже начала ему рассказывать, а к тому времени, когда он вырос и стал понимать, что ему говорят, она успела уже столько раз и так настойчиво все это повторить, что сама перестала вникать в свои слова, и потому дело дошло до того, что когда ей казалось, будто она их произносит, она на самом деле молчала, а когда ей казалось, будто она молчит, она на самом деле кипела ненавистью и злобой, которые лишали ее забвения и сна. Но может, она просто не хотела, чтобы он об этом узнал тогда. Может, она готовила его к тому часу и к той минуте -- она не знала, когда они настанут, но что они настанут, знала точно, ибо иначе и быть не может, ибо иначе ей пришлось бы поступить как тетушка Роза и отрицать, что она когда-либо жила на свете вообще, -- к той минуте, когда ему (Бону) придется встать бок о бок (не лицом к лицу, а именно бок о бок) с отцом, и тогда судьба, или удача, или справедливость, или как она там это называла довершат остальное (они и довершили, и даже лучше, чем она могла бы измыслить, надеяться или даже мечтать, и твой отец сказал, что, будучи женщиной, она, наверно, этому даже и не удивилась) -- сама его растила, сама воспитывала, своими руками умывала, кормила и укладывала спать и, как лекарство, отмеряла ему игрушки, сласти, развлечения, радости и нужды, совсем как у других детей -- и вовсе не потому, что в том была необходимость: ведь на те деньги, на тот куш, который он (демон) ей отвалил, от которого добровольно отказался, дабы погасить свои моральные счета, она могла бы нанять или купить сотню слуг, которые сделали бы это за нее -- как миллионер, который может нанять сотню грумов и жокеев, но для которого существует лишь одна-единственная, еще не бравшая приза лошадь, одно-единственное счастливое мгновенье, когда сочетаются друг с другом сердце,

мускулы и воля, и ради них он (миллионер) готов терпеть и пропотевший комбинезон, и запах навоза в конюшне; и вот мать вела его к той минуте, когда она ему скажет: "Он твой отец. Он бросил нас с тобой и запретил тебе носить его имя. Ступай", а потом сядет и предоставит господу богу закончить все самому -- пистолетом, ножом или дыбой, погибелью, бедою или горем, предоставит господу богу отдать команду спустить курок или повернуть колесо. О господи, мне даже кажется, будто я его вижу: маленький мальчик, который, еще не успев узнать свое имя или название города, где он живет, еще не научившись их произносить, уже понимает, уже ждет, что его будут поминутно отрывать от игры, хватать и держать обеими руками, дрожащими от исступленной любви (или, по крайней мере, от того, что он за таковую принимал), исступленно стиснув между колен, а лицо, которое он запомнил еще прежде, чем начал помнить что-либо, всегда его ублажало, пеклось о его питании, пищеварении и забавах, заботилось, чтобы он был в безопасности и в тепле; это застывшее разгоряченное лицо обрушивалось на него откуда-то сверху; он принимал этот перерыв как нечто закономерное, как одно из естественных явлений бытия; лицо, исполненное страстного, почти невыносимого непрощенья, почти как лихорадка (не горечь и не отчаянье, а просто неукротимое стремление к мести), как одно из проявлений материнской любви -- а он и понятия не имел, зачем это все нужно. Он был слишком мал, чтобы извлечь какой-нибудь связный смысл из злобы, ненависти и бешеной спешки, он не понимал и оставался безразличным, ему было просто любопытно, и он составил себе (без всякой посторонней помощи, да и кто мог ему в этом помочь?) свое собственное представление не то о Пуэрто-Рико, не то о Гаити или еще каком-то месте, где, как он смутно догадывался, он

появился на свет, -- так благовоспитанные дети составляют себе представление о небесах или капустной грядке или еще каком-то месте, где они появились на свет; причем место его рождения отличалось лишь тем, что никто (его мать, во всяком случае) не предполагал, что он когда-либо должен туда вернуться (а быть может, когда он доживет до ее лет, он тоже станет приходить в ужас всякий раз, как обнаружит у себя в мыслях хотя бы тень или подобие желания туда вернуться). Предполагалось, что он не знает, когда и зачем он оттуда уехал, знает только, что он оттуда бежал и что сила, которая создала это место, чтобы он его ненавидел, вызволила его оттуда, чтоб он мог еще крепче его ненавидеть и никогда ему не прощать, живя в тишине и покое (хотя словом "мир" это состояние тоже не обозначишь), и должен благодарить бога, что ничего об этом месте не помнит, хотя в то же время не должен или даже не смеет о нем забывать... возможно, он даже считал, что у всех остальных мальчиков тоже нет отцов, и это казалось ему само собою разумеющимся, а что его чуть ли не каждый день отрывают от любой невинной забавы, когда он никому не мешает и даже обо всем на свете позабыл, отрывает кто-то, потому что этот кто-то больше и сильнее его, и что потом его минут пять держат под чем-то вроде лопнувшей водопроводной трубы, из которой хлещет поток непостижимой ярости, горькой тоски, ревнивого и мстительного гнева, -- все это он считал неотъемлемою частью детства, которую матери всех детей получили в наследство от своих матерей, а те в свою очередь от своих матерей из того Пуэрто-Рико, или Гаити, или еще какого-то места, где все мы появились на свет, но где никто из нас никогда не жил. И потому, когда он вырастет и у него тоже будут дети, ему тоже придется им это передать (и, быть может, он тогда же решит, что это слишком уж хлопотно, что у него не будет детей

или что он, по крайней мере, надеется, что их у него не будет), и, значит, ни у одного мужчины нет отца, ни у кого нет своего Пуэрто-Рико или Гаити, а лица всех матерей, которые когда-либо рождали детей в чуть ли не заранее предопределенные минуты, обрушиваясь на них откуда-то из темных древних всеобщих обид и оскорблений, которых сама живая, настоящая, наделенная даром речи человеческая плоть никогда не испытывала, а просто получила по наследству; а все мальчики, которые когда-либо дышали и ступали по земле, вышли на свет из этой одной-единственной неуловимой двусмысленной и непонятной отцовской головы, и потому все они -- кровные братья, во веки веков, везде и всюду под солнцем...

Квентин и Шрив уставились, вернее, воззрились друг на друга; их спокойное, размеренное дыхание медленно превращалось в легкий парок в воздухе, теперь ледяном, точно в склепе. Было что-то странное в том, как они друг на друга смотрели, странное, спокойное и глубоко сосредоточенное; так могут смотреть друг на друга не два молодых человека, а скорее юноша и очень молоденькая девушка из глубины самой невинности, словно они застенчиво и откровенно чего-то ищут, и каждый их взгляд полон древней как мир одержимостью юности -- не тяжким грузом времени, что пригибает к земле стариков, а его текучим потоком, ярким следом всех убегающих, потерянных мгновений пятнадцати- и шестнадцатилетних.

-- Потом он вырос и вышел из-под ее опеки -- против ее воли (может, даже против своей воли, а может, против воли обоих), но ему это было все равно. Он понял: она что-то замышляет, но ему и это было все равно; ему даже было все равно, что он не знает, что именно; он вырос и понял, что она все время придавала ему определенную форму, закаливала, оттачивала как орудие своих замыслов, понял, что при их

осуществлении у нее не дрогнет рука, а может, постепенно уразумел (или увидел), что она обманом заставила его принять эту форму и закалку, по ему и это было все равно -- ведь к тому времени он уже, наверно, убедился, что на свете существуют только три вещи -- дыхание, наслажденье, тьма и ничего больше; что без денег не может быть наслажденья, а без наслажденья будет даже не дыхание, а всего лишь заглатывание воздуха протоплазмой и что слепой неорганизм обрушится во тьму, где даже еще не начал брезжить свет. А деньги у него были, ибо он знал, что она знает: лишь с помощью денег она сможет его умаслить, принудить его взять барьер, когда настанет день главных скачек, и потому не смеет ни в чем его стеснять, и знает, что он это знает, так что он, возможно, даже ее шантажировал, подкупал, например, так: "Ты мне дашь сколько я захочу денег, а я пока не стану допытываться, зачем и почему". А может, она была так занята его подготовкой, что даже никогда и не задумывалась о деньгах -- ведь в промежутках между приступами ненависти и гнева у нее, наверно, никогда не хватало времени о них вспоминать, пересчитывать их или даже просто думать, сколько их у нее есть, и потому следить за его тратами мог один лишь адвокат. Ему (Бону) наверняка прежде всего стало ясно именно это: ему достаточно пожаловаться матери на адвоката -- совсем как лошади миллионера достаточно хоть раз прийти в мыле чуть больше чем следует, и у нее завтра же будет новый жокей. Ну ясно, кто это мог быть -- только адвокат, тот адвокат, что смотрел на свою шальную миллионершу как на поле, которое надо возделывать -- она, наверное, так мало заботилась о деньгах, что, подписывая чеки, даже не смотрела, не стоит ли на них уже чья-нибудь подпись; она, конечно, с тех самых пор, как он себя помнил, и даже еще раньше уже плела интриги и замышляла

планы, готовясь к тому дню, когда он без промедленья превратится в кучку обильно унавоженной земли -- тот адвокат, который пахал и сеял и снимал урожай и с него и с матери, как если б он уже в эту землю превратился, тот самый адвокат, у которого в потайном сейфе, возможно, даже был потайной ящик, а в ящике хранилась тайная бумага, а может, даже карта, и в нее были воткнуты булавки с разноцветными головками, как у генералов на походе, и все записи зашифрованы: {Сегодня Сатпен обманом выманил у пьяного индейца его миль девственной земли стоим. 25 тыс. долл. В 2.31 принес с болота последнюю доску для дома, стоим. вм. с землей 40 тыс. Сегодня в 7.52 пополудни женился. Угроза двоеженства, стоим. минус ноль, если срочно не подвернется покупатель. Маловероятно. Несомненно, в тот же день совокупился с женой. Накинем 1 год, -- а затем, может быть, снова дата и даже час: Сын. Действ, стоим, возм. хотя маловероятн. принуд. продажа дома и земли плюс стоим, урожая минус четверть, принадл. сыну. Эмоц. стоим, плюс 100 % от ноля плюс стоим, урожая. Накинем 10 лет, еще один или неск. детей. Действ. стоим, принуд. продажа дома и воздел, земли плюс ликвидные фонды минус доля детей. Эмоц. стоим, плюс 100 % ежегодн. прирост для каждого ребенка плюс действит. стоим, плюс ликвидн. фонды плюс приобрет. кредит} -- а может быть, тут же и тоже с датой: Дочь и, может, дальше стоял вопросительный знак и даже еще слова: дочь? дочь? дочь? они постепенно расплывались -- не потому, что расплывалась мысль, а, наоборот, потому, что мысль здесь остановилась, немного отступила и начала распространяться вширь, как если б ты, к примеру, перегородил палкой ручеек; она начала подниматься и медленно разливаться вокруг него где-нибудь в таком месте, где он мог бы запереть дверь, спокойно сидеть и вычитать суммы, которые Бон растрачивал на шлюх и

на шампанское, из капитала, которым владела его мать, и прикидывать, сколько останется от него на следующий день, на следующий месяц или год или пока Сатпен окончательно созреет -- сидеть и думать о доброй полновесной монете, которую Бон просаживал на лошадей, на костюмы, на шампанское и на женщин (он наверняка задолго до матери узнал об окторонке и о морганатическом браке -- если это вообще скрывалось, -- а может, даже держал соглядатая в спальне, как, очевидно, и в спальне у Сатпена, а может, он даже сам ее туда подсунул, сказав себе, как говорят про собаку: {Он начинает шалить. Ему нужен поводок. Не намордник, а просто какой-нибудь тонкий поводок, чтоб он не смог пролезть внутрь чего-либо, что огорожено забором)}, и только он один пытался за всем этим следить постольку, поскольку ему хватило смелости и, разумеется, без особого успеха -- ведь он отлично знал, что стоит только Бону пойти пожаловаться матери, и скаковая лошадь -- буде она того пожелает -- получит золотую кормушку, а если жокей не станет смотреть в оба, то и другого жокея, -- и вот он считал деньги, прикидывал, какую сумму -- при этом нормальном приросте -- он огребет чистоганом в ближайшие несколько лет, сидел и мучительно размышлял над дилеммой: не умыть ли руки от всех Сатпеновых махинаций, не собрать ли все, что осталось, да поскорее смотаться в Техас. Однако, чуть только ему приходила в голову эта мысль, он вспоминал обо всех тех деньгах, которые Бон уже растранжирил, и о том, что, удери он в Техас лет десять или пять или даже год назад, он огреб бы намного больше, так что, быть может, ночами, ожидая, когда в окнах забрезжит белесый рассвет, он начинал смахивать на тетушку Розу, какой она, по ее словам, была, и ему приходилось отрицать, что он вообще когда-либо жил на свете (а может, он даже желал и вовсе на свет не родиться),

если б не эти двести процентов от действительной стоимости каждый Новый год -- и тут вода снова отступала от палки и поднималась и разливалась вокруг него, медленно и неуклонно, как свет, а он сидел там в белом сиянье ясновидения (или прозорливости, или веры в человеческое несчастье и глупость, или как там это ни назови), которое открывало ему не только то, что могло бы произойти, но и то, что действительно произойдет, а он отказывался верить, что это произойдет -- не оттого, что это явилось ему как виденье, а оттого, что оно непременно будет связано с любовью и честью, со смелостью и гордостью -- и все же верил, что это могло бы произойти: не потому, что это логично или возможно, а потому, что для всех причастных к этой истории лиц это было бы наихудшим из всего, что могло бы с ними случиться, и хотя он мог бы поверить в существование порока, добродетели, смелости или трусости, если б ему показали живых носителей этих свойств, равно как он мог бы поверить в существование смерти, если б ему показали мертвое тело, в несчастье он все же верил, потому что сухое, суровое, изнуряющее, евнушеское воспитание оставляет счастье и радости человека на волю божию, а уж бог в обмен на это передаст все его горести, глупости и несчастья на съедение вшам и блохам из фолиантов Литтлтона и Коука. А старуха Сабина...

Они уставились, воззрились друг на друга. Говорил все это Шрив, хотя, если б не ничтожные различия, внедренные в них несколькими разделявшими их градусами широты (различия не в интонации, не в высоте тона, а в оборотах речи и выборе слов), говорить мог бы любой из них, и говорили в известном смысле оба: оба думали одно, и голос, который выражал мысль, был не чем иным, как мыслью, обретшей звуковую, словесную форму; они вдвоем взяли всю эту разношерстную компанию, населявшую старинные

побасенки и сплетни, и создали из нее людей, которых, быть может, нигде никогда не существовало; это были лишь тени, но тени не живых, облеченных в плоть и кровь людей, которые некогда жили и умерли, а тени тех, кто, в свою очередь (по крайней мере, для одного из них, для Шрива), были тоже тенями, спокойными и тихими, как видимый глазу шелест превращавшегося в пар дыхания их обоих. Часы теперь начали бить полночь; их мелодичный размеренный звон едва проникал в закрытое, запорошенное снегом окно.

-- ...старуха Сабина, которая даже ради спасения собственной жизни не могла бы сказать ни тебе, ни адвокату, ни Бону да и никому вообще, чего она хочет и ждет, на что надеется, ибо ей, как женщине, вовсе не обязательно было хотеть или ждать чего-то, надеяться на что-то, а достаточно было просто хотеть, надеяться и ждать (и к тому же, как говорил твой отец, когда ты полон хорошей здоровой ненависти, ты можешь и вовсе обойтись без надежды, потому что тебя будет питать одна только ненависть)... старуха Сабина (она была не так уж стара, а просто перестала за собой следить, вроде того как бы ты, к примеру, чистил и смазывал котлы и засыпал в угольную яму первосортный уголь, но не давал себе больше труда мыть палубу и драить медяшку; просто перестала следить за своей внешностью. Она не разжирела -- все, что она проглатывала, слишком быстро перегорало, пересыхало прямо у нее в глотке, не успев даже дойти до желудка; еда не доставляла ей ни малейшего удовольствия, необходимость есть раздражала ее так же, как забота об одежде; ее равно раздражало и то, что старая одежда изнашивалась, и то, что надо выбирать себе новую; она не испытывала ни малейшего удовольствия ни от его (ни тот, ни другой не произнес: "Бона")... элегантной фигуры в элегантных штанах, ловко облегавших его ноги, и в элегантных сюртуках, ловко

облегавших его плечи, ни от сознания, что его часы и запонки, его белье, лошади и экипажи с желтыми колесами (не говоря о девицах) лучше, чем у большинства других; все это было лишь неизбежной докукой, от которой ему надо будет избавиться прежде, чем он сможет чем-нибудь быть ей полезным, -- точно так же, как ему надо было пережить прорезание зубов, ветряную оспу и детскую мягкость костей, чтобы он смог чем-нибудь быть ей полезным)... старуха Сабина получала от адвоката лживые доклады наподобие докладов, присылаемых в штаб с фронта; может, у адвоката в приемной даже сидел специальный черномазый только затем, чтобы их ей относить, может, раз в два года, а может, пять раз за два дня, смотря по тому, когда ей приспичит узнать новости и она начнет ему докучать, -- доклад, коммюнике, что, мол, теперь мы от него (от Сатпена) совсем близко, что он в Техасе или в Миссури, а может, даже и в Калифорнии (в Калифорнии? прекрасно -- это так далеко, что уже в силу одной лишь отдаленности не требует никаких доказательств, а напротив, заставляет принять все на веру); и мы теперь вот-вот его нагоним, а потому не беспокойтесь. Она и не беспокоилась, ни капельки не беспокоилась, она только приказывала подать карету и ехала к адвокату, она врывалась к нему -- вся в черном, ни дать ни взять осевший обрубок печной трубы, и на голове, может, даже и не шляпа, а всего лишь платок, так что не хватало только ведра и метлы, -- врывалась и говорила: "Он умер. Я знаю, что он умер, но как он смел, как он смел умереть"; при этом она имела в виду не то, что имела в виду тетушка Роза: {где нашли или как изобрели ту пулю, которая могла его убить} а нечто совершенное иное {Как допустили, чтобы он умер, не заставив его сначала признаться, что он был неправ, не заставив его раскаяться, сожалеть о содеянном и страдать}. И вот за следующие две минуты они почти

что его настигали (он, адвокат, показывал ей самое что ни на есть настоящее письмо, на английском языке, которого она не знала, -- оно, мол, только что получилось, когда она входила, он как раз послал за черномазым, чтобы тот ей его отнес; адвокат очень долго практиковался в искусстве ставить на письме нужную дату и теперь мог проставить ее, поворачиваясь к ней спиною на те две секунды, которые требовались, чтобы вынуть письмо из папки), настигали его, подбирались к нему так близко, что могли воочию убедиться, что он еще жив; до того близко, что, не дав ей даже сесть, адвокат ухитрялся вывести ее из конторы, посадить в карету и отправить домой, где, среди флорентийских зеркал, парижских драпри и стеганых неглиже она все равно выглядела как поломойка, в черном платье, которым даже пятью или шестью годами раньше, когда оно было еще совсем новым, побрезговала бы и кухарка; в одной руке она крепко держала, сжимала письмо, которого не умела прочесть (быть может, единственным словом, которое она могла в нем разобрать, было имя "Сатпен"), а другою отбрасывала со лба космы черных с проседью прямых волос; при этом она смотрела на письмо не так, как если бы она его читала, даже умей она его прочитать, а бросаясь, обрушиваясь на него откуда-то сверху, и глаза ее метали молнии, словно она знала, что читать его она сможет всего лишь одно мгновенье, что оно сможет остаться целым и невредимым всего лишь на одно мгновенье после того, как ее глаза его коснутся, и тут же вспыхнет и потому будет не прочитано, а поглощено огнем, и у нее в руках останется лишь горсточка рассыпчатой черной золы.

А он... (никто из них не называл имя Бона)... за нею наблюдал; он вырос уже достаточно, чтобы понять: то, что он считал детством, вовсе не детство; что других детей родили матери и отцы, между тем как его

создали вновь, когда у него появилась память; создали вновь, когда его детский костяк стал костяком юноши; создали вновь, когда из юноши он превратился в мужчину; его создали соединенными усилиями адвокат и женщина, которая, как он думал, кормит, умывает, укладывает его спать, ублажает его, придумывает для него развлечения потому, что он -- это он; он думал так, пока не вырос достаточно, чтоб убедиться: на самом деле она умывает, пичкает сладостями и развлекает вовсе не его, а некоего мужчину, который даже еще не появился на свет, которого даже она сама еще никогда не видела и который -- когда он действительно появится на свет -- будет чем-то совершенно отличным от этого юноши, подобно тому как динамит, уничтожающий дом и семью, а может, даже и все селение, -- вовсе не та славная невинная бумажка, что скорей предпочла бы легко и бесцельно носиться по ветру; не славные веселые опилки и даже не славные спокойные химические вещества, что предпочли бы тихо и мирно лежать в спокойной земле, где они именно так и лежали, покуда не явился нахальный тип в очках минус десять и не начал их оттуда выкапывать, коверкать, месить и мять -- его создали соединенными усилиями эта женщина и наемный адвокат (женщина, которая, как он теперь убедился, еще прежде, чем он стал себя помнить, уже воспитывала и готовила его к какой-то минуте, которая наступит и пройдет, после чего он, как он теперь увидел, станет для нее не более чем куском жирной, обильно унавоженной земли, а адвокат, который, как он теперь убедился, еще прежде, чем он стал себя помнить, уже пахал, засевал, поливал, удобрял его и снимал с него урожай, словно он в этот кусок земли уже превратился); и вот Бон за этой женщиной наблюдал, быть может, прислонившись к камину в своем элегантном костюме, овеянный фимиамом, если можно так выразиться, сомнительной

гаремной добродетели, наблюдал, как она смотрит на письмо, и ему даже не приходила в голову мысль Я вижу свою мать обнаженной ибо если ненависть -- это нагота, она ходила нагою так долго, что нагота могла теперь служить ей одеждой, как, говорят, может служить и действительно служит одеждою скромность...

Итак, он уехал. В возрасте двадцати восьми лет он уехал учиться. Он не знал и не интересовался, кто из них -- мать или адвокат -- решил, что ему надо ехать учиться, и почему они это решили, ибо он все время знал, что мать его что-то замышляет и что адвокат тоже что-то замышляет; однако что именно каждый из них замышляет, интересовало его не настолько, чтобы он постарался про это узнать -- ведь он знал: адвокату известно, что мать его что-то замышляет, а матери неизвестно, что адвокат тоже что-то замышляет, и что адвокат будет доволен, если мать получит то, чего она хочет, при условии, что он (адвокат) получит то, чего хочет он, на секунду раньше или хотя бы одновременно. Он уехал учиться; он сказал: "Ладно", попрощался с окторонкой и уехал учиться -- он, которому за все двадцать восемь лет никто никогда не говорил: "Сделай то-то и то-то, реши эту задачу к девяти утра завтра, или в пятницу, или в понедельник"; может быть, они (или адвокат) даже использовали для этой цели окторонку -- тонкий поводок (а не намордник), который адвокат на него надел, чтобы он не забрался в какое-то место, которое было обнесено забором, как могло обнаружиться позже. Быть может, мать узнала про окторонку, про ребенка и про обряд, выведала даже больше, чем сам адвокат выведал (или чему он мог поверить, ибо считал Бона всего лишь лентяем, а вовсе не дураком), и послала за ним, и он пришел, и снова прислонился к камину, и, быть может, понял, что она замыслила, что случилось, еще прежде, чем она ему

сказала, и стоял, прислонившись к камину, с таким выражением, которое ты назвал бы улыбкой, хотя это была совсем не улыбка, а нечто вроде непроницаемой маски, а мать смотрела на него, и, быть может, прямые, черные с проседью космы опять свисали ей на лоб, и теперь она даже не давала себе труда их отбросить, потому что теперь глаза ее смотрели не на письмо, а метали молнии на него, и голос ее дрожал от неотступной тревоги и страха, но ей удавалось их подавлять -- ведь она не могла говорить об измене, потому что тогда она ему еще ничего не рассказала, а сейчас, в эту минуту, не смела пойти на такой риск, меж тем как он смотрел на нее, улыбаясь тою улыбкой, что была совсем не улыбкой, а чем-то вроде непроницаемой преграды, и говорил, признавался: "А почему бы и нет? Все молодые люди так поступают. Да и обряд тоже. Я не собирался заводить ребенка, но раз уж он появился... и ведь это совсем не плохой ребенок", а она смотрела на него, сверкая глазами, и не могла сказать ему то, что хотела, ибо слишком долго это откладывала и потому могла лишь сказать: "Да, но ведь это ты. Ты совсем другое дело", а он (ей вовсе не нужно было это говорить. Он и так это знал, он уже понял, почему она за ним послала, хотя он вовсе не знал и не интересовался, что именно она замыслила еще прежде, чем он стал себя помнить, еще прежде, чем он познал женщину -- с любовью или без любви), он отвечал: "А почему бы и нет? Мужчинам, по-видимому, рано или поздно приходится жениться. А эту женщину я знаю, и она не доставляет мне хлопот. И этот нудный обряд тоже уже позади. А что до такой безделицы, как капля негритянской крови..." -- при этом не было нужды долго распространяться, не было нужды говорить {Я, как видно, родился на свет, имея так мало отцов, что у меня слишком много братьев, которые при жизни будут мною возмущаться и меня стыдиться, и потому после смерти

у меня останется слишком много потомков, которым я должен передать по наследству свою долю неприятностей и зла}, -- достаточно было сказать только: "маленькая капля негритянской крови...", а потом посмотреть ей в лицо, увидеть на нем мольбу, отчаянье и страх, после чего удалиться, быть может, предварительно поцеловав ее, а может, поцеловав ей руку, которая будет лежать в его руке и даже касаться его губ, словно рука мертвеца, после отчаянных тщетных попыток уцепиться за ту или иную соломинку, и, может быть, выходя, он сказал себе {она пойдет к нему} (к адвокату); {подожди я минут пять, и она уже накинет шаль. Так что сегодня к вечеру я наверняка смогу узнать -- если б я хотел узнать}. Может, он и узнал, может, к вечеру, а может, и раньше -- если только им удалось его найти, известить, ибо она и правда пошла к адвокату. А это было как раз по адвокатской части. Может, еще до того, как она начала говорить, появилось это слабое белое сиянье, какое бывает, когда подкручиваешь фитиль; может, ему даже почудилось, будто он видит, как рука адвоката вписывает что-то в тот просвет, где слова {дочь? дочь? дочь?} так и не появились. Ведь вполне может быть, что адвокат именно об этом все время и заботился; может, с тех самых пор, когда она заставила его обещать никогда не рассказывать Бону, кто его отец, он ждал и все думал, как это сделать; ведь вполне возможно, он знал, что, если рассказать об этом Бону, Бон может поверить ему или не поверить, но уж непременно пойдет и сообщит матери, что адвокат все ему рассказал, и тогда он (адвокат) погиб -не потому, что он причинил какой-то ущерб, никакого ущерба он этим причинить не мог, ибо слова ничего не изменят, а потому, что он посмел ослушаться своей бесноватой клиентки. Может, пока он сидел у себя в конторе, складывал и вычитал деньги, прибавлял суммы,

которые они получат от Сатпена (он никогда не беспокоился о том, как Бон поступит, когда все узнает; он наверняка давным-давно мысленно воздал Бону должное и считал, что, будь тот даже слишком равнодушен и ленив, чтобы самому дознаться, кто его отец, он, однако ж, не настолько глуп, чтоб не воспользоваться этим, когда кто-либо подскажет ему, что для этого надо предпринять; может, если ему и приходило в голову, что Бон не захочет, откажется это сделать -- из соображений любви, чести или бог весть каких еще соображений, в том числе даже и юридических, то он (адвокат) сумел бы даже доказать, что отца его уже нет в живых)... может, все время именно это его и мучило: как довести Бона до того, что он либо обнаружит все сам, либо кто-нибудь -- мать или отец -- вынуждены будут все ему рассказать. Так что, может, она едва успела выйти из конторы, или, хотя бы, едва он нашел время открыть свой сейф, заглянуть в потайной ящик и убедиться, что Генри поступил именно в Университет Миссисипи, рука его уже твердо и четко вписывала в тот просвет, где слова {дочь? дочь? дочь?} так и не появились -- и тоже с датой: {1859 г. Двое детей. Допустим, 1860 г., 20 лет. Прирост 200% действит. стоим, ежегодно плюс ликвидн. фонды плюс полученные доходы. Приблизит стоим, в 1860 г. -- 200 тыс. Вопрос: угроза двоеженства -- да или нет? Возможно, нет. Угроза кровосмешения? Вероятно, да}, а затем, прежде чем поставить точку, рука возвращается назад, вычеркивает {Вероятно}, вписывает и подчеркивает {Несомненно}.

Но его не интересовало и это; он сказал только: "Ладно". Возможно, теперь он уже знал, что мать не знает и никогда не будет знать, чего она хочет, и потому он не может взять над нею верх (возможно, он уже узнал от окторонки, что над женщиной вообще нельзя взять верх; и если ты не дурак и не любишь свар

и скандалов, то не станешь даже и пытаться); и он знал, что адвокату не нужно ничего, кроме денег, и что если он не совершит ошибки, воображая, будто сможет взять себе все, если постарается сидеть тихо и держать ухо востро, то сможет взять хотя бы часть... Итак, он сказал: "Ладно", предоставил матери уложить свои элегантные костюмы и тонкое белье в сундуки и саквояжи, а может, заглянул в контору к адвокату и, улыбаясь тем, что можно было бы назвать улыбкой, наблюдал, как адвокат суетливо ерзает на стуле, распространяясь насчет того, что надо погрузить на пароход его лошадей, может, даже купить ему еще одного слугу, а также распорядиться насчет денег и всего прочего; улыбаясь, смотрел, как адвокат пытается разыгрывать из себя заботливого родителя, рассуждая о пользе образования, учености, латыни и греческого, благодаря которым он приобретет знания и лоск, приличествующие его положению в жизни; слушал его соображения насчет того, что все это, разумеется, можно приобрести где угодно, в том числе и у себя в библиотеке, было бы желание, и тем не менее подлинную культуру подлинное образование может дать лишь монашеское монастырское уединение... как бы это сказать... безвестного маленького (однако первоклассного, да, первоклассного) университета... а он... (никто из них не назвал имя Бона. У них ни разу не возникло ни малейшего сомнения, кого именно Шрив разумеет под словом "он")... он слушал вежливо и спокойно, под этой своей непроницаемой маской и, наконец, может, даже перебив собеседника, спросил, этак вежливо и любезно, без тени иронии, без тени сарказма: "Как, вы сказали, этот университет называется?" -- и тут адвокат снова заерзал, перебирая бумаги в поисках той, где было записано это название, которое он заучивал наизусть с тех самых пор, когда впервые упомянул о нем в беседе с его матерью:

"Университет Миссисипи в..." Где, ты говорил, он находится?

-- В Оксфорде, -- сказал Квентин. -- Это примерно милях в сорока от...

-- "...в Оксфорде". Затем бумаги опять перестали шуршать, потому что он опять заговорил об этом маленьком университете, который существует всего лишь десять лет; о том, как ничто не будет отвлекать его от занятий (ведь там, если можно так выразиться, самая мудрость еще сохранила девственность или, по крайней мере, еще не успела очень уж обтрепаться) и как ему представится возможность наблюдать иную, провинциальную часть того края, в котором ему со временем суждено занять высокое положение (в случае благоприятного исхода этой войны, которая, без сомнения, неизбежна, но на успешное завершение которой мы все уповаем, нисколько в нем не сомневаемся) как человеку и как обладателю состояния, которое перейдет к нему, когда его матушки не станет; а он все слушал с этой своей непроницаемою маской на лице и только спросил: "Значит, вы не рекомендуете мне избрать себе профессией право?" -- и тут адвокат вдруг замолк, но ненадолго, во всяком случае, не на такой промежуток времени, который был бы достаточно долгим и достаточно заметным, чтобы можно было назвать его паузой, и, в свою очередь, глянул на Бона: "Мне, признаться, в голову не приходило, что вам может быть по душе право", на что Бон заметил: "Равным образом мне было не по душе фехтование -пока я им занимался. Но я помню, по крайней мере, один случай в своей жизни, когда я был рад, что у меня есть практика", и тогда адвокат поспешно и ловко ввернул: "Ну что ж, право так право. Ваша матушка будет сог... довольна". -"Ладно", -- сказал он, не "до свидания", а "ладно"; ему ведь было все равно. Может, он не сказал "до свиданья" даже и

окторонке, отмахнулся от ее слез, причитаний, а может, даже и объятий, от мягких рук цвета магнолии, в отчаянии цеплявшихся за его колени; и (примерно) на три с половиною фута выше этих бескостных стальных оков опять появилось это его выражение -- не улыбка, а просто непроницаемая маска. Ибо над ними нельзя взять верх, от них просто бегут (и, слава богу, можно бежать, можно спастись бегством от этой вязкой, как кишащий червями сыр, солидарности, которая слоем в пять футов толщиной обволакивает весь земной шар и в которой мужчины и женщины парами построены в шеренгу, словно кегли; спасибо неведомым богам за эту мужскую узкобедрую сужающуюся конусом ногу, что движется легко и быстро в отличие от бедер женщин, что крепко держат их на месте, как патроны в гильзах) -- сказал не "до свидания", а "ладно" и в один прекрасный вечер поднялся по освещенным факелами сходням; и провожал его, наверно, только адвокат -- он пришел не пожелать ему счастливого пути, а всего" лишь убедиться, что он и вправду сел на пароход. И вот новый, специально купленный для этой цели черномазый уже отпирает саквояжи и раскладывает по кающе элегантные костюмы, и дамы уже собираются в кают-компанию на ужин, а мужчины перед ужином заглядывают в бар, и только он один стоит на палубе, быть может, закурив сигару, и смотрит, как город, сверкая и мерцая огнями, уплывает, погружаясь во тьму, и тогда все останавливается и пароход застывает в неподвижности и висит, прикрепленный к звездам двумя канатами искристого дыма, что тянутся к небу из обеих труб. Кто знает, что он думал, что трезво взвешивал и отвергал, давно уже поняв: мать его что-то замышляет и адвокат тоже что-то замышляет, и хотя он знал, что речь шла всего лишь о деньгах, он знал также, что, несмотря на известную мужскую ограниченность, он (адвокат) мог быть не менее

опасным, чем неизвестная величина -- его мать; и в довершение всего еще и это -- учебное заведение, университет, когда ему уже двадцать восемь. Мало того, именно этот университет, о котором он никогда и слыхом не слыхал, которого десять лет назад вообще еще не было; он понимал, что университет этот выбрал для него не кто иной, как адвокат, и хмуро, мучительно, неотступно думал {Почему? Почему? Почему именно этот, а не какой-либо другой?} думал, быть может, стоя в одиночестве на палубе среди пыхтящих труб и котлов, чувствуя, что сейчас ухватит ускользающий ответ, что отдельные части этой головоломки только и ждут, чтобы он их составил; беспорядочно мелькая перед глазами, пока еще зыбкие, непонятные, они вот-вот соединятся в четкий узор, который мгновенно, словно яркая вспышка света, откроет ему смысл всей его жизни, все его прошлое -- Гаити, детство, адвоката и женщину, которая приходится ему матерью. А может быть, все объяснит ему само письмо, здесь, прямо у него под ногами, где-то во тьме под палубой, на которой он стоит, -- письмо, адресованное не Томасу Сатпену в Сатпенову Сотню, а Генри Сатпену, эсквайру, проживающему в Университете Миссисипи близ Оксфорда, что в штате Миссисипи. Генри однажды показал ему это письмо, и тогда перед ним возник не слабый, медленно разгорающийся отблеск, а вспышка, ослепительное сиянье (он показал письмо ему, человеку, вокруг которого -- мало того, что он не видел своего отца -- еще в младенчестве плелась сеть заговоров и интриг с явной целью внушить ему, что отца у него вообще никогда не было; мать его, вырвавшись из царства теней, из блаженного беспамятства, где слабые чувства находят убежище от темных безбожных сил, вынести которые слабая человеческая плоть не может, очнулась беременной; она кричала, плакала и билась; но то была не жестокая

агония родовых схваток, а возмущение против чего-то, что разрасталось в ее лоне; и что он был зачат не естественным путем, а был брошен в ее тело и извержен оттуда все тем же инфернальным мужским началом, извечным воплощением безудержного ужаса и тьмы), и когда это ослепительное сиянье осветило ему невинное лицо юноши почти десятью годами его моложе, меж тем как одна часть его существа сказала {У него мой лоб, мой череп, мой подбородок, мои руки а другая сказала Подожди. Подожди. Ты еще не знаешь. Ты еще не можешь знать, что у тебя перед глазами: то, на что ты смотришь, или то, в чем ты уверен. Подожди. Подожди}.

-- Письмо, которое он написал... -- Шрив на этот раз имел в виду не Бона, но Квентин, казалось, опять без всякого усилия и труда понял, о ком идет речь, -- быть может, сразу после того, как он внес последнюю запись в свой кондуит, вместо слов дочь? дочь? дочь? При этом он думал {Он ни в коем случае не должен ничего знать, ему не следует ничего говорить, пока он не приедет туда, и пока он и дочь}... но ничего не вспомнил о своей собственной молодой любви, а если даже и вспомнил, то не поверил самому себе, а только захотел использовать ее, как использовал бы смелость и гордость, и думал не о чьей-то угомонившейся необузданной горячей крови и не о чьих-то легких руках, жаждущих прикосновенья, а о том, что от этого Оксфорда до этой Сатпеновой Сотни всего один лишь день езды и что Генри уже обосновался в этом университете, и потому адвокат, быть может, на сей раз впервые за всю жизнь даже поверил в бога:

{Высокоуважаемый м-р Сатпен,

имя нижеподписавшегося, разумеется, ничего Вам не скажет, равно как и его положение и состояние, ибо все его достоинства и (льщу себя надеждою) также и значение едва ли столь очевидные, чтобы он мог питать

надежду когда-либо лично встретиться с Вами, суть всего лишь отражение достоинств и значения двух знатных высокопоставленных особ, из коих первая, благородная дама и овдовевшая мать, проживает в уединении, приличествующем ее положению, в городе, откуда исходит сие письмо, тогда как вторая особа, молодой джентльмен, ее сын, в то самое время, когда Вы это читаете или вскоре вслед за сим, выступит как истец перед тем же Судом познаний и мудрости. От имени сего последнего я к Вам и обращаюсь. Нет, я не смею сказать: "от имени", ибо никоим образом не желаю, чтобы у вышереченной дамы, равно как и у самого молодого джентльмена возникло хоть малейшее подозрение, что я воспользовался сим термином, обращаясь даже к Вам, сэр, коему выпал счастливый жребий быть членом самой именитой фамилии округа. Увы -- мне, разумеется, было бы лучше совсем к Вам не. писать. Но я пишу, я должен писать, сие теперь неизбежно, и если Вы усмотрите в сем письме хотя бы малейшие признаки уничижения, благоволите принять их за нечто, исходящее не от матери и тем более не от сына, ибо они вышли из-под пера человека, чье скромное положение поверенного в делах вышеозначенной дамы и молодого джентльмена, человека, чья верность и благодарность к тем, чьему великодушию он был обязан (я не намерен сего скрывать, напротив, я во всеуслышание об этом объявляю) хлебом насущным, теплом и крышею над головой в течение времени, достаточно продолжительного, дабы научить его благодарности и верности -- буде он не знал их прежде, -- а также побудить его к действию, хотя средства его и отстают от цели, ибо он есть лишь то, что есть, и ни за что иное себя не выдает, а отнюдь не то, чем он желал бы быть. И посему прошу Вас, сэр, принять сие не за ничем не оправданную дерзость, каковою могло бы быть сочтено

мое непрошеное обращение к Вам, не как мольбу о милости от имени неизвестного Вам лица, но за попытку (хотя, быть может, и неловкую) представить одному молодому джентльмену, о чьем положении нет нужды распространяться долго или коротко в том месте, где будет прочитано сие письмо, другого молодого джентльмена, о чьем положении равным образом нет нужды распространяться долго или коротко в том месте, где оное было написано...} Сказал не до свидания, а ладно -- ведь он имел столько отцов, что не мог ни принимать, ни расточать гордость и любовь, не мог ни разделить, ни передать по наследству честь и стыд; для него, как для кошки, были одинаково безразличны все места -- и космополитический Новый Орлеан, и буколический штат Миссисипи; ему были одинаково безразличны и его собственные, полученные или имеющие быть полученными по наследству флорентийские лампы, позолоченные сиденья для клозетов, и стеганые зеркала, и маленький, захолустный, не просуществовавший и десятка лет университет, и шампанское в будуаре окторонки, и виски за грубо сколоченным новым столом в монашеской келье и, уж тем более, деревенский юнец, прямой наследник буколического рая, который, вероятно, не провел и десяти ночей вне отчего дома (не считая тех случаев, когда он всю ночь напролет лежал у костра в лесу, слушая, как гонят по зверю собаки), покуда не уехал учиться; он наблюдал, как этот юнец подражает его манере одеваться, вести себя и говорить; он (юнец) делал это совершенно бессознательно и однажды вечером, за бутылкой виски, сказал, выпалил -- нет, не выпалил, а скорее пробормотал, робко, как бы ощупью, подбирая слова, между тем как он (космополит, почти десятью годами старше этого юнца, сидел, развалясь, в одном из своих шелковых халатов, каких тот в жизни не

видывал, да и вообще считал, что их носят только женщины) наблюдал, как этот юнец, залившись краской до корней волос, продолжает, не отводя глаз, смотреть ему прямо в лицо и, робко подбирая слова, отрывисто и совершенно некстати выпаливает: "Если б у меня был брат, я бы не хотел, чтоб он был моложе меня", а он ему: "Вот как?", а юнец: "Да. Я хотел бы, чтобы он был старше", а он ему: "Ни один сын землевладельца не хочет иметь старшего брата", а юнец: "А я хочу" -- и при этом глядит прямо в лицо ему, посвященному сибариту; он (юнец) встает, стройный и худощавый (ведь он был молод), лицо его багровеет, но он высоко держит голову и не отводит глаз: "Да. И я хотел бы, чтобы он был такой, как ты", и тогда он говорит: "В самом деле? Вот виски. Пей или передай мне".

-- А теперь, -- сказал Шрив, -- поговорим о любви. -- Но ему не нужно было говорить и это, равно как не нужно было объяснять, кто разумеется под словом "он", ибо ни один из них ни о чем другом не думал; через все случившееся в прошлом надо было пройти; и, кроме них, пройти через это было некому -- все равно как нельзя раздуть костер, не разворошив листья. Поэтому ни для того, ни для другого не имело значения, кто из них будет говорить -- ведь чтобы раз и навсегда через все это пройти, мало только говорить, тут важно одновременно и говорить и слушать, важна счастливая возможность, не дожидаясь требований или просьб, уже заранее простить и забыть ошибки друг друга, ошибки, которые каждый из них совершит не только создавая этот призрак, о котором они вели разговор (или, вернее, в которого сами теперь превратились), но и выслушивая, просеивая, отбрасывая все ложное и оставляя все, что казалось им верным или соответствовало их представлениям, чтобы перейти к любви, в которой могли встретиться противоречия и парадоксы, но зато не было ни лжи, ни ошибок. -- А

теперь о любви. Он наверняка знал о ней все еще прежде, чем ее увидел: знал, какова она из себя, как проводит время в уединении провинциального женского мирка, о котором даже близким родственникам-мужчинам не полагалось слишком много знать; чтобы узнать об этом, ему даже не потребовалось задать ни одного вопроса. Господи, ведь вокруг него и так все клокотало и кипело. Сколько вечеров провел Генри, перенимая у него искусство прохлаждаться в спальне, облачившись в халат и домашние туфли, какие носят женщины; в легком, но безошибочном аромате духов, какие употребляют женщины; курить сигару -- точь-в-точь как могла бы курить ее женщина, однако с такой небрежной, убийственной самоуверенностью, что лишь самый отъявленный смельчак мог бы отважиться на такое сравнение (причем он нисколько не пытался учить, поучать, строить из себя ментора -- а впрочем, может, и пытался; кто знает, сколько раз, всматриваясь в лицо Генри, он думал -- не так {если пренебречь той примесью в крови, которой нет у меня, передо мной мой череп, мой лоб, глазные впадины, лицевой угол, подбородок, и за всем скрываются отчасти даже мои мысли; и все это он, в свою очередь, мог бы увидеть на моем лице, умей он смотреть так, как умею я} а несколько иначе {передо мною, лишь слегка разбавленное чуждой кровью, примесь которой потребовалась для его появления на свет, лицо человека, создавшего нас обоих из той непроницаемой зыбкой тьмы, что люди называют будущим; и вот сейчас, сию минуту, железным усилием воли и страстным желанием, я сквозь эту чуждую мне кровь увижу -- не лицо брата, о существовании которого я ничего не знал и потому спокойно без него обходился, а лицо моего отца, чье отсутствие отбрасывает тень, от которой мой бессмертный дух никак не может уйти...}

когда, в какие минуты он это думал, наблюдал этот пыл, в котором не было ни капли униженья, это смиренье паче гордости и беззаветную отдачу всей души -- ведь бессознательное подражание одежде, манере вести себя и говорить было всего лишь внешней его оболочкой, наблюдал и думал {чего только не мог бы я при желании сделать с этой податливою плотью, с этой плотью, кровью и душою, что вышли из того же источника, что и мои, но выросли в довольстве, мире и покое, под ровным, пусть даже и унылым светом солнца; тогда как те, что передал он мне, росли среди обиды, ненависти, непрощенья, в глубокой тени; я мог бы вылепить из этой податливой и пылкой глины то, чего не создал и родной отец; какие зачатки добра могут, должны быть и есть в этой крови, и нет никого, кто смог бы ваять мой кусок глины и лепить из него, пока еще не поздно}, в какие минуты он говорил себе, что это чепуха, что этого никак не может быть, что такие совпадения встречаются лишь в книгах, и -- томный фаталист, неисправимый отшельник -- думал {Проклятый олух. Как мне от него отделаться?} но тут же голос, другой голос возражал: {Нет, ты вовсе этого не думаешь, а он ему в ответ: И вправду не думаю. Но все равно он олух)}; сколько раз, днем или вечером, когда они ездили верхом (Генри и тут ему подражал, хотя был более искусным наездником; возможно, лишенный того, что Бон назвал бы изяществом, он вырос в седле, и ездить верхом было для него так же естественно, как ходить пешком; он мог ездить на чем угодно, куда угодно и как угодно) и он видел, что барахтается и тонет в потоке веселой бессмысленной болтовни Генри, которая переносила их (всех троих -- его, Генри и сестру, которой он никогда не видел и, может быть, не имел ни малейшего желания увидеть) в мир, подобный волшебной сказке, где ничего, кроме них, не существует; когда он скакал верхом рядом с

Генри и слушал, причем ему даже незачем было ни задавать вопросы, ни как-либо вызывать на еще большую откровенность этого юнца, который даже не подозревал, что мужчина, скачущий рядом с ним, может быть, его брат; который всякий раз, как дыхание его касалось его голосовых связок, повторял {Отныне наш с сестрою дом -- твой дом, наша с сестрою жизнь -- твоя жизнь}; у него (у Бона) возникал -- а может, вовсе и не возникал -- вопрос: допустим, все произошло наоборот, и незнакомец -- это Генри, а наследник -- он сам, но все равно он знает то, что сейчас лишь подозревает, -- так стал бы он тогда рассуждать так, как сейчас? и в конце концов он (Бон) соглашался, в конце концов говорил: "Ладно. Я поеду к тебе домой на рождество", -- совсем не для того, чтобы увидеть третьего обитателя сочиненной Генри волшебной сказки, не для того, чтобы увидеть сестру -- ведь он ни разу о ней не вспомнил, он только слушал, что Генри про нее говорил, а сам при этом думал {Наконец-то я увижу его, человека, которого -- судя по тому, как меня воспитывали, -- я никогда не должен был надеяться увидеть и без которого я даже научился жить}; быть может, он даже представлял себе, как войдет в этот дом и увидит человека, который его породил, и тут ему все станет ясно; ибо наступит минута озарения, когда они безошибочно друг друга узнают, и ему все станет ясно -- наверное, раз и навсегда -- быть может, он думал Это все, чего я хочу. Пусть он меня даже не признает, я сразу дам ему понять, что этого совсем не надо делать, что я этого совсем не жду, что меня это нисколько не обидит, а он в свою очередь сразу же даст понять мне, что я -- его сын, думал, быть может, опять с тем выражением, которое ты мог бы даже назвать улыбкой, но которое было совсем не улыбкой, а чем-то таким, во что даже и олуху не следовало соваться: {Во всяком случае, я сын своей матери: я тоже, кажется, не знаю,

чего хочу}. Однако он совершенно точно знал, чего он хочет -- только того, чтобы это было сказано, физического соприкосновения, хотя бы и незаметного, тайного, живого прикосновения плоти, еще до его появления на свет согретой тою же кровью, которую она передала ему, чтобы согреть его плоть, и чтобы он в свою очередь тоже передал ее по наследству, и чтоб она, горячая и быстрая, бежала бы по жилам, когда умрет та, первая, а затем и его собственная плоть. И вот настало рождество, и они с Генри поехали за сорок миль в Сатпенову Сотню, и Генри все говорил, и его дыхание, словно надувая легкий воздушный шар, расцвечивало радужным сиянием сказки пустоту, в которой они существовали, жили, быть может, даже двигались, оставаясь бесплотными; все трое -- он сам, его друг и сестра, которой друг никогда не видел и (хотя Генри этого не знал) о которой ни разу не подумал; а только слушал про нее как бы сквозь более важные мысли, и Генри, наверно, даже не замечал, что чем больше они приближались к дому, тем меньше Бон говорил, высказывал свое мнение о чем бы то ни было, а может, даже (и Генри, разумеется, не знал и этого) меньше слушал. И вот он вошел в дом, и возможно, если бы кто-нибудь посмотрел на него, он увидел бы на его лице выражение, очень похожее на выражение лица Генри -- смиренную, хотя и гордую готовность к полной, безоглядной отдаче, и, возможно, он даже говорил себе {Я не только не знаю, чего хочу, но я еще, очевидно, гораздо моложе, чем сам думал}; и встретился лицом к лицу с тем человеком, который, возможно, был его отцом, и не случилось ровно ничего -- ни потрясения, ни жаркого соприкосновенья плоти, которому и речь, далеко не столь стремительная, и то не может помешать, -- ничего. И он провел там десять дней -- не просто таинственный незнакомец, сибарит, стальной клинок в клетчатых шелковых ножнах, которому Генри

начал подражать еще в университете, а еще и произведение искусства, некий шаблон, образец хорошего тона и манер, за каковой миссис Сатпен (как говорил твой отец) его принимала, настаивала (разве твой отец этого не говорил?), чтобы он им был (и в качестве такового купила бы, расплатившись за него даже своей родною дочерью, Джудит, если бы среди них четверых не нашлось другого покупщика -- или твой отец этого не говорил?) и каковым он для нее и оставался, покуда не исчез, забрав с собою Генри, после чего она больше никогда его не видела, а война, лишения, и горе, и скверная пища до такой степени заполнили ее дни, что вскоре она, наверное, не могла даже вспомнить, что когда-то о нем позабыла. (А девушка, сестра, девственница -- о боже, кто может знать, что ей привиделось в тот вечер, когда они подъезжали к дому по аллее, из какой сказочной страны явилась эта задумчивая девичья греза, этот призрак, облеченный не в грубые железные латы, а в тонкие шелка, этот трагический тридцатилетний Ланселот, десятью годами ее старше; какою жизнью и какими наслажденьями был утомлен и пресыщен он, созданный в ее воображении письмами Генри.) Но вот наступил день отъезда, а ему еще не подали никакого знака; они с Генри уехали, а знака все не было: при расставанье он прочел на этом лице не больше, чем в тот день, когда впервые его увидел; на этом лице, если б не борода, он мог бы разглядеть (или поверить, что разглядел) истину, и тогда ему не нужен был бы знак; никакого знака не подали ему глаза, что ясно видели его лицо: ведь у него не было бороды, чтобы за ней укрыться, -- мог бы разглядеть истину, если б она в этих глазах была, однако в них не мелькнуло ни малейшей искры, и потому он понял, что истина открылась тому в его лице; он понял, что тот, другой, увидел ее с такой же очевидностью, как Генри в следующий сочельник,

войдя в библиотеку, убедится, что отец не лжет -- убедится по одному тому, что отец ничего не скажет, ничего не сделает. Может, он даже подумал, подивился: уж не нарочно ли тот приклеил себе бороду, чтобы укрыться за нею в этот самый день, а если это так, то почему же? почему? {Но почему же? почему?} думал он; ведь он хотел так мало, ведь он бы сразу понял, что тот, другой, хочет подать ему сигнал втайне; ведь он охотно, с радостью хранил бы эту тайну, пусть даже и не понимая почему; и в голове его мелькала мысль {О боже, я ведь молод, молод, а я совсем этого не знал; мне даже не сказали, что я так молод}; он был полон отчаяния и стыда, какие ощущаешь при виде физической слабости своего отца, и думал {Эту слабость должен был выказать я, я, а не он, в чьих жилах текла та же кровь, что и в моих, еще до того, как мою кровь испортило, запятнало нечто такое в крови моей матери, чего он не мог перенести}... Подожди! -- воскликнул Шрив, хотя Квентин ничего не сказал; просто расслабленная, все еще согбенная фигура Квентина зашевелилась, начала выпрямляться, как будто он собирался заговорить, и потому, прежде чем он успел сказать хоть слово, Шрив уже произнес: -Подожди. Подожди. Ведь он на нее даже и не взглянул. О, разумеется, он ее видел, у него были для этого все возможности, он при всем желании не мог от этого уклониться -- миссис Сатпен уж наверняка позаботилась, чтобы эти десять дней они то и дело как бы случайно оказывались наедине в библиотеке, в гостиной, в коляске на вечерних прогулках -- все было задумано, подготовлено и разыграно подобно военным кампаниям умерших генералов из учебников, задумано еще три месяца назад, когда миссис Сатпен прочла первое письмо Генри, в котором упоминалось имя Бона -- пока, возможно, даже Джудит стала чувствовать себя одной из двух золотых рыбок в аквариуме; он

разговаривал, конечно, и с ней, хотя не совсем понятно, о чем он мог бы говорить с деревенской девицей, едва ли прежде встречавшей мужчину -- молодого или старого, от которого бы рано или поздно не пахнуло навозом; он разговаривал с нею, как разговаривал бы со старухой, сидя с нею на золоченых стульях в гостиной, с той лишь разницей, что в первом случае ему приходилось все время поддерживать разговор, а во втором он не мог даже сам спастись бегством и вынужден был ждать прихода Генри, который бы увел его с собой. Возможно, к тому времени он наконец удосужился о ней подумать; наверное, это было тогда, когда он говорил себе {не может быть, чтоб это было так; если б это было так, он не мог бы каждый день на меня смотреть и не подать мне никакого знака} он даже говорил себе {С ней все пойдет легко} как бывает за ужином, когда оставишь на столе шампанское, а сам идешь к буфету за виски, и тебе вдруг случайно попадается поднос с чашей лимонада, и вот ты смотришь на лимонад и говоришь себе: Он тоже пойдет легко, да только кому он нужен?.. Что ты на это скажешь?

-- Но ведь это не любовь, -- сказал Квентин.

-- А почему нет? Слушай дальше. Помнишь, эта старушенция, тетушка Роза, толковала тебе, что существуют вещи, которые обязательно должны существовать -- неважно, есть они на самом деле или нет, -- обязательно должны существовать и притом гораздо больше, чем другие, которые, может, и существуют, но совсем неважно, есть они на самом деле или нет. Так вот, именно в этом и была вся суть. У него просто еще не нашлось времени. Господи, да он наверняка знал, что это будет. Адвокат правильно считал, что он далеко не дурак; беда только в том, что не дурак он был совсем не того сорта, каким, по мнению адвоката, он должен был оказаться. Он наверняка знал,

что это случится. Вроде как бы ты прошел мимо того лимонада и, может, даже знал, что доберешься до буфета и до виски, но знал, что завтра утром тебе захочется этого лимонада, а потом добрался до виски и понял, что лимонада тебе хочется именно сейчас; а может, ты даже и не ходил к буфету, ты даже оглянулся на стол, где на измятой камчатной скатерти среди грязной дорогой посуды стояло это самое шампанское, и вдруг понял, что не хочешь возвращаться даже и туда. Дело не в выборе, не в том, что тебе придется выбирать между шампанским, виски и лимонадом, а в том, что вдруг (там, в тех краях, где он еще весною не бывал, наступила весна, а ведь ты говорил, что на севере штата Миссисипи климат чуть суровее, чем в Луизиане; там растет кизил, цветут фиалки и другие ранние цветы, которые не пахнут, но земля и ночи еще прохладные, и на черной ольхе, на иудином дереве, на буке и клене наливаются липкие тугие почки, похожие на девичьи соски, и даже от виргинских можжевельников веет чем-то молодым, чего он прежде никогда не знал) обнаруживаешь, что тебе хочется только этого лимонада, и больше ничего, и что тебе все время только его и хотелось и уже давно страшно его хочется -- и к тому же ты знаешь, что лимонад этот предназначался для тебя. Не для кого-нибудь, а именно для тебя; и, едва взглянув на эту чашу, ты уже знаешь, что она будет как цветок, но если к ней потянется не твоя, а чья-нибудь другая рука, окажется, что цветок-то с шипами; а ведь он к этому не привык, ибо во всех других чашах, которые охотно и легко шли ему прямо в руки, был не лимонад, а шампанское или хотя бы домашнее вино. И более того. Он знал, что его подозрения могут оправдаться, или, наоборот, не знал, могут они оправдаться или нет. Да и кто скажет, не было ли там возможности кровосмешения, ибо какой мужчина (у которого нет

сестры, про других я не знаю) был влюблен и не убедился в эфемерности и тщете плотского соприкосновенья, кому не доводилось понять, что, когда мимолетное уже позади, надо отступить от любви и наслаждений, собрать свои пожитки, все эти шляпы, башмаки и брюки, весь хлам, который тащишь за собой по белу свету, и отступить -- ведь боги и сами не без греха, а волшебное бесконечное совокупленье, которое в забытьи воспаряет над ловушкой этого мучительного мига -- жизни: не был -- есть, был -- остается уделом одних лишь невесомых, как воздушные шарики, слонов и китов; хотя, впрочем, будь это тоже грех, тебе бы не позволили бежать, порвать все связи, возвратиться. Так разве я не прав? -- Он умолк, и теперь его нетрудно было перебить. Теперь Квентин мог бы что-нибудь сказать, но он молчал. Он все еще сидел, засунув руки в карманы штанов, сжавшись и понурив голову; он странным образом казался меньше, чем на самом деле, из-за того, что был высок, но худ; его кости и суставы были так тонки, что даже в двадцать лет в них сохранилось что-то, какой-то слабый последний отголосок детства -- во всяком случае, по сравнению с сидевшим напротив мощным херувимом, который казался моложе, а оттого, что был намного крепче и плотнее, и еще моложе -- так пухлый двенадцатилетний мальчик, который тяжелее другого фунтов на двадцать или тридцать, все равно выглядит моложе четырнадцатилетнего, потому что тот, некогда и сам такой же пухлый, потерял, променял свою пухлость (будь то по собственному желанию или нет) на состояние девственности, равно свойственное и юношам и девушкам.

-- Не знаю, -- сказал Квентин.

-- Ну, что ж, -- сказал Шрив. -- Может, я и сам не знаю. Но только, господи, в один прекрасный день каждый непременно должен влюбиться. От этого

никуда не денешься. Иначе было бы вроде того, как если бы господь бог родил Иисуса Христа, снабдил его плотницким инструментом, а потом ни разу не дал ему ничего этим инструментом построить. Разве это не так?

-- Не знаю, -- сказал Квентин. Он не двигался. Шрив посмотрел на него. Даже когда они молчали, их дыхание в этой холодной, как склеп, комнате медленно превращалось в легкий парок. Прошло уже некоторое время с тех пор, как пробило полночь.

-- Ты хочешь сказать, что для тебя это не имеет значения? -- Квентин ничего не ответил. -- Ладно. Можешь этого не говорить. Я все равно тебе не поверю. Потому что я буду знать, что ты врешь. Ладно. Слушай. Суть в том, что о любви он мог не беспокоиться -- она сама о себе побеспокоилась. Может, он даже знал, что отмечен судьбою, роком, вроде того, что старая тетушка Роза говорила тебе про некоторые вещи, которые непременно должны существовать -- неважно, есть они или нет, -- хотя бы только чтоб закрыть счета, написать "Уплачено" на странице старого гроссбуха, и пусть бухгалтер ее оттуда вырвет, сожжет и тем от нее избавится. Может, он уже тогда знал: что бы там старик ни сделал, желал ли он при этом добра или зла, платить по счетам придется не старику; а теперь, когда старик одряхлел и обанкротился, кто должен платить, как не его сыновья, его потомство, ибо разве не так бывало во время оно? Старик Авраам, обремененный годами, слабый и не способный более творить зло, наконец-то пойман, и вот военачальники и сборщики податей говорят ему: "Старик, ты нам не нужен", а Авраам отвечает: "Хвала всевышнему, я вырастил сыновей, и пусть они несут бремя моих прегрешений и невзгод, а может, даже отберут у похитителя моих овец и коров, дабы я мог спокойно взирать на добро свое и на стократно умножившиеся поколенья моих потомков и рабов, когда душа моя отлетит от тела моего". Он все

время знал, что любовь побеспокоится о себе сама. Может, именно оттого ему и не надо было о ней думать все те три месяца от сентября до рождества, когда Генри ему о ней рассказывал, своим вздохом как бы говоря: {Ее и моя жизнь отныне будут связаны с твоей}; ему не надо было терять время на любовь, когда она возникла и рикошетом ударила в него; ведь он даже не удосужился написать ей ни одного письма (кроме того, последнего), которое ей захотелось бы сохранить; он ведь, в сущности, даже не сделал ей формального предложения и не подарил кольца, которым миссис Сатпен могла бы везде и всюду хвастать. Ведь и она была отмечена роком -- совсем как старик Авраам, который был так немощен и стар, что никто не хотел принять его в уплату долгов: может, ему даже не надо было дожидаться того рождества, чтобы ее увидеть и все это понять; может, к этому как раз и привели рассказы Генри, которых он три месяца не слушал, но все равно услышал: {Я слушаю не про молодую девушку, девственницу; я слушаю про узкую, огороженную тонким забором полоску девственной земли, на которой уже вспаханы борозды, так что мне остается только бросить в них семя и снова их загладить}; он увидел ее в то рождество, окончательно в этом убедился, а потом все это забыл, уехал обратно в университет и даже не вспомнил, что забыл, потому что у него тогда не было времени; возможно, лишь однажды, той весною, о которой ты рассказывал, он как-то раз остановился и сказал себе, очень тихо и спокойно: {Ладно. Я хочу спать с той, кто, может быть, моя сестра. Ладно}, а потом забыл и об этом. Ведь у него не было времени. То есть у него не было ничего, кроме времени, -- ведь ему приходилось ждать. Но не ее. С ней все было ясно. Речь шла о другом. Может, он надеялся, что оно будет в сумке у негра, всякий раз, когда тот приезжал из Сатпеновой Сотни и когда Генри

думал, что он ждет письма от нее; меж тем как на самом деле он думал {Может, он все-таки напишет. Пусть он только напишет: "Я твой отец. Сожги это", и я послушаюсь. Или пусть это будет листок, клочок бумаги с одним только словом: "Чарльз", написанным его рукой, и я пойму, что он хотел сказать, и ему не придется даже просить меня его сжечь. Или прядь его волос или обрезок ногтя, и я их сразу узнаю -- ведь я теперь уверен, что всю жизнь знал, как выглядят его волосы и ногти, и смог бы узнать эту прядь и этот обрезок из тысячи}. Но оно не пришло, и его письмо отправлялось к ней каждые две недели, а ее письма шли к нему, и, быть может, он думал {Пусть хотя бы одно из моих писем к ней вернулось нераспечатанным. Это был бы знак}. Но этого не случилось, и вскоре Генри пригласил его по дороге домой заехать на день или два в Сатпенову Сотню, и он согласился, он сказал себе {Письмо получит Генри; в нем будет сказано, что мой визит к ним в это время не совсем удобен, и, стало быть, он не намерен признавать, что я его сын, но я, по крайней мере, заставлю его в этом признаться}. Но и это письмо не пришло, и дату назначили, и семейство в Сатпеновой Сотне о ней уведомили, и письмо опять не пришло, и он думал {Значит, это будет; я был к нему несправедлив, может, он именно того и ждал} и может быть, тогда сердце у него екнуло, и он сказал себе {Да. Да. Я откажусь от нее; я откажусь от любви и от всего остального; это будет легко, легко, и даже если он скажет: "Никогда больше не попадайся мне на глаза, прими мою любовь и мое признание, сохрани их в тайне и ступай", я послушаюсь; я даже не спрошу, какие поступки моей матери оправдывают его отношение к ней и ко мне}. И вот настал назначенный день, и они с Генри снова проскакали эти сорок миль, и въехали в ворота, и двинулись по аллее к дому. Он знал, что там будет -- женщина, которую он увидел один раз и увидел

насквозь; девушка, которую он увидел насквозь, даже еще не увидев ни разу; мужчина, которого он видел ежедневно, за которым с трепетом и страстною тоской следил, но так и не мог разгадать; мать, которая во время этого рождественского визита отвела Генри в сторону, когда они еще не успели пробыть в доме и полдня, и сообщила ему о помолвке, чуть ли не прежде, чем жених запомнил дочь в лицо; так что, по всей вероятности, еще прежде, чем они успели вернуться в университет и совершенно того не сознавая, Генри уже рассказал Бону, что было на уме у его матери (он уже раньше рассказал Бону, что было на уме у него самого); так что, возможно, еще прежде, чем Бон отправился туда во второй раз (к тому времени уже наступит июнь, а каков июнь на севере штата Миссисипи? ты ведь мне что-то об этом говорил? цветущие магнолии, пересмешники, а через пятьдесят лет после того, как они пойдут на войну, и потерпят поражение, и возвратятся домой, будет День памяти павших в боях, будут ветераны в аккуратно вычищенных, собственноручно отутюженных серых мундирах, с медалями из поддельной бронзы, которые впрочем, никогда ничего не означали; будут самые красивые девушки в белых платьях с алыми поясами, оркестр будет играть "Дикси", и все дряхлые старички - кто б мог подумать, что у них достанет силенок выйти из дому, приползти в город и даже просто сидеть на трибуне, -- будут что есть духу вопить "ура"... к тому времени уже наступит июнь, и будут и магнолии, и пересмешники в лунном свете, и колыханье занавесок на июньском ветерке в день присуждения дипломов и ученых степеней в университете, и музыка -- скрипки и треугольники, и закружат в вихре танца кринолины, и Генри будет слегка навеселе; ему бы надо спросить: "Каковы твои намерения насчет моей сестры", но он не спрашивает, а вместо этого наверняка опять краснеет,

что видно даже и в лунном свете, однако стоит прямо -- ведь если ты достаточно горд, чтобы выказать смирение, тебе нет нужды пресмыкаться (Генри, который каждым своим дыханием, казалось, твердил {Мы принадлежим тебе; поступай с нами как тебе вздумается)}, -- стоит и говорит: "Я раньше всегда думал, что возненавижу мужчину, на которого мне придется каждый день смотреть и чье каждое движенье, слово и поступок будут говорить мне: я видел и трогал те части тела твоей сестры, которых ты никогда не увидишь и не тронешь; и теперь я точно знаю, что я его возненавижу, и потому хочу, чтобы этим мужчиной был ты"; он знает: Бон поймет, что он имеет в виду, пытается ему сказать и объяснить, и он (Генри) думает и говорит себе: {Не только потому, что он старше меня и знает больше, чем я когда-либо узнаю, и больше из всего этого запомнил, а по моей собственной доброй воле, неважно, знал ли я тогда об этом или нет, я отдал ему и мою жизнь, и жизнь Джудит}...

-- Но это еще не любовь, -- сказал Квентин.

-- Ладно, -- сказал Шрив. -- Ты только слушай. Они проехали эти сорок миль, въехали в ворота и вошли в дом. На этот раз Сатпена там даже и не было. А Эллен даже не знала, куда он уехал, спокойно и бездумно полагая, что он отправился по делам в Мемфис, а может, даже и в Сент-Луис, а Генри и Джудит и вовсе этим не интересовались, и только ему, Бону, было известно, куда Сатпен поехал; и он говорил себе {Конечно, он не был уверен, он должен был поехать туда, чтоб в этом убедиться}, теперь он говорил себе это громко, громко и быстро, так, чтобы не слышать, чтоб заглушить свои мысли {Но если он подозревал, то почему бы не сказать об этом мне? Я бы на его месте это сделал, я бы, первым подошел к тому, в чьих жилах течет кровь, которая запятнана, испорчена какой-то примесью в крови моей матери}, теперь он говорил

себе это громко и быстро {Так вот оно что: может, он поехал вперед, чтоб дожидаться меня там; он не оставил мне здесь никакой записки, потому что остальные не должны пока ничего подозревать; и он знает: увидев, что его здесь нет, я тотчас же пойму, где он}; он размышлял о них обоих -- о мрачной мстительной женщине, которая была его матерью, и о суровом, твердом как скала мужчине, который смотрел на него десять дней кряду, ничуть не изменившись в лице; о том, как почти через тридцать лет они, словно заключив перемирие, но все равно вооруженные до зубов, встретились лицом к лицу в этой богатой, убранной в стиле барокко гостиной, в этом доме, который он называл своим, ибо ведь у каждого человека, очевидно, должен быть свой дом; и мужчина, который, как он теперь окончательно убедился, был его отцом, даже и теперь не смирился (и это наполняло гордостью его, Бона), даже и теперь не сказал {Я был неправ}, а всего лишь {Я допускаю, что это так} -- о господи, ты только подумай, что творилось в его душе все эти два дня, когда старуха поминутно норовила подсунуть ему Джудит: ведь она еще с того рождества по секрету рассказывала всему округу об этой помолвке -- разве твой отец не говорил, что весной она даже поехала с Джудит в Мемфис покупать ей приданое? -- а Джудит даже не надо было на это соглашаться или этому противиться; она просто была, просто существовала, дышала, как и Генри, который, быть может, той весною в одно прекрасное утро проснулся и, не вставая с постели, сложил все цифры, подсчитал итог, свел баланс и сказал себе: {Ладно. Я постараюсь стать таким, каким он хочет меня видеть; он может сделать со мною все, что хочет; пусть он мне только скажет, что делать, и я это сделаю, если даже то, о чем он меня попросит, покажется мне бесчестным, я все равно это сделаю}; да только Джудит, как женщина,

лучше разбиралась в таких тонкостях и потому даже и не задумывалась о бесчестье, она только сказала: {Ладно. Я сделаю все, о чем он может меня попросить, и поэтому он никогда не попросит меня ни о чем таком, что я считаю бесчестным}, и потому (может, на этот раз он ее даже поцеловал; может, это был первый в ее жизни поцелуй, и она была слишком невинной, чтобы быть застенчивой или скромной или хотя бы понять, что он выжидает; может, после этого поцелуя она просто посмотрела на него -- мирно, спокойно и даже слегка озадаченно -- оттого, что возлюбленный поцеловал ее в первый раз, но совершенно так, как мог бы поцеловать ее брат -- разумеется, если бы брату когда-либо пришло в голову или кто-нибудь заставил бы его поцеловать ее в губы)... и потому, когда эти два дня прошли, и он опять уехал, и Эллен набросилась на нее с криками: "Как? Ни предложения, ни клятвы в верности, ни кольца?" -- она была слишком изумлена, чтобы даже солгать, ведь только тут ее впервые осенило, что никакого предложения не было и в помине... Так представь себе, что творилось у него в душе, когда он ехал верхом к Реке. И после, когда он, уже на пароходе, шагал взад-вперед по палубе, ощущая сквозь дощатый настил, как машина с каждым днем все ближе и ближе подводит его к той минуте, которой, как ему теперь уж было ясно, он ожидал с тех самых пор, как вырос и начал что-то понимать. Разумеется, временами ему приходилось повторять себе, очень громко и быстро: {Так вот в чем суть. Он просто хочет сперва окончательно убедиться} повторять, чтобы вытеснить прежнее {Но почему именно? И почему не в Сатпеновой Сотне? Ведь он знает, что я никогда не потребую ни малейшей частицы из того, чем он теперь владеет, чего добился ценою жертв, долготерпения и унижений, о которых никто кроме него не знает (так говорили мне они; не он, а именно они); знает это так твердо, что ему

-- точно так же, как и мне, и это он знает твердо -никогда не пришло бы в голову, что именно этим и объясняется его поведение; ведь он не только щедр, но и безжалостен, ведь он, наверно, отдал матери и мне все, что принадлежало им обоим, в уплату за то, что он от нее отрекся}; и не потому, что с ним так поступили, что это его обидело, оскорбило, заставило без всякой надобности так долго пребывать в напряженном ожидании -ведь сам он ничего не значил, то, что он измучен и что над ним зло издеваются, тоже ничего не значило, а суть состояла в том, что ему надо было беспрерывно напоминать, что сам он никогда бы так не поступил, а ведь он был порожден той же кровью уже после того, как ее запятнали и испортили какие-то неизвестные ему поступки или свойства его матери... Все ближе и ближе, пока наконец напряженное ожидание, недоумение, нетерпенье и все остальное не вылились в готовность всецело отдаться на милость победителя, в одну-единственную мысль {Ладно. Ладно. Пусть далее так. Даже если он хочет поступить именно так. Я обещаю никогда больше не видеться с ней. Никогда больше не видеться с ним.} Потом он приехал домой. И так никогда и не понял, был там Сатпен или не был. Так никогда и не узнал. Он предполагал, что был, но так никогда и не узнал -- мать была все той же мрачной и свирепой психопаткой, какой он ее оставил в сентябре, и выведать у нее что-либо обиняками он не мог, а спросить ее прямо не посмел; тогда как хитроумные, но совершенно для него прозрачные вопросы адвоката (насчет того, как ему понравился университет и местные жители, а возможно, он даже нашел -- быть не может, чтобы не нашел себе друзей среди тамошних семейств) только лишний раз доказывали, что Сатпен там не был, а если и был, то адвокат об этом ничего не знал, ибо теперь, когда он, как ему казалось, понял, зачем адвокат

определил его именно в этот университет, из вопросов адвоката было ясно, что он за это время не узнал ничего нового. (Ничего нового он не извлек и из беседы с адвокатом, ибо она была короткой, чуть ли не самой короткой из всех -- короче будет только та, что состоится следующим летом, когда Генри приедет вместе с ним.) Ибо у адвоката не хватило духу спросить его прямо -- так же, как у него самого (у Бона) не хватило духу спросить прямо свою мать. Ибо, хотя адвокат и считал его скорее дураком, нежели лентяем и тупицей, даже и он (адвокат) никогда бы не поверил, что Бон может стать дураком такого рода, каким он впоследствии стал. Итак, он ничего не сказал адвокату, а адвокат ничего не сказал ему, и прошло лето, и наступил сентябрь, и ни адвокат, ни мать так ни разу и не спросили, хочет ли он вернуться в университет. Так что в конце концов ему самому пришлось сказать, что он намерен туда вернуться, и возможно, он даже понял, что сделал этот ход совершенно зря, ибо на лице адвоката нельзя было прочесть ничего, кроме молчаливого согласия посредника. Итак, он вернулся в университет, где его ждал (да, именно ждал) Генри, который даже не сказал ему: "Ты не ответил на мои письма. Ты даже не писал Джудит"; Генри, который уже раньше говорил {Я, моя сестра и все наше достояние принадлежит тебе} а возможно, теперь он все же написал письмо Джудит и послал его с первым же черномазым, который повез почту в Сатпенову Сотню, сообщил, что провел очень скучное лето и потому писать было совершенно нечего, и, возможно, четко и ясно проставил на обороте конверта {Чарльз Бон} а сам подумал {Он это обязательно увидит. Может, он отошлет его обратно. Может, если оно вернется, меня уже ничто не остановит, и тогда я наконец пойму, как мне быть дальше}. Но письмо не вернулось. И остальные тоже не вернулись. И прошла осень, и

наступило рождество, и они снова поехали в Сатпенову Сотню, и на этот раз Сатпен тоже отсутствовал -- он был в поле, в городе, на охоте или еще где-то; когда они приехали, Сатпен отсутствовал, и Бону стало ясно, что он и не надеялся его там увидеть, и он сказал себе {Сейчас. Сейчас. Сейчас. Это произойдет сейчас, а я молод, молод, потому что все еще не знаю, как мне быть}. И вполне возможно, что в тот вечер (он знал, что Сатпен возвратился, что он уже в доме; это, наверно, было как порыв ветра, как чье-то дыхание в холодной тьме, и он остановился, мрачно, спокойно и настороженно, и подумал Что это? Что это такое? Потом он понял, почувствовал, что тот, другой вошел в дом, и тогда он перевел дух, глубоко вздохнул, и сердце тоже забилось спокойно и ровно) в тот вечер, в саду, когда он прогуливался с Джудит, беседуя с ней галантно, почтительно, как автомат (а Джудит думала об этом то же, что прошлым летом о его первом поцелуе. {Вот оно. Вот что такое любовь}; ее опять, как обухом по голове, сразило разочарованье, но она все еще не поддавалась), в тот вечер он, наверно, просто ждал, при этом говоря себе {А вдруг он все-таки за мной пошлет. Или хотя бы просто это скажет говорил, уже понимая, что этого не будет Он сейчас в библиотеке, он послал черномазого за Генри; сейчас Генри входит в комнату}; и возможно, он остановился, посмотрел на нее, возможно, на его лице теперь даже появилось нечто вроде улыбки, он взял ее за локти, мягко и ласково повернул к дому и сказал: "Ступайте. Я хочу остаться один, чтобы подумать о любви", и она ушла -- ушла с тем же чувством, с каким приняла в тот день его поцелуй и, возможно, ощутила у себя на спине легкое мимолетное прикосновение его ладони. А он стоял и глядел на дом; наконец оттуда вышел Генри; они молча постояли, посмотрели друг на друга, повернулись, пересекли сад и двор, вошли в конюшню, где,

возможно, к их услугам был черномазый, а возможно, сами оседлали обеих лошадей и дождались, пока черномазый слуга вынес из дому две заново упакованные седельные сумки, И возможно, он даже и тогда не спросил: "Разве он ничего не велел мне передать?"

Шрив умолк. То есть умолк постольку, поскольку они оба, Шрив и Квентин, понимали, что он кончил -- ведь они оба знали, что он даже и не начинал, ибо для них не имело значения, кто именно все время говорил (хотя, вероятно, ни тот, ни другой этого различия не сознавал). И потому теперь они уже не вдвоем, а вчетвером, в тот сочельник, той темной декабрьской ночью скакали на двух лошадях по промерзшим ухабам; сначала вчетвером, а позже только вдвоем -- Чарльз-Шрив и Квентин-Генри -- и оба были уверены, что Генри тогда думал Он (то есть его отец) погубил нас всех; были уверены, что ему ни на секунду не приходило в голову {Он (то есть Чарльз Бон) наверняка все время это знал или хотя бы подозревал; вот почему он так себя вел, вот почему он прошлым летом не отвечал на мои письма и не писал Джудит, вот почему он так и не предложил ей выйти за него замуж}; оба были уверены, что Генри непременно должен был это подумать, и именно в ту минуту, когда он вышел из дома и когда они с Боном молча стояли и смотрели друг на друга, а потом пошли на конюшню и оседлали лошадей, но что Генри просто от этого отмахнулся, потому что все еще этому не верил, хотя и знал, что это правда; теперь, придя в полное отчаяние, он наверняка понял, в чем секрет его отношения к Бону, чем было вызвано то бессознательное чувство, которое охватило его год с четвертью назад, когда он впервые увидел Бона; он знал это, но не желал, отказывался этому верить. И вот они все четверо скакали на двух лошадях по северу штата Миссисипи той ночью, а затем ясным

безветренным морозным рождественским днем, словно парии, объезжая господские дома, где к дверным молоткам были привязаны ветки остролиста, на люстрах висели пучки омелы, на столах в прихожей стояли чаши с пуншем и грогом, а из оштукатуренных труб негритянских хижин поднимались к небу прямые столбы голубого древесного дыма; скакали к Реке и к пароходу. На пароходе тоже праздновали рождество -- с теми же букетами остролиста и омелы, с тем же пуншем и грогом, а возможно, даже наверняка, с рождественским ужином и балом, но все это было не для них -- они стояли в студеной тьме у поручней над темною водой и все еще молчали, ведь говорить им было не о чем, и оба (четверо) как бы проходили некий искус, как бы в нерешительности чего-то ожидали -- благодаря Генри, который знал, но все еще не верил, который хотел тщательно рассмотреть и доказать самому себе то, что, по мнению Квентина и Шрива, было для него равносильно смерти. Итак, все еще вчетвером, они сошли с парохода в Новом Орлеане, которого Генри никогда прежде не видел (все его знакомство с внешним миром, не считая пребывания в университете, ограничивалось, вероятно, двумя-тремя поездками в Мемфис, где они с отцом покупали рабов или скот), а теперь не имел времени осмотреть -- Генри, который знал, но не верил, и Бон, которого мистер Компсон называл фаталистом, но который, как думали Шрив и Квентин, не противился решению и замыслам Генри по той простой причине, что он не знал и не хотел знать, как поступит Генри, ибо давно уже понял: он еще не знает, что будет делать сам, -- вчетвером сидели в этой затхлой, убранной в стиле барокко роскошной гостиной, которую выдумал Шрив и которая, вероятно, именно такой на самом деле и была, а дочь владельца сахарной плантации, уроженка Гаити, которую первый тесть Сатпена выдал ему за испанку (худая, неряшливая

женщина -растрепанные черные с проседью, жесткие, как лошадиный хвост, волосы, кожа цвета пергамента, мешки под неукротимыми черными глазами -- лишь они одни на всем лице оставались молодыми, ибо в них не было забвенья -- женщина, которую Шрив и Квентин тоже выдумали и которая тоже, вероятно, именно такой на самом деле и была), ничего им не сказала -- в том не было нужды, потому что она уже все сказала раньше, не спросила: "Мой сын влюбился в вашу сестру?" -- а заявила: "Значит, она в него влюбилась", после чего долго и грубо смеялась над Генри, который не смог бы ей солгать, даже если б ему было нужно, и которому даже не нужно было отвечать Да или Нет... Их было четверо -- там, в этой комнате в Новом Орлеане в 1860 году, точно так же, как в некотором смысле их было четверо здесь, в этой холодной, как склеп, комнате в штате Массачусетс в 1910 году. И Бон, вполне возможно, даже наверное, взял Генри к своей любовнице-октороночке и к сыну, как говорил мистер Компсон, хотя ни Шрив, ни Квентин не думали, что этот визит произвел впечатление на Генри, как, судя по всему, полагал мистер Компсон. Во всяком случае, Квентин даже не рассказал Шриву, что его отец об этом визите говорил. Возможно, сам Квентин не слушал, что мистер Компсон рассказывал о нем в тот вечер; возможно, в ту минуту, сидя на веранде в жарких сентябрьских сумерках, Квентин просто пропустил это мимо ушей, как сделал бы и Шрив, ибо они со Шривом -- и, очевидно, тоже вполне справедливо -- полагали, что для Генри октороночка и ее сын составляли всего лишь еще одну принадлежность Бона, которой следовало не завидовать, а подражать -- если б это было возможно, если бы для подражания еще оставалось время и мир -- мир не между людьми, принадлежащими к одной расе и народу, а мир между двумя восставшими друг на друга юными душами и тем, что неотвратимо заставило их

друг на друга восстать -- ведь Бон с Генри, равно как Шрив с Квентином, были не первыми в мире юношами, которые полагали (или хотя бы действовали согласно этому предположению), что войны порою начинаются лишь затем, чтобы разрешить личные затруднения и споры молодых людей.

-- Итак, старуха задала Генри один только этот вопрос, а потом долго над ним смеялась, и тогда он убедился, и тогда они оба убедились. И потому на этот раз оно оказалось коротким, это свидание с адвокатом, самым коротким из всех. Ведь адвокат, несомненно, за Боном следил; возможно, той, второй осенью даже пришло какое-то письмо, когда адвокат ждал, а там, казалось, все еще ничего не происходило (а возможно, именно из-за адвоката Бон не ответил на письма Генри и Джудит тем летом -- он просто их не получил), какое-то письмо, -- две, а может, даже три страницы с "Вашим покорным", а также и "и т. д.", из которых можно было выжать двенадцать слов {Я знаю, что вы дурак, но какого именно дурака вы собираетесь свалять?} а Бон был вовсе не дурак, по крайней мере, настолько не дурак, чтобы суметь их выжать... Да, следил за ним, пока еще без особой тревоги, а лишь с изрядною досадой; он дал Бону достаточно времени, чтобы тот мог к нему явиться; может, даже прошла целая неделя (после того, как он -- адвокат -- ухитрился залучить к себе Генри и выведать у этого простака кой-какие мысли), прежде чем он смог залучить к себе также и Бона; возможно, он сделал это так ловко, что даже и Бон не сразу понял, что его ждет. Свидание было коротким. Теперь это уже не составляло тайны; они об этом просто не упомянули; адвокат сидел за конторкой (и, может, в потайном ящике лежал тот гроссбух, в котором он только что произвел последние подсчеты за прошлый год, определив прирост в 200% годовых от действительной стоимости плюс гордость и любовь);

адвокат был недоволен, раздосадован, но ничуть не озабочен -- он не только знал, что у него есть средства воздействовать на Бона, но все еще не верил, что Бон именно такой дурак, хотя уже готов был несколько изменить свое мнение насчет тупости или хотя бы медлительности, -- адвокат наблюдал за ним и говорил, вкрадчиво и елейно, -- ведь теперь это уже не составляло тайны, и, понимая, что Бон знает все, что когда-либо узнает или что ему потребуется знать, он мог нанести внезапный удар: "Знаете ли вы, молодой человек, что вам очень повезло? Ведь большинство из нас даже в случае удачи вынуждено платить за месть, порою даже настоящими долларами. А вы можете не только отомстить, не только восстановить доброе имя вашей матушки, но бальзам, коим вы облегчите ее боль, будет иметь еще и дополнительную ценность, и эту ценность можно перевести в предметы, в которых каждый молодой человек нуждается, которые принадлежат ему по праву, и которые -- нравится нам это или нет -- можно получить лишь в обмен на полноценную монету..." -- а Бон еще не спрашивал: "Что вы хотите этим сказать?" -- еще не двигался; вернее, адвокат еще не понял, что он уже начинает двигаться, и он (адвокат) продолжал, вкрадчиво и непринужденно: "И более того, кроме мести, так сказать, в качестве бесплатного приложения к мести, еще и этот букет, этот прекрасный цветок прерий, который не следует упускать и который может цвести в вашей петлице с не меньшим успехом, чем в любой другой, этот... как бишь вы, молодые люди, выражаетесь? -- этот лакомый кусочек..." -- и тут он вдруг увидел Бона, а может, только его глаза, а может, просто услышал, как начали двигаться его ноги. А потом, схватив пистолет ("дерринджер", кавалерийский пистолет, револьвер или что там у него было), он опрокинул стул, сгорбившись, прижался к стене, зарычал: "Отойдите! Стойте!", потом

завопил: "Помогите! Помогите! Он...!" -- а потом просто вопил, пытаясь разжать свои пальцы, вцепившиеся в пистолет; чувствуя и слыша, как затрещали его собственные вывихнутые кости и даже шейные позвонки, когда Бон ударил его по одной щеке ладонью, а по другой тыльной стороной руки; может, он даже слышал, как Бон сказал: "Молчите. Тихо. Я не причиню вам вреда", а может, даже не он, а сидящий в нем адвокат произнес это "Тихо", которого он послушался, поставил на место стул, посадил его, привалив всем телом к столу, и может, опять-таки этот сидящий в нем адвокат приказал ему не говорить Вы за это ответите а сидеть привалившись в столу, обернуть носовым платком и гладить вывихнутую Боном руку, между тем как Бон стоял и смотрел на него сверху вниз; в свисающей вдоль бедра руке он держал за ствол пистолет и говорил: "Если вам угодно получить удовлетворение, то разумеется.." -- а адвокат, который теперь откинулся на спинку стула и прикладывал к щеке носовой платок, отвечал: "Я был неправ. Я неправильно понял ваши чувства. Я прошу извинения", на что Бон сказал: "Пожалуйста. Как хотите. Я готов принять и извинения и пулю, как вам будет угодно", и адвокат (на щеках его выступили красные пятна, они постепенно блекли, и все; ни в голосе, ни в глазах ничего не было заметно) ответил: "Я вижу, за мою злополучную оговорку вы хотите воздать мне полною мерой, даже насмешкой. Даже если бы я считал, что право на моей стороне (чего я отнюдь не считаю), я все равно был бы вынужден отклонить ваше предложение. Я не ровня вам в искусстве владения пистолетом". -- "А ножом и рапирой?" -- спросил Бон. "Ножом и рапирою тоже", -- вкрадчиво и непринужденно ответил адвокат. Теперь адвокату не было даже нужно говорить {Вы за ото ответите} потому что Бон сказал это за него сам; он стоял, держал в расслабленной руке пистолет и думал

{Но только на пистолетах, ножах или рапирах. Чтоб я не смог взять над ним верх. Я мог бы его застрелить. Я застрелил бы его без зазрения совести, как змею или как человека, который наставил бы мне рога. Но он все равно возьмет надо мною верх. Да. Он уже взял надо мною верх}. Он думал это, когда он...

(-- Послушай, -- сказал, вскричал Шрив. -- Это произойдет через два года, когда он будет лежать в спальне того частного дома в Коринте после Питсберг-Лендинга, и когда будет заживать рана у него на плече, и когда его наконец догонит письмо от окторонки (может, даже именно то самое, с фотографией ее и малыша), в котором она будет слезно молить его о деньгах, сообщая, что адвокат в конце концов сбежал в Техас или в Мексику или куда-нибудь еще и что она (окторонка) не может нигде найти его мать -адвокат, наверно, убил ее, а потом украл деньги, а возможно, они оба сбежали или позволили себя убить, никак не позаботившись о ней)... Да, теперь они знали. О господи, подумай о нем, о Боне, который хотел узнать, у которого было на то достаточно оснований, который, насколько ему было известно, никогда не имел никакого отца, а был каким-то образом создан соединенными усилиями этой женщины, не позволявшей ему играть с другими детьми, и этого адвоката -- без его согласия эта женщина не смела даже купить ни хлеба, ни мяса -- создан соединенными усилиями этих двоих людей, из которых ни один не испытал ни наслаждения, ни страсти при его зачатии, равно как не испытал ни родовых мук, ни боли при его рожденье; и если б только хоть один из них сказал ему всю правду, то ничего из происшедшего никогда бы не случилось; а между тем Генри -- тому, у кого был отец, кто жил в довольстве, не зная никаких забот, -- сказали правду они оба; тогда как ему (Бону) не сказал ее никто. И подумай о Генри, который сначала сказал, что

это ложь, а узнав, что это не ложь, все равно сказал: "Я не верю", который даже в этом "Я не верю" почерпнул достаточно сил, чтобы, отрекшись от семьи и от родного дома, отстаивать свое непокорство, и, даже убедившись в ложности своих слов, еще сильнее укрепился в своем намерении не возвращаться домой; о господи, подумай, какое бремя он взвалил себе на плечи, он, потомок двух методистов (или одного длинного ряда несгибаемых методистов), выросший в захолустье на севере штата Миссисипи и поставленный перед угрозой кровосмешения, ни более ни менее как кровосмешения, из всего, что могло быть ему уготовано и против чего должно было просто из принципа восстать все его наследие и все его воспитание, да еще попавший в такой переплет, из которого, как он и сам понимал, ни кровосмешение, ни принципы его не вызволят. Так что, возможно, в тот вечер, когда они ушли и шагали по улицам и когда Бон наконец сказал: "Ну? Что теперь?", Генри ему ответил: "Подожди. Подожди. Дай мне к этому привыкнуть". И возможно, дня через два или три Генри сказал: "Ты не посмеешь. Не посмеешь", и тогда Бон, в свою очередь, повторил: "Подожди. Я твой старший брат; разве старшему брату говорят {ты не посмеешь?}" А возможно, это было через неделю, когда Бон привел Генри к окторонке, а Генри посмотрел на нее и спросил: "Разве тебе этого недостаточно?", а Бон ответил: "Ты хочешь, чтобы этого было достаточно?" на что Генри возразил: "Подожди. Подожди. Мне нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Ты должен дать мне время". Господи, ты только подумай, что должен был говорить Генри той зимой, а потом той весною, когда был избран Линкольн, когда было созвано законодательное собрание штата Алабама, и южные штаты начали выходить из Союза, а потом в Соединенных Штатах оказалось два президента, и телеграф принес весть о событиях в

Чарльстоне, и Линкольн призвал свою армию к оружию, и жребий был брошен -- теперь уже окончательно и бесповоротно; и Генри с Боном, даже не посоветовавшись друг с другом, уже решили идти; они бы все равно решили идти, даже если б никогда в жизни не видели друг друга, а тем более теперь, ибо войну не пропускают; представь себе, что они говорили друг другу -- Генри, наверно, сказал: "Разве ты должен на ней жениться? Зачем тебе это надо?" -- на что Бон ответил: "Он обязан был мне сказать. Он обязан был сказать сам мне самому. Я вел себя честно и благородно. Я ждал. Теперь ты знаешь, почему я ждал. Я предоставил ему возможность сказать мне об этом самому. Но он не сказал. Если б он это мне сказал, я согласился бы и обещал бы никогда больше не встречаться ни с тобой, ни с нею, ни с ним, но он мне ничего не сказал. Сначала я думал -- это потому, что он не знает. Потом я понял, что он знает, но я все-таки ждал. Однако он мне ничего не сказал. Он сказал это тебе, а мне просто дал понять -- вроде того, как через черномазого передают нищему или бродяге, чтобы он убирался. Неужели ты не понимаешь?" "Но как же Джудит? Наша сестра. Подумай о ней", -- сказал Генри, а Бон продолжал: "Ладно. Я о ней думаю. Ну, а дальше что?" Ведь они оба знали, как поступит Джудит, когда узнает: ведь они оба знали, что у женщин есть гордость и честь почти во всем, кроме любви, и потому Генри сказал: "Да. Я жду. Я понимаю. Но ты должен дать мне время к этому привыкнуть. Ты мой старший брат, ты должен сделать для меня хотя бы это!" Представь себе их обоих: Бона, который не знал, что он предпримет, но должен был говорить, притворяться, будто знает, и Генри, который отлично знал, что предпримет он, но должен был говорить, что не знает. Потом снова наступило рождество, а потом 1861 год, и они ничего не получали от Джудит, потому что Джудит не знала

точно, где они: ведь Генри пока еще не разрешал Бону ей писать; потом они услыхали о роте под названием "Университетские Серые", которую организовали в Оксфорде -- они, наверное, только того и ждали. И вот они снова сели на пароход, идущий на Север; на этот раз там было еще более шумно и весело, чем даже на рождество, как это всегда бывает в самом начале войны, пока еще не истощились запасы еды и не появились толпы раненых солдат, вдов и сирот, но они и теперь не участвовали в веселье, а снова стояли у перил над пенящейся водой, и может быть, дня через два или три Генри неожиданно сказал, неожиданно воскликнул: "Но ведь так поступали даже короли! Даже герцоги! В Лотарингии был какой-то герцог по имени Джон, который женился на своей сестре. Папа римский отлучил его от церкви, но им это ничуть не повредило! Не повредило! Они все равно остались мужем и женой. Они все равно любили друг друга!" -- а потом снова, очень громко, очень быстро: "Но ты должен подождать! Ты должен дать мне время! Может, война все это решит, и нам самим ничего решать не придется!" И может, именно в этом твой отец был прав: они поехали в Оксфорд, не заезжая в Сатпенову Сотню, записались в университетскую роту и куда-то спрятались, чтобы переждать, и Генри позволил Бону написать Джудит одно письмо; они послали его с черномазым, который должен был ночью пробраться в негритянскую хижину и передать его горничной Джудит, и Джудит послала ему свой портрет в медальоне, и они поехали дальше и дождались, пока рота сшила себе знамена, объехала весь штат, попрощалась с девушками и отправилась на фронт.

О господи, ты только о них подумай. Ведь Бон знал, что делает Генри -точно так же, как он всегда, с того первого дня, когда они увидели друг друга, знал, что Генри думает. Может, он именно потому и знал, что

делает Генри, что не знал, каковы его собственные намерения, и не узнает этого, пока в один прекрасный день не произойдет взрыв, и тогда все вырвется наружу, и он поймет, что всегда знал, как это будет, и, значит, ему нечего думать о себе, а надо только наблюдать, как Генри пытается примирить свои намерения со всеми голосами своего наследия и воспитания, которые ему твердят {Нет. Нет. Нет. Ты не можешь. Ты не должен. Ты не посмеешь}. Может, к этому времени они уже были под огнем, над головами у них проносились, гремели и рвались снаряды, а они лежали, готовясь к атаке, и Генри снова восклицал: "Но ведь тот герцог Лотарингский так поступил! На свете, наверно, было множество таких, кто так поступал, только об этом никто не знал, и может, они за это страдали и умерли и теперь находятся в аду. Но они так поступали, и теперь это не имеет значения; ведь даже от тех, про кого мы знаем, теперь остались только имена, и теперь это не имеет никакого значения", а Бон смотрел на него, слушал и думал {Это все оттого, что я сам не знаю, что мне предпринять, и потому он чувствует, что я колеблюсь, хотя он этого не сознает Может, если б я ему сейчас сказал, что я на это пойду, он понял бы, чего он хочет, и сказал бы мне: Ты не посмеешь}. И может, твой отец на этот раз был прав, и они действительно думали, что война все решит и им не придется ничего решать самим, а может, на это надеялся один только Генри; ведь, может, твой отец был прав и тут, и Бону было все равно: раз те два человека, которые могли дать ему отца, от этого отказались, для него теперь не имело значения вообще ничего -- ни месть, ни любовь, ни все остальное; ведь теперь он знал, что месть не может восполнить нанесенный ему ущерб, а любовь не может его умиротворить. А может, Бон не писал Джудит вовсе не из-за Генри, а оттого, что все было ему безразлично --

даже и то, что он все еще не знал своих намерений. Затем наступил следующий год, Бон теперь был уже офицером, они двигались к Шайло, опять-таки ничего об этом не зная, и снова разговаривали; они шли колонной, офицер отстал и подъехал к той шеренге, в которой шагал рядовой, и Генри снова восклицал, стараясь приглушить свой взволнованный, полный отчаяния голос: "Неужели ты до сих пор не знаешь, как тебе поступить?" -- а Бон, взглянув на него с тем своим выражением, которое могло быть улыбкой, отвечал: "Допустим, я скажу тебе, что не намерен к ней возвращаться", -- и тогда Генри, шагавший с ранцем и с восьмифунтовым ружьем, начинал задыхаться, он задыхался, а Бон, не сводя с него глаз, говорил: "Я теперь впереди, далеко от тебя; когда начнется бой, атака, я буду еще дальше..." Тут Генри простонал: "Замолчи! Замолчи!" -- а Бон все смотрел на него, и в уголках его глаз и рта блуждала эта смутная неясная улыбка... "и кто про это узнает? Ты даже сам не будешь точно знать, да и кто сможет доказать, что пуля янки не сразила меня в ту самую секунду, а может, даже раньше, чем ты спустил курок?.." -- а Генри, задыхаясь, широко раскрытыми глазами смотрел в небо; он оскалил зубы, на лбу его выступил пот, он так крепко вцепился в приклад своего ружья, что побелели костяшки пальцев, и, задыхаясь, твердил: "Замолчи! Замолчи! Замолчи!" Потом было Шайло, и на второй день битва была проиграна, и бригада отступила от Питсберг-Лендинга и... -- Послушай! -- вскричал Шрив, -- постой, подожди! -(уставившись на Квентина, он и сам начал задыхаться, словно должен был не только подсказать своей тени реплику, но и снабдить ее воздухом, в котором она могла бы ему повиноваться). -- Ведь тут твой отец опять ошибся! Он говорил, что ранили Бона, но это не так. Кто мог ему про это сказать? Кто мог сказать Сатпену или твоему

деду, который из них был ранен? Сатпен этого не знал, потому что его там не было, а деда твоего там тоже не было, потому что там его самого ранило, и он потерял руку. Так кто же им сказал? Не Генри, потому что Сатпен после этого видел Генри всего один раз, и может, им было некогда говорить о ранах, да и вообще говорить о ранах в армии конфедератов в 1865 году было все равно что углекопам говорить о саже; и Бон тоже не мог, ведь его Сатпен вообще больше не видел, потому что его уже не было в живых, -- так вот, ранили не Бона, а Генри, и в конце концов Бон нашел его, нагнулся, хотел поднять, а Генри не давался, он оттолкнул его и сказал: "Оставь меня! Дай мне умереть! Тогда я ничего не буду знать", а Бон ему ответил: "Значит, ты хочешь, чтоб я к ней вернулся?" -- и вот Генри лежал, сопротивлялся, тяжело дышал, пот выступил у него на лбу, он до крови закусил себе губы, и тогда Бон ему сказал: "Ты хочешь, чтоб я к ней вернулся. Скажи это. Может, тогда я не вернусь. Скажи", а Генри лежал, все еще сопротивляясь; сквозь мундир проступила свежая кровь, он оскалил зубы, лицо его покрылось потом, и в конце концов Бон схватил его за руки, поднял и взвалил себе на спину...

Сначала их было двое, потом четверо, теперь снова стало двое. Комната и вправду напоминала склеп, в воздухе чувствовалось что-то застывшее, неподвижное и мертвенное, совсем не похожее на живой бодрящий холод. Но они оставались там, хотя всего в каких-нибудь тридцати футах их ожидало тепло и постель. Квентин даже не надел пальто; оно лежало на полу там, куда свалилось с ручки кресла, на которую Шрив его повесил. Они не уходили от холода. Они оба терпели его, словно в нарочитом пылу самобичевания хотели, чтобы их физические муки помогли им острее ощутить душевную боль тех двоих юношей в те времена, пятьдесят или, вернее, сорок восемь, а потом

сорок семь и сорок шесть лет назад, ибо шел шестьдесят четвертый, а потом шестьдесят пятый год, и голодные, оборванные остатки армии, отступив через Алабаму и Джорджию в Каролину, двигались дальше не под напором теснящего их победоносного войска, а скорее под напором взметнувшихся высоким валом имен проигранных обеими сторонами сражений -- Чикамога, Франклин, Виксберг, Коринт и Атланта, сражений, проигранных не только из-за численного превосходства противника и недостатка амуниции и провианта, а из-за генералов, которым совсем не следовало быть генералами -- ведь они стали генералами не потому, что изучили современные методы ведения войн или способны были их усвоить, а потому, что неограниченная кастовая система наделила их божественным правом командовать своими ближними; к тому же эти генералы прожили недостаточно долго, чтобы овладеть искусством вести битвы с участием крупных соединений, действующих предусмотрительно и согласованно, ибо они уже с самого начала были таким же анахронизмом, как Ричард, Роланд или Дюгеклен; в двадцать восемь, тридцать и тридцать два года они уже носили плюмажи и плащи с алым подбоем и в кавалерийской атаке захватывали военные корабли, но не брали ни хлеба, ни мяса, ни снарядов; они могли за три дня разбить три армии, а потом ломали свои же изгороди, чтоб сварить мясо, украденное в своих же коптильнях; они могли в одну прекрасную ночь с горсточкой людей лихо поджечь и уничтожить вражеские склады с запасом провианта на миллион долларов, а на следующую ночь сосед находил их в постели со своей женой и убивал на месте -двое, четверо, теперь снова двое, как думали Квентин и Шрив, и эти двое-четверо-двое все еще продолжали говорить, причем один все еще не знал, как он поступит, а второй -- Генри -- знал, как придется

поступить ему, но еще не мог с этим смириться; возомнив себя авторитетом по вопросу кровосмешения, он толковал о своем герцоге Джоне Лотарингском, словно надеялся воскресить этот преданный анафеме и отлученный от церкви призрак, чтобы тот самолично подтвердил ему, что это хорошо -- так люди и прежде и позднее пытались заставить бога или дьявола оправдать поступки, на которые их толкала их собственная плоть -- двое-четверо-двое смотрели друг на друга в этой холодной, как склеп, комнате: Шрив, канадец, дитя снежных вьюг и мороза, в пальто, напяленном поверх купального халата, пытался закрыть уши поднятым воротником; Квентин, южанин, угрюмый и хрупкий отпрыск дождей и удушливого зноя, в тонком костюме, который он привез из Миссисипи, не удосужился даже поднять с полу свое пальто (столь же тонкое и бесполезное здесь, как и его костюм):

(...шла зима шестьдесят четвертого, армия отступала через Алабаму в Джорджию; теперь прямо у них за спиной была Каролина, и Бон, офицер, размышлял: одно из двух -- либо нас догонят и уничтожат, либо Старик Джо нас вызволит, и мы соединимся с генералом Ли перед Ричмондом, и тогда, по крайней мере, у нас будет право сдаться; а однажды его вдруг осенило, он вспомнил, что Джефферсонский полк, которым теперь командовал его отец, входит в состав корпуса Лонгстрита, и возможно, с этой минуты ему показалось, что цель всего отступления состоит в том, чтобы приблизить его к отцу и дать отцу еще один шанс. И вот ему, наверно, показалось: наконец-то он понял, почему никак не мог решить, что он намерен предпринять. Возможно, у него даже на секунду мелькнула мысль: "Боже мой, я еще молод; даже после этих четырех лет я все еще молод", но только на секунду: даже не успев еще перевести дух, он сказал себе: "Ладно. Пускай я молод. Но я все еще верю, верю

хотя бы в то, что война, страдания, эти четыре года, когда он старался сохранить своих солдат живыми и боеспособными, чтобы их кровью и жизнью заплатить за возможно большее количество земли, -- все это изменило его настолько (хоть я и знаю, что это не так), что он скажет не: Прости, а: Ты, -- мой старший сын. Пожалей свою сестру, никогда больше не встречайся ни с кем из нас". Потом наступил шестьдесят пятый, и остатки Западной армии сохранили теперь лишь способность медленно и упрямо отходить назад под ружейным и артиллерийским огнем; может, теперь они даже не замечали отсутствия сапог, шинелей и провианта, и потому он смог писать о трофейном лаке для печей так, как написал о нем в письме к Джудит, когда наконец понял, что он намерен предпринять, и сообщил об этом Генри, и Генри сказал: "Слава богу. Слава богу", -- разумеется, не потому, что он одобрял кровосмешение, а потому, что наконец-то они решили что-то сделать, и он наконец мог стать чем-то, хотя бы это что-то влекло за собою окончательное и бесповоротное отречение от своего наследия, воспитания и традиций предков и означало, что он обрек себя на вечное проклятье. Возможно, он даже перестал толковать о своем герцоге Лотарингском, потому что теперь он мог сказать: "Мы все попадем в ад -- не в твой, не в его ад и даже не в ад папы римского, а в ад моей матери и ее матери и отца, и их матерей и отцов, и туда попадешь не только ты, а мы -- все трое, нет, все четверо. И по крайней мере, мы будем все вместе там, где нам и следует быть: ведь даже если бы туда попал только он один, нам все равно пришлось бы отправиться вслед за ним, потому что мы трое -- всего лишь иллюзии, которые он породил, а иллюзии каждого человека -это часть его самого, все равно как кости, мясо или память. И мы все вместе будем терпеть адские муки, и потому нам не нужно будет вспоминать любовь

и блуд, а может быть, в муках человек даже не помнит, за что он попал в ад. А если мы не сможем все это вспоминать, то муки не могут быть очень уж страшны". Потом в январе и феврале шестьдесят пятого они были уже в Каролине, и то, что от них осталось, уже почти целый год отходило назад, и расстояние от них до Ричмонда было короче того, что они уже прошли, а расстояние от них до конца было еще короче. Но для Бона важно было не пространство, отделявшее их от поражения, а пространство, отделявшее его от другого полка, от того часа и той минуты: Ему даже не придется меня ни о чем просить; я просто возьму его за рукав и сам ему скажу: "Можешь не беспокоиться, она больше никогда меня не увидит". Потом был март в Каролине, и они все еще медленно и упрямо отходили назад, прислушиваясь к звукам, доносившимся с севера -- ведь со всех других сторон ничего не было слышно, потому что теперь со всех других сторон все было кончено, а с севера до них могла дойти только весть о поражении. И вот однажды (будучи офицером, он, наверно, знал, слышал, что генерал Ли отрядил и послал им на подкрепление часть своих войск; возможно, еще до прибытия этих полков он узнал их названия и номера), однажды он увидел Сатпена. Возможно, в тот первый раз Сатпен и вправду его не видел, возможно, в тот первый раз он мог сказать себе: "Ах, вот что -- он меня не видел", и потому он решил нарочно попасться на глаза Сатпену, чтобы дать ему возможность высказаться. И вот он во второй раз увидел это ничего не выражающее каменное лицо, эти бледные пронизывающие глаза, в которых не промелькнуло никакой искорки, ничего; лицо, в котором он различил свои собственные черты, понял, что тот его узнал, и это было все. Это было все; дальше не могло уже быть ничего; возможно, он наконец вздохнул спокойно; на лице его появилось то выражение, которое с первого

взгляда можно было назвать улыбкой, и он подумал: "Я мог бы его заставить; я мог бы пойти к нему и заставить его", хотя сам знал, что этого не сделает, потому что теперь все кончено, кончено раз и навсегда. И возможно, в ту же. ночь или через неделю, когда их остановили (ведь даже и Шерману иногда приходилось ночью останавливаться), когда горели костры, зажженные ради тепла -- тепло по крайней мере дешево, и его нельзя израсходовать в один присест, Бон сказал: "Генри. Теперь уже недолго; скоро у нас не останется ничего, нам даже нечего будет делать, мы лишимся даже предлога медленно отходить назад ради чести или остатков гордости. Бога у нас тоже не будет; ведь все эти четыре года мы, по-видимому, обходились без него, просто он не позаботился нас об этом известить; у нас не будет не только одежды и обуви, но даже и нужды в них, не будет не только земли и возможности добыть себе пропитание, но и нужды в нем, потому что мы, научились жить и без него; а коль скоро у тебя нет бога и ты не нуждаешься ни в пропитании, ни в одежде, ни даже в крыше над головой, -- значит, у тебя не осталось ничего, на чем могли бы держаться, произрастать и процветать гордость и честь. А раз у тебя нет ни гордости, ни чести, ничто уже не имеет значения. Однако в тебе заложено нечто, чему нет дела до гордости и чести, что все равно живет и даже целый год отходит назад, лишь бы остаться в живых, а когда все это кончится и не останется даже и пораженья, все равно не согласится спокойно сидеть на солнце и умирать, а пойдет в лес и, движимое инстинктом, который сильнее, чем просто воля к жизни, начнет искать и выкапывать из земли коренья и прочее. Это древняя как мир, живущая лишь чувства-, ми недреманная плоть, для которой нет разницы между отчаянием и победой. Генри". И тогда Генри скажет: "Слава богу. Слава богу", он будет,

задыхаясь, повторять: "Слава богу. Не пытайся мне объяснять. Просто действуй", а Бон спросит: "Значит, ты хочешь, чтоб я действовал? Ты, брат, мне это разрешаешь?" -"Брат? Брат? Ты старший, почему ты меня спрашиваешь?" -- возражает Генри, а Бон: "Нет. Он меня так и не признал. Он меня только предостерег. Ты брат и сын. Получил ли я твое разрешение, Генри?" "Напиши, Напиши. Напиши", -отвечает Генри. И тогда Бон написал это письмо, спустя четыре года, и Генри его прочитал и отправил. Но тогда они еще не бросили все, не ушли, не отправились вслед за письмом. Они все еще отходили назад, медленно и упрямо, надеясь услышать с севера весть о конце -- ведь надо обладать недюжинною силой, чтобы выйти из игры, когда терпишь поражение; они уже целый год медленно отходили назад, и все, что у них теперь оставалось, было не волей, а просто способностью, глубоко укоренившейся привычкой держаться. И вот однажды ночью они опять остановились, потому что Шерман опять остановился, и вестовой, обойдя весь бивуак, в конце концов отыскал Генри и сказал ему: "Сатпен, полковник требует тебя к себе в палатку").

-- Итак, ты с этой старушенцией, тетушкой Розой, поехал туда в ту ночь, и старая негритянка Клити пыталась остановить тебя и остановить ее; она взяла тебя за руку и сказала: "Не пускайте ее наверх, молодой господин", но и ты тоже не смог ее остановить, потому что она была сильна своей ненавистью: ведь сорок пять лет жить ненавистью -- все равно что сорок пять лет питаться сырым мясом, тогда как Клити могла ей противопоставить всего лишь сорок пять -- пятьдесят лет ожидания и отчаяния, а ты вообще не хотел туда ехать. И ты тоже не мог ее остановить, и вдруг ты понял, что Клити обуял не гнев, не подозрительность, а просто страх, ужас. И она не сказала тебе об этом прямо, словами, потому что все еще хранила эту тайну

ради человека, который был и ее отцом, ради семьи, которой уже больше не существовало, чей и доныне несокрушимый отвратительный мавзолей она по-прежнему стерегла, -- она сказала тебе об этом не больше, чем о том, что делала в тот день, когда принесли тело Бона и Джудит вынула у него из кармана медальон со своим портретом, который она ему подарила; она не сказала тебе этого прямо, словами, это просто вырвалось от ужаса и страха, когда она отпустила тебя и схватила за руку тетушку Розу, а тетушка Роза повернулась, оттолкнула ее руку и двинулась к лестнице, и тогда Клити опять бросилась к ней, и на этот раз тетушка Роза остановилась на второй ступеньке, повернулась и сбила Клити с ног кулаком, -- не хуже мужчины, повернулась и пошла по лестнице вверх, а Клити осталась лежать на полу -восьмидесятилетняя старуха, едва ли пяти футов ростом, она была похожа на связки чистых тряпок, и тут ты подошел, взял ее за руку, помог ей подняться; рука у нее была как тростинка, легкая, сухая и хрупкая, как тростинка; она посмотрела на тебя, и ты увидел на ее лице не ярость, а страх, но не такой страх, какой бывает у черномазых; ведь она боялась не за себя, а за нечто, что находилось наверху и что она уже почти четыре года там прятала; она не выразила этого в словах, потому что даже в страхе сохраняла тайну, и все же она тебе это сказала, или, во всяком случае, ты вдруг все понял...

Шрив снова замолчал. Впрочем, это не имело значения -- ведь у него не было слушателя. Возможно, он это сам понял. Потом внезапно у него не стало и рассказчика, хотя этого он, возможно, и не понял. Ибо теперь никого из них там больше не было. Они оба были в Каролине, и было это сорок шесть лет тому назад, и теперь даже не вчетвером -- теперь их стало даже больше, -- теперь они оба стали Генри Сатпеном, и оба

стали Чарльзом Боном, и в каждом слились эти двое, хотя ни один из них не был ни тем, ни другим; они даже слышали запах дыма, который сорок шесть лет назад поднимался, постепенно растворяясь в воздухе, {дыма костров на бивуаке в сосновой роще; вокруг костров сидели и лежали изможденные оборванные люди; они говорили не о войне, но, как это ни странно (а может, это вовсе и не странно), все они сидели лицом к югу, -туда, где поодаль стояли в темноте полевые караулы, караулы, которые, глядя на юг, видели сиянье и мерцание костров на бивуаке федеральных войск -мириады слабых огоньков, охвативших чуть ли не половину горизонта, -- десять костров на каждый костер конфедератов, и между ними (между караулами мятежников и кострами янки) были расставлены сторожевые отряды янки; они тоже вглядывались в темноту; линии тех и других караулов располагались так близко, что и те и другие слышали оклики офицеров противника, обходивших посты; когда офицеры удалялись и их голоса замирали вдали, кто-то невидимый осторожно, негромко, но очень внятно произносил:

-- Эй, бунтовщики!

-- Чего тебе?

-- Вы куда идете?

-- В Ричмонд.

-- И мы туда. Может, вы нас обождете?

-- А мы что делаем?

Люди, сидящие у костров, не слышат этой беседы, но вскоре до них явственно доносится голос вестового, который ходит от костра к костру в поисках Сатпена; ему указывают, куда идти, так что он наконец добирается до костра, до тлеющего бревна, продолжая монотонно твердить: "Где Сатпен? Я ищу Сатпена", и Генри наконец встает и отзывается: "Здесь". Он изможден, оборван и небрит; из-за последних четырех

лет и из-за того, что, когда эти четыре года начались, он еще не перестал расти, и теперь он на два дюйма ниже, чем обещал быть, и на тридцать фунтов легче, чем, вероятно, будет через несколько лет после того, как он эти четыре года переживет -- если, конечно, он их и впрямь переживет.

-- Здесь, -- говорит он. -- В чем дело?

-- Тебя полковник требует.

Вестовой его не сопровождает. Он идет один в темноте по дороге, изрытой и изрезанной ухабами и колеями, где днем проезжали пушки, и в конце концов добирается до палатки, до одной из немногих палаток; сквозь парусину слабо светится горящая внутри свеча; у входа маячит расплывчатый силуэт часового, который его тотчас окликает.

-- Я Сатпен, -- говорит Генри. -- Меня полковник вызвал.

Часовой пропускает его в палатку. Входя, он нагибается, парусина падает на место, и в эту минуту кто-то, единственный находящийся в палатке человек, встает с походного стула из-за стола, на котором горит свеча, и по парусиновой стене поднимается его огромная высокая тень. Он (Генри) подходит и отдает честь; он видит серый рукав с полковничьей нашивкой, обросшую бородою щеку, торчащий нос, свисающие со лба космы, седеющих волос; он не узнает это лицо -- не потому, что четыре года его не видел и не ожидал увидеть его здесь сейчас, а потому, что просто на него не смотрит. Он отдает честь нашивке на рукаве и стоит смирно, пока тот, другой, не произносит:

-- Генри.

Однако даже и теперь Генри не трогается с места. Он стоит, как стоял, они оба стоят и смотрят друг на друга. Первым идет вперед старший, они сходятся посередине палатки, обнимаются и целуются еще прежде, чем Генри осознает, что он тоже шагнул,

собирался шагнуть вперед, движимый голосом крови, который мгновенно снимает и примиряет разногласия, хотя еще и не прощает (а может, никогда и не простит); потом он снова останавливается, а отец смотрит на него, обеими руками повернув к себе его лицо.

-- Генри, -- произносит Сатпен. -- Сын мой. Потом они сидят на стульях, предназначенных для офицеров, по обе стороны стола, на котором горит свеча (и лежит развернутая карта).

-- Так точно, -- отвечает Генри.

Он хочет сказать, что Чарльз вынес его с поля боя, но не говорит этого, потому что уже знает, что сейчас произойдет. Он даже не думает: Вряд ли Джудит написала ему про это письмо, или: Наверно, это Клити каким-то образом дала ему знать, что Чарльз ей написал. Он не думает ни того, ни другого. Ему кажется вполне логичным и естественным, что отцу известно решение, которое они с Боном приняли: их кровная связь в одну и ту же минуту, через четыре года, вне всякого времени вообще, заставила Бона написать, его самого -- на это согласиться, а их отца -- про это узнать. И вот оно происходит, и почти так, как он предвидел.

-- Я видел Чарльза Бона, Генри.

Генри ничего не говорит. Сейчас начнется. Он ничего не говорит, он только широко раскрытыми глазами смотрит на отца -- оба в выцветших, как палый лист, мундирах; на столе горит одинокая свеча, грубая парусина палатки отделяет их от тьмы, где стоят друг против друга бессонные часовые, где под открытым небом спят изнуренные люди, ожидая рассвета, когда снова начнется обстрел и томительный марш назад; но не проходит и секунды, как палатка, свеча, и серые мундиры, и все остальное исчезает, и вот они уже снова в украшенной рождественским остролистом библиотеке в Сатпеновой Сотне четыре года назад, и стол уже не походный столик, на котором удобно развертывать

карту, а массивный резной палисандровый стол у них дома; на столе фотография матери, сестры и его самого; за столом отец, за спиною отца окно, выходящее в сад, где Джудит и Бон прогуливались в том медленном темпе, когда сердце бьется в такт с шагами, а глаза одного смотрят лишь в глаза другому.

-- Ты хочешь позволить ему жениться на Джудит, Генри.

Генри опять не отвечает. Все это уже говорилось прежде, а теперь у него за плечами четыре года жестокой борьбы, в которой он чего-то добился -- будь то победа или пораженье, -- но он хотя бы этого добился, и теперь он обрел покой, даже если этот покой не что иное, как горькое отчаяние.

-- Он не может на ней жениться, Генри. На этот раз Генри отвечает:

-- Ты уже говорил это раньше. Я тогда тебе ответил. А теперь, теперь ждать уже недолго, и тогда у нас не останется ничего: ни чести, ни гордости, ни бога -- ведь бог нас покинул четыре года назад, просто он не счел нужным нас об этом известить; у нас не будет ни одежды, ни обуви, ни нужды в них; не будет не только земли, которая бы нас пропитала, но даже и нужды в пропитании, а когда у тебя нет ни бога, ни гордости, ни чести, ничто не имеет значения, кроме древней как мир бессмысленной плоти, которой нет дела ни до поражения, ни до победы, которая даже не умрет, а пойдет в леса и на поля выкапывать там травы и коренья. Да, я решил. Брат или не брат, я все равно решил. Я ему позволю. Я позволю.

-- Ему нельзя на ней жениться, Генри.

-- Нет, можно. Я с самого начала сказал Да, но в то время я еще ничего не решил. Я ему не позволил. Но потом у меня было четыре года, чтобы обдумать свое решение. Я ему позволю. Теперь я решил.

-- Ему нельзя на ней жениться, Генри. Отец его матери сказал мне, что ее мать была испанкой. Я ему поверил, и только после его рождения я узнал, что в жилах его матери течет негритянская кровь.

Генри никогда не говорил, будто не помнит, как вышел из палатки. Он все это помнит. Он помнит, как, выходя, опять нагнулся и опять миновал часового; помнит, как, спотыкаясь на ухабах, шел обратно по изрытой колеями дороге, по обе стороны которой теперь догорали костры, так что он с трудом различал спавших на земле вокруг них солдат. Наверное, уже двенадцатый час, думает он. А завтра снова идти восемь миль. Если б только не эти проклятые пушки. Почему Старик Джо не отдаст их Шерману? Тогда мы бы проходили по двадцать миль в день. Тогда мы бы соединились с генералом Ли. Ли по крайней мере иногда останавливается и дерется. Он все это помнит. Он помнит, что не вернулся к своему костру, а вскоре остановился в уединенном месте, спокойно прислонился к сосне и откинул голову, чтобы удобно было смотреть на мохнатые разлапистее ветви, похожие на затейливую железную решетку, неподвижно стоящую на фоне холодных мерцающих звезд ранней весны; смотреть и думать: Надеюсь, он не забудет поблагодарить полковника Уиллоу за то, что он разрешил нам воспользоваться его палаткой; он думал не о том, как он поступит, а о том, как ему придется поступить. Ведь теперь он знал, как поступит; теперь это зависело от того, что сделает и что заставит его сделать Бон, ибо теперь он знал, что он это сделает. Значит, надо идти к нему, подумал он. Теперь уже третий час, скоро рассветет.

Потом рассвело или почти рассвело; было холодно; стужа проникала сквозь изношенную залатанную тонкую одежду; усталость и голод теперь преодолевались уже не усилием воли, а просто

пассивной способностью терпеть; откуда-то забрезжил свет, стало настолько светло, что он мог узнать Бона -завернувшись в одеяло и укрывшись плащом, Бон спал среди других, -- настолько светло, что он мог разбудить Бона, и Бон мог узнать его (а быть может, что-то передалось ему через прикосновение руки Генри), потому что Бон ничего не говорит, ни о чем не спрашивает; он просто встает, накидывает на плечи плащ, подходит к тлеющему костру, разгребает ногою угли, они вспыхивают, и тут Генри говорит ему:

-- Подожди.

Бон останавливается и смотрит на Генри; теперь он видит его лицо. Он говорит:

-- Ты замерзнешь. Ты уже замерз. Ты не спал? Вот, возьми.

Он сбрасывает плащ и протягивает его Генри.

-- Не надо, -- говорит Генри.

-- Нет, надо. Бери. Я возьму одеяло.

Бон укутывает Генри плащом, идет за своим измятым одеялом, накидывает его себе на плечи; они отходят в сторону и садятся на бревно. Уже рассвело. Небо на востоке серое; скоро оно пожелтеет, потом покраснеет от артиллерийского огня, и вновь начнется томительный марш назад, отступление от полного разгрома, поиски спасенья в поражении, но это еще не сейчас. У них еще остается немного времени, и, освещенные разгорающейся зарею, они сидят бок о бок на бревне, один в плаще, другой в одеяле, и голоса их звучат немногим громче молчания самой зари.

-- Значит, тебе противно не кровосмешение, а смешение рас.

Генри не отвечает.

-- И он ни слова не велел мне передать? Не попросил тебя послать меня к нему? Ни слова? Ни единого слова? Ведь ему надо было сделать только это -сейчас, сегодня, четыре года назад или в любое время за эти

четыре года. Только и всего. Ему не надо было меня просить, не надо было ничего от меня требовать. Я бы сам ему это предложил. Не ожидая его просьбы, я бы сам сказал ему, что больше никогда с ней не увижусь. Ему не надо было этого делать, Генри. Если он хотел меня остановить, ему вовсе не надо было говорить тебе, что я черномазый. Он мог бы и так остановить меня, Генри.

-- Нет! -- восклицает Генри. -- Нет! Нет! Я все равно... все равно...

Он вскакивает, лицо его дергается, в мягкой бородке, покрывающей его впалые щеки, Бон видит его зубы, видит, как сверкают белки его глаз, словно глазные яблоки вот-вот выскочат из орбит; слышит, как его хриплое дыхание вырывается из легких... но вот Генри уже перестал задыхаться, он дышит ровно, он опускает глаза и смотрит на Бона, который сидит на бревне, и голос его теперь звучит немногим громче подавленного вздоха:

-- Ты сказал, что он мог тебя остановить. Что это значит?

Теперь Бон, в свою очередь, не отвечает; он сидит на бревне и смотрит на склонившееся к нему лицо. Говорит Генри, опять тем же голосом не громче вздоха:

-- А теперь? Ты хочешь сказать, что ты...

-- Да. Что еще мне теперь остается делать? Я дал ему возможность сделать выбор. Я четыре года давал ему возможность сделать выбор.

-- Подумай о ней. Не обо мне, о ней.

-- Я думал. Все четыре года. О тебе и о ней. Теперь я думаю о себе.

-- Нет, -- говорит Генри. -- Нет. Нет.

-- Думаешь, я не смогу?

-- Ты не посмеешь.

-- Кто остановит меня, Генри?

-- Нет, -- повторяет Генри. -- Нет. Нет. Нет. Теперь Бон, в свою очередь, следит за Генри, глядя

на Генри с тем выражением, которое можно было бы назвать улыбкой, Бон снова видит белки его глаз. Рука его исчезает под одеялом и снова появляется с пистолетом -- он держит его за ствол, протягивая рукоятку Генри.

-- Тогда сделай это сейчас, -- говорит он.

Генри смотрит на пистолет; теперь он не только задыхается, он дрожит; когда он начинает говорить, голос его звучит даже не как вздох, а как рыданье, как подавленный всхлип.

-- Ты мой брат.

-- Ничего подобного. Я черномазый, который намеревается спать с твоей сестрой. Если ты меня не остановишь, Генри.

Внезапно Генри выхватывает у Бона пистолет и стоит с пистолетом в руке; он опять начинает задыхаться, и Бон, сидя на бревне, опять видит белки его глаз; он наблюдает за Генри с тем еле заметным выражением в уголках глаз и рта, которое могло бы быть улыбкой.

-- Сделай это сейчас, Генри, -- говорит он. Генри вихрем оборачивается, тем же движением отшвыривает в сторону пистолет, снова нагибается и, задыхаясь, хватает Бона за плечи.

-- Ты не посмеешь! -- кричит он. -- Не посмеешь! Слышишь, что я тебе говорю?

Бон даже не делает попытки вырваться из вцепившихся в него рук; он сидит неподвижно, на лице его застыла слабая гримаса, а голос звучит мягче, чем первый порыв ветерка, который колышет над ними ветви сосен.

-- Тебе придется остановить меня, Генри.} -- И ведь он не улизнул, -сказал Шрив. -- Мог бы улизнуть, но даже ни разу не попытался. Господи, он, наверно, даже

пошел к Генри и сказал: "Я еду, Генри", и может, они даже вместе ушли и, скрываясь от патрулей янки, проделали весь путь назад в Миссисипи, до тех самых ворот, все время бок о бок, и только там один из них наконец выехал вперед или отстал, и только там Генри, пришпорив лошадь, обогнал Бона, повернулся к нему лицом и выхватил пистолет; Джудит с Клити услышали выстрел, и может, Уош Джонс в это время как раз слонялся где-то на задворках, и потому он помог Клити и Джудит внести его в дом и положить на кровать, а потом поехал в город известить тетушку Розу, и вот тетушка Роза мчится туда и находит Джудит -- она без единой слезинки в глазах стоит перед запертой дверью, держа в руке медальон, который она ему подарила, -- в нем был тогда ее портрет, но теперь в нем лежит не ее портрет, а портрет окторонки с мальчиком. Твой отец не знал, зачем этот черный сукин сын вынул ее портрет и вложил портрет окторонки, и поэтому сам придумал причину. А я знаю. И ты тоже знаешь. Неужели не знаешь? Неужели не знаешь? -- Вперив взор в Квентина, он наклонился над столом, в своих многочисленных одежках напоминая огромного всклокоченного медведя. -- Неужели не знаешь? Он сделал это потому, что сказал себе: Если Генри не сделает того, о чем он говорил, все будет в порядке, и тогда я смогу его вынуть и уничтожить. Но если он так сделает, это единственный способ сказать ей: {От меня все равно не было бы проку, не горюй обо мне}. Разве я не прав? Неужели не прав? Клянусь богом, что я прав.

-- Да, -- сказал Квентин.

-- Пошли, -- сказал Шрив. -- Уйдем из этого холодильника и ляжем спать.

IX

В темноте, в постели, ему сначала сделалось холоднее, чем раньше, словно от единственной лампочки -- до того, как Шрив ее выключил, -- исходила

какая-то слабая, крошечная частичка тепла, и теперь стало казаться, будто суровая непроглядная тьма слилась воедино с жесткой ледяною простыней на расслабленном, готовом ко сну теле в тонком ночном белье. Потом появилось ощущение, будто темнота дышит, отступает, Шрив открыл окно, на фоне излучаемого снегом слабого неземного сиянья вырисовался его четырехугольник, и тогда, словно под давлением тьмы, в жилах заструилась теплая, горячая кровь.

-- Университет Миссисипи, -- раздался в темноте справа от Квентина голос Шрива. -- Раз в семестр университет -- эта гордость и честь захолустья -изрыгал своих питомцев, и Баярд пролетал сорок миль (ведь именно сорок, правда?).

-- Да, -- сказал Квентин. -- Их выпуск был бы десятым со дня основания университета.

-- Я и не знал, что в штате Миссисипи вообще когда-либо могло набраться десять человек, которые одновременно учились бы в университете, -- сказал Шрив. Квентин не ответил. Он лежал, глядя на четырехугольник окна, и чувствовал, как кровь струится по жилам, согревая руки и ноги. И теперь, хотя ему было тепло и хотя, сидя в теплой комнате, он лишь слегка дрожал, теперь все его тело стало дергаться, непроизвольно и судорожно, и дергалось до тех пор, пока он не услышал, как заскрипела кровать, пока это не почувствовал даже и Шрив -- опершись на локоть, он обернулся (на этот звук) и посмотрел на Квентина, хотя сам Квентин чувствовал себя превосходно. Он чувствовал себя как нельзя лучше, лежа в постели и спокойно, с любопытством ожидая следующего, ничем не предваренного судорожного рывка. -- Господи, неужели тебе так холодно? -- спросил его Шрив. -- Хочешь, я накрою тебя двумя пальто?

-- Нет, -- отвечал Квентин. -- Мне не холодно. Мне хорошо. Я отлично себя чувствую.

-- Тогда почему ты так дергаешься?

-- Не знаю. Я ничего не могу с собой поделать. Я отлично себя чувствую.

-- Ладно. Но если захочешь накрыться пальто, скажи. Господи, если б я был с Юга, мне бы подумать было страшно провести девять месяцев в этом климате. Может, я вообще не поехал бы сюда с Юга, даже если бы и смог здесь жить. Подожди. Послушай. Я не собираюсь разыгрывать из себя остряка или умника. Я просто стараюсь это понять и не знаю, как это получше выразить. Ведь у нас в семье ничего такого нет. А если что-то такое и было, то все это случилось давным-давно, за морем, и теперь не осталось ничего, на что можно смотреть каждый день, чтоб оно нам про это напоминало. Мы не живем среди потерпевших поражение дедов, и освобожденных рабов (а может, я понял все как раз наоборот, и освобождены были твои родичи, а поражение потерпели черномазые?), и пуль, застрявших в обеденном столе, и разного тому подобного, что должно нам вечно напоминать о том, чего никогда нельзя позабыть. Что это такое? Нечто, чем вы живете и дышите, как воздухом? Некая пустота, наполненная призрачным неукротимым гневом, славой и гордостью событиями, что начались и кончились полсотни лет назад? нечто вроде святого долга никогда не прощать генералу Шерману, долга, переходящего по наследству от отца к сыну, от отца к сыну, так что во веки веков, пока дети твоих детей будут производить на свет детей, ты будешь всего только отпрыском бесконечной линии полковников, убитых во время атаки Пиккета при Манассасе?

-- При Геттисберге, -- сказал Квентин. -- Тебе этого не понять. Для этого надо там родиться.

-- А тогда я бы понял? -- Квентин ничего не ответил. -- А ты сам это понимаешь?

-- Не знаю, -- отозвался Квентин. -- Да, конечно понимаю. -- Оба громко дышали в темноте. Через минуту Квентин сказал: -- Не знаю.

-- Да. Ты не знаешь. Ты даже ничего не знаешь про эту старушенцию, тетушку Розу.

-- Мисс Розу, -- сказал Квентин.

-- Ладно. Ты даже и про нее ничего не знаешь. Не считая того, что она до конца отказывалась стать призраком. Что даже через полсотни лет она не могла заставить себя смириться и дать ему спокойно лежать в могиле. Что даже через полсотни лет она могла не только взять да и поехать туда заканчивать то, что считала не вполне завершенным, но даже сумела найти кого-то, кто поехал туда вместе с нею и ворвался в этот запертый дом, ибо инстинкт или что-то другое в этом роде говорило ей, что это еще не кончено. Так знаешь или нет?

-- Нет, -- спокойно ответил Квентин. Он ощущал на губах вкус пыли. Даже сейчас, когда лицо его овевал чистый прохладный снежный воздух Новой Англии, он чувствовал, ощущал вкус пыли того душного (или, вернее, пышущего жаром раскаленной печи) сентябрьского вечера в Миссисипи. Он даже ощущал запах старухи, сидевшей рядом с ним в повозке, запах затхлой, пропитанной камфарою шали и даже сложенного черного ситцевого зонта, в который (об этом он узнает, только когда они доберутся до дома) она запрятала фонарик и топор. Он ощущал запах лошади, он слышал сухое скрипенье легких колес в невесомой всепроникающей пыли; ему казалось, будто эта сухая пыль медленно ползет по его потному телу; ему казалось также, будто он слышит единый глубокий вздох агонизирующей, выжженной солнцем земли, вздох, улетающий ввысь к далеким равнодушным

звездам. Теперь она заговорила, в первый раз после того, как они выехали из Джефферсона, после того, как она забралась в повозку с какой-то суетливой неловкой поспешностью (которая, как он думал, объясняется страхом, тревогой; потом он понял, что глубоко ошибался) и, прежде чем он успел ей помочь, устроилась на самом краешке сиденья; маленькая, закутанная в затхлую шаль, она крепко сжала в руке зонтик и подалась вперед, словно это движение должно было помочь ей скорее очутиться там, очутиться там сразу же вслед за лошадью, и намного скорее его, Квентина.

"Ну вот, -- сказала она. -- Вот мы и в Поместье. На земле, принадлежащей ему, ему и Эллен и потомкам Эллен. Насколько я понимаю, ее у них впоследствии отобрали. Но она все равно принадлежит ему, Эллен и ее потомкам". Но Квентин уже и сам это увидел. Еще до того, как она заговорила, он сказал себе: "Вот. Вот", и (как это было весь долгий жаркий день в душном полутемном домике) ему показалось, что если он остановит повозку и прислушается, то сможет даже услышать топот копыт, сможет даже в любую минуту увидеть, как всадник на вороном коне выскакивает впереди них на дорогу и галопом несется дальше -- всадник, некогда владевший всем, что только видел с любой точки его глаз, всем, что там было; и все -- люди, животные и растения, -- все напоминало ему (если б он даже когда-нибудь про это позабыл), что из всего, что видят и они и он, он самый большой и самый важный; он пошел на войну, чтобы все это защищать, и проиграл войну, и вернулся домой, и увидел, что проиграл нечто большее, чем даже и войну, хотя и не все; и тогда он сказал По крайней мере, у меня еще осталась жизнь но на самом деле у него осталась не жизнь, а всего только старость, и дыхание, и ужас, и презрение, и страх, и гнев, а из всех, кто прежде с неизменным почтением на

него смотрел, осталась одна только девочка -- когда он видел ее в последний раз, она была совсем еще ребенком, -- она, наверно, наблюдала за ним из окна или из дверей, когда он, не замечая ее, проезжал мимо, смотрела так, как, вероятно, смотрела бы на самого господа бога, ибо все остальное, что она видела, принадлежало тоже ему. И быть может, он даже останавливался возле хижины и просил напиться, и она шла с ведром к источнику -- милю туда и милю обратно, -- чтобы подать ему свежей холодной воды, так же не смея сказать ему, что ведро пусто, как не посмела бы сказать это господу богу, -но и это было еще не все, ибо, по крайней мере, он был жив и он дышал.

Теперь Квентин, некоторое время тихо пролежав в теплой постели, снова стал тяжело дышать, с трудом вдыхая пьянящую чистую снежную тьму. Она (мисс Роза) не позволила ему въехать в ворота. "Остановитесь", -- сказала она вдруг; он почувствовал, как ее ладонь затрепетала на его руке, и подумал: "Да ведь она боится". Теперь ему было слышно, как она дышит; голос ее звучал как робкий стон, полный, однако, железной решимости: "Не знаю, что делать. Не знаю, что делать". ("Зато я знаю, -- подумал он. -- Возвращайтесь в город и ложитесь спать".) Но он этого не сказал. В свете звезд он увидел два огромных гнилых воротных столба, на которых теперь не было ворот, и принялся гадать, с какой стороны подъехали в тот день Генри и Бон и что отбрасывало ту тень, которой Бону не суждено было переступить живым, -- то ли какое-нибудь живое дерево, которое и теперь еще жило, покрывалось листьями и снова их сбрасывало; то ли другое дерево -- его срубили, сожгли ради тепла и пищи много лет назад, а может, оно просто погибло; то ли один из этих двух столбов; ему очень хотелось, чтобы здесь сейчас оказался сам Генри, который остановил бы мисс Розу и велел им вернуться обратно;

он говорил себе, что если б Генри сейчас оказался здесь, то никто не услышал бы выстрела. "Она непременно захочет меня остановить, -- всхлипывая, лепетала мисс Роза. -Захочет, я знаю. Может, в такой дали от города, когда мы здесь одни, в полночь, она даже велит этому негру... А вы даже не взяли с собой пистолета. Или взяли?"

"Нет, сударыня, -- сказал Квентин. -- Что она там прячет? Что это может быть? Впрочем, не все ли равно? Вернемся обратно в город, мисс Роза".

Она ничего не ответила. Она только сказала: "Именно это я и должна узнать". Она сидела, наклонившись вперед и дрожа, всматривалась в аллею -кроны деревьев образовывали над нею арку, -- в аллею, ведущую туда, где стоит гнилая оболочка дома. "И теперь я непременно все узнаю", -- всхлипнула она с каким-то изумлением, с жалостью к самой себе. Потом она внезапно зашевелилась. "Идем", -- прошептала она, вылезая из повозки.

"Постойте, -- сказал Квентин. -- Давайте подъедем к дому. Ведь до него еще полмили".

"Нет, нет, -- прошептала она; слова, словно свирепое шипенье, сорвались с ее уст с тою же странной, полной ужаса, но неумолимой решимостью, как будто идти и узнавать должна была вовсе не она, как будто она была всего лишь безвольным орудием кого-то другого, кому непременно нужно было это узнать. -- Привяжите лошадь здесь. Скорее". Прежде чем он подоспел ей на помощь, она, крепко сжимая в руке зонтик, неловко спрыгнула с повозки. Ему казалось, будто он все еще слышит, как она задыхается и всхлипывает, стоя возле одного из столбов в ожидании, когда он отведет кобылу с дороги и привяжет ее за повод к молодому деревцу, поднимавшемуся из заросшей сорняками канавы. Она так тесно прижалась к столбу, что ее совсем не было видно, и когда он прошел в ворота, она просто

отодвинулась от столба и, все так же всхлипывая и тяжело дыша, зашагала рядом с ним под аркой листвы по изрытой ухабами аллее. Тьма стояла кромешная; она споткнулась; он ее поддержал. Она взяла его под руку, вцепилась в него мертвой хваткой, словно ее пальцы, вся ее рука была маленьким мотком упругой проволоки. "Мне придется опереться о вашу руку, -- всхлипывая, прошептала она. -- А у вас нет даже пистолета... Подождите. -- Она остановилась. Он обернулся; ее совсем не было видно, он слышал только торопливое дыхание и шелест ткани. Потом она сунула что-то ему в руку. -- Вот, -- прошептала она. -- Возьмите". Это был топор, он понял это не зрением, а осязаньем -- топор с тяжелым истертым топорищем и тяжелым зазубренным ржавым лезвием.

"Что это?" -- спросил он.

"Берите! -- прошипела она. -- Вы не взяли с собой пистолета. Это все-таки лучше, чем ничего".

"Постойте", -- сказал он.

"Идем, -- прошептала она. -- Я так дрожу, что мне придется взять вас под руку. -- Они снова двинулись вперед; в одну его руку вцепилась она, в другой он держал топор. -- Он может понадобиться нам, чтобы войти в дом, -- сказала она; спотыкаясь, она почти тащила его за собой. -- Она наверняка откуда-нибудь за нами следит, -- всхлипывая, проговорила она. -- Я это чувствую. Только бы нам удалось подойти к дому, пробраться в дом..." Аллея казалась, бесконечной. Места эти были ему знакомы. Он не раз проходил от ворот до дома, мальчиком, в детстве, когда расстояния кажутся действительно очень большими (так что для взрослого мужчины бесконечно долгая миля его детства становится совсем короткой -- бросишь камень, он и то летит дальше), но теперь ему казалось, будто дом никогда не появится у него перед глазами, и вскоре он поймал себя на том, что повторяет ее слова: "Только

бы нам удалось подойти к дому, пробраться в дом", но тут же опомнился и сказал себе: "Я не боюсь. Я просто не хочу быть здесь. Я просто не хочу знать, что она там прячет". Однако в конце концов они добрались до дома. Перед ними возникла высокая прямоугольная громада; на слегка просевшей крыше торчали полуразвалившиеся зубчатые трубы, и в ту минуту, когда они чуть ли не бегом устремились к дому, Квентин сквозь его темную плоскость разглядел четкий зазубренный кусок неба, в котором жарко пылали две звезды, словно дом имел только одно измерение, был намалеван на дырявом парусиновом занавесе, и теперь мертвый, пышущий жаром раскаленной печи воздух, в котором они двигались, медленно вырываясь из этих дыр, казалось, издает запах запустения и тлена, словно дерево, из которого дом был построен, было живою гниющею плотью. Теперь она семенила с ним рядом; ее дрожащие пальцы железной хваткой сжимали его руку; она ничего не говорила, не произносила никаких слов, а только протяжно всхлипывала, почти стонала. Она теперь явно ничего не видела, так что ему пришлось подвести ее к тому месту, где, как он помнил, должны были находиться ступени, и там ее остановить, с шепотом, с шипеньем, бессознательно усвоив ее напряженную, почти бесчувственную поспешность: "Постойте. Сюда. Осторожно. Они гнилые". Он почти что поднял, пронес ее по ступеням, поддерживая сзади за оба локтя, как поднимают детей; он чувствовал, как через ее худые напряженные руки в его ладони и плечи переливается какая-то неукротимая неистовая сила, и теперь, лежа в постели в штате Массачусетс, он вспомнил, как тогда подумал, понял, неожиданно сказал себе: "А ведь она ничуть не боится. Там что-то есть. Но она не боится", чувствуя, как она вырывается у него из рук, слыша ее шаги на галерее, нагоняя ее перед невидимой парадною дверью, где она, тяжело

дыша, наконец остановилась. "Ну, а дальше что?" -- прошептал он.

"Ломайте, -- шепотом ответила она. -- Дверь, наверно, заперта, заколочена. У вас топор. Ломайте".

"Но ведь..." -- начал он.

"Ломайте! -- зашипела она. -- Этот дом принадлежал Эллен. Я ее сестра, ее единственная живая наследница. Ломайте. Скорее". Он толкнул дверь. Она не поддавалась. Мисс Роза тяжело дышала рядом. "Скорее, -- сказала она. -Ломайте".

"Послушайте, мисс Роза, -- сказал он. -- Послушайте".

"Дайте мне топор".

"Постойте, -- сказал он. -- Вы и вправду хотите войти?"

"Хочу, -- всхлипнула она. -- Дайте мне топор".

"Постойте", -- сказал он. Он пошел по галерее, держась рукою за стену; он шел очень осторожно, потому что не знал, где половицы прогнили, а где их нет вовсе, и наконец нащупал окно. Ставни были закрыты и, наверное, заперты, но когда он просунул между ними лезвие топора, они сразу поддались, почти совсем бесшумно -- словно это жалкое заграждение было наспех сооружено либо дряхлой старухой, либо каким-то безруким неумехой; не успел он вставить лезвие топора под раму, как тотчас убедился, что в ней нет стекла и ему остается только шагнуть в пустой оконный проем. Он на секунду остановился, убеждая себя войти, убеждая себя, что не боится, а просто не желает знать, что может скрываться там, внутри. "Ну что? -- раздался от дверей шепот мисс Розы. -- Открыли?"

"Да, -- сказал он. Он говорил не шепотом, но и не громко; в темной комнате, у окна которой он стоял, гулко отозвалось эхо, как это бывает в пустом помещении. -- Подождите там. Я попробую открыть

дверь". "Значит, теперь мне придется войти!" -- подумал он, перелезая через подоконник. Он знал, что комната пуста, об этом сказало ему эхо, и все же он передвигался здесь так же медленно и осторожно, как на галерее; держась рукою за стену, он добрался до угла, повернул, пошел дальше вдоль второй стены, нащупал дверь и прошел сквозь нее. Теперь он, очевидно, находился в прихожей; он был почти уверен, что по ту сторону стены слышит дыхание мисс Колдфилд. В непроглядной тьме не было видно ни зги; он знал, что ничего не видит, но все равно чувствовал, как от напряжения у него болят веки и глазные мышцы, а на сетчатке то появляются, то исчезают расплывчатые красные пятна. Он пошел дальше; в конце концов он нащупал рукою дверь и теперь, стараясь отыскать замок, услышал за нею всхлипыванье и дыхание мисс Колдфилд. Позади, словно взрыв, словно выстрел из пистолета, чиркнула спичка; слабый огонек еще не успел вспыхнуть, как у него от страха задрожало все внутри, и он на секунду застыл на месте, хотя остатки здравого смысла беззвучно прогремели у него в черепе: "Ничего страшного! Иначе он не стал бы зажигать спичку!" Потом, вновь обретя способность двигаться, он обернулся и увидел перед собою крошечное существо, какого-то гнома в широченной юбке, с платком на голове; существо стояло, обратив к нему морщинистое кофейное лицо и подняв высоко над головой кофейную кукольную руку со спичкой. Потом он стал смотреть уже не на нее, а на спичку, которая догорела до самых ее пальцев; он спокойно смотрел, как она наконец зашевелилась, зажгла вторую спичку о первую, отвернулась, и он увидел у стены прямоугольный обрубок, а на нем лампу, с которой она сняла стекло и поднесла спичку к фитилю. Он вспомнил все это, лежа здесь в своей массачусетской постели и снова начиная задыхаться, потому что мир и покой снова его

покинули. Он вспомнил, как она не сказала ему ни слова, не спросила Кто вы и Что вам тут нужно, а просто подошла со связкой огромных старинных железных ключей, словно всегда знала, это этот час рано или поздно настанет и потому сопротивляться бесполезно, отперла дверь и немного отступила, пропуская мисс Колдфилд. Она (Клити) и мисс Колдфилд не сказали друг другу ни слова, как будто Клити, один-единственный раз взглянув на мисс Колдфилд, сразу поняла, что словами тут не поможешь, и, повернувшись к нему, Квентину, положила ему руку на плечо и сказала: "Не пускайте ее наверх, молодой господин". Взглянув на него, она, наверное, подумала, что и это тоже не поможет, ибо тотчас от него отвернулась, догнала мисс Колдфилд, схватила ее за руку и сказала: "Не ходите наверх, Рози", а мисс Колдфилд оттолкнула ее руку и направилась к лестнице (и тогда он увидел у нее фонарик; он вспомнил, как тогда подумал: "Он, наверно, тоже был в зонтике вместе с топором"), а Клити сказала: "Рози", -- снова за ней побежала, -- и тут мисс Колдфилд повернулась на ступеньке и со всего размаху, по-мужски, сбила Клити с ног, повернулась обратно и пошла вверх по лестнице. Она (Клити) лежала на голом полу в пустой облупившейся прихожей, словно маленький бесформенный узелок с чистыми линялыми тряпками. Подойдя поближе, он увидел, что она в полном сознании и что глаза у нее широко открыты и спокойны; он стоял над нею и думал: "Да. Вот она, хранительница ужаса". Она была совсем невесомой, и он поднял ее легко, словно связку палочек, завернутую в тряпку. Она не стояла на ногах; ему пришлось ее поддержать, и он ощутил в ее теле какое-то слабое движение, словно она хотела что-то сделать, и наконец он понял: она хочет сесть на нижнюю ступеньку. Он опустил ее туда. "Кто вы?" -- спросила она.

"Я Квентин Компсон", -- отвечал он.

"А... Я помню вашего дедушку. Поднимитесь наверх и заставьте ее спуститься. Заставьте ее отсюда уйти, Что бы он ни сделал, я, и Джудит, и он за все сполна расплатились. Ступайте за ней. Уведите ее отсюда". Он пошел вверх по лестнице, по истертым, ничем не покрытым ступеням; с одной стороны возвышалась треснувшая облупившаяся стена, с другой -- перила, у которых не хватало балясин. Он вспомнил, как обернулся и увидел, что она все еще сидит там, где он ее оставил, и что теперь (он не слыхал, как тот вошел) внизу в прихожей стоит нескладный молодой светлокожий негр в чистой выцветшей рубашке и в комбинезоне; руки болтаются у него по бокам, а на губастом, цвета седельной кожи лице идиота нет ни удивления, ни какого-либо иного чувства. Он вспомнил, как тогда подумал: "Потомок, прямой (хотя и не бесспорный) наследник", как услышал шаги мисс Колдфилд, увидел, что по верхнему холлу движется свет фонаря, и она прошла мимо, пошатнулась, но выпрямилась и посмотрела прямо на него, словно никогда раньше его не видела -- широко раскрытыми, невидящими глазами лунатика; в лице, всегда бледном, теперь совсем, до ужаса, ни кровинки, и он подумал: "Что это? Что с ней такое? Это не шок. Да и страха она никогда не испытывала. Уж не торжество ли это?" -- а потом она прошла мимо него и двинулась дальше. Он услышал, как Клити сказала негру: "Отведи ее к воротам, к повозке", а он стоял и думал: "Мне бы надо пойти с нею. Но я должен посмотреть. Мне обязательно нужно посмотреть. Может, завтра я об этом пожалею, но я все равно должен посмотреть". Когда он спускался с лестницы (он вспомнил, как подумал тогда: "Может, у меня такое же выражение, какое было у нее, но только это никак не торжество"), в прихожей была одна Клити, она сидела на нижней ступеньке, сидела в той же позе,

что и прежде. Она даже не взглянула на него, когда он проходил мимо. Мисс Колдфилд и негра он не догнал. Было слишком темно, и он не мог идти быстро, но вскоре услышал впереди их шаги. Фонарик она на этот раз не зажгла, и он вспомнил, что подумал тогда: "Но ведь теперь ей не надо бояться, что кто-нибудь увидит свет". Однако она его не зажгла, и он стал гадать, держит ли она негра за руку, и думал об этом, пока не услышал голос негра -- ровный, невыразительный, равнодушный: "Вам лучше идти здесь", но никакого ответа не последовало, хотя он находился (или думал, что находится) достаточно близко, чтобы слышать ее всхлипывающее, тяжелое дыхание. Потом он услышал другой звук и понял, что она споткнулась и упала; он, казалось, почти увидел, как нескладный губастый негр, остановившись точно вкопанный, смотрит в ту сторону, откуда раздался звук падения, и без всякого интереса и любопытства чего-то ждет, и побежал в ту сторону, откуда доносились голоса:

"Эй ты, черномазый! Как твое имя?"

"Меня звать Джим Бонд".

"Помоги мне встать! Ты ведь не из Сатпенов! Тебе не нужно заставлять меня валяться в грязи!"

Когда он остановил повозку у ее калитки, она не стала слезать. Она сидела, пока он не спрыгнул на землю; он обошел повозку, приблизился к ней, а она все сидела, крепко держа в одной руке зонтик, а в другой топор, сидела, пока он не позвал ее по имени. Тогда она зашевелилась; он поднял ее, помог ей сойти; она была почти такой же легкой, как Клити; она двигалась как заводная кукла; поддерживая ее, он прошел с нею в калитку, по короткой дорожке ввел в кукольный домик, зажег свет и посмотрел на ее неподвижное, как у лунатика, лицо, на широко раскрытые глаза, на руки, все еще сжимавшие топор и зонтик, на шаль и черное платье, забрызганные грязью при падении, на черную

шляпку, сбившуюся набок от толчка. "Вам теперь лучше?" -- спросил он.

"Да, -- сказала она. -- Да, мне лучше. Спокойной ночи". "Не спасибо, просто спокойной ночи", -- подумал он; выйдя из дому и возвращаясь к повозке, он быстро и глубоко дышал, чувствуя, что готов пуститься бегом, спокойно думая: "Господи. Господи. Господи", с трудом вдыхая темный, мертвый, пышущий жаром раскаленной печи ночной воздух, глядя на небо, в котором висели свирепые равнодушные звезды. В его доме было темно; заворачивая в переулок и подъезжая к конюшне, он все еще хлестал кнутом лошадь. Он выскочил из повозки, выпряг кобылу, сорвал с нее сбрую; не останавливаясь, чтобы повесить сбрую на стену, швырнул ее в чулан и, обливаясь потом, тяжело дыша, повернул наконец к дому и только тогда пустился бежать. Он ничего не мог с собой поделать. Ему было всего двадцать лет; он не чувствовал страха -- ведь то, что он там увидел, не могло ему повредить, но он все равно бежал; даже войдя в знакомый темный дом, он, держа в руках башмаки, все еще продолжал бежать; бегом поднялся по лестнице, ворвался в свою комнату и поспешно, обливаясь потом, тяжело дыша, начал раздеваться. "Хорошо бы принять ванну", -- подумал он; потом, лежа нагишом на кровати, он вытирал рубашкой мокрое от пота тело; он все еще потел и задыхался, и потому, когда он до боли в глазных мышцах напрягал зрение в темноте и, все еще сжимая в руках почти совсем просохшую рубашку, произнес: "Я, кажется, уснул", ничто не изменилось, все было как раньше: во сне, как наяву, он шел по этому верхнему коридору между облупившимися стенами под треснувшим потолком, шел к слабому свету, который падал из последней двери, и, остановившись там, сказал: "Нет. Нет"; потом: "Но ведь я должен. Мне надо" -- и вошел, вступил в пустую душную комнату, где ставни тоже были закрыты, где

вторая лампа тускло горела на грубо сколоченном столе; во сне, как наяву, все было то же: кровать, желтые простыни и наволочка, на подушке исхудалое желтое лицо с закрытыми, почти прозрачными веками, исхудалые руки скрещены на груди, словно это уже труп; во сне; как наяву, все было то же и будет то же вечно, до тех пор, пока он жив:

{Вы...?

Генри Сатпен.

Вы, здесь уже...?

Четыре года.

Вы вернулись домой...?

Умирать. Да.

Умирать?

Да. Умирать.

Вы здесь уже...?

Четыре года.

Вы...?

Генри Сатпен}.

В комнате теперь стало совсем холодно; с минуты на минуту пробьет час ночи; холод как бы сосредоточился, сгустился в ожидании мертвых предрассветных мгновений. "И она ждала три месяца, прежде чем снова вернуться за ним, -- сказал Шрив. -- Почему она так поступила?" Квентин не ответил. Весь застывший, он тихо лежал на спине, лицо его обвевал холодный ночной воздух Новой Англии, кровь теплой струею бежала по застывшему телу; тяжело и редко дыша, он широко раскрытыми глазами смотрел на окно и думал: "Простись с покоем навсегда. Простись с покоем навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда". "Как по-твоему, может, она знала, что стоит ей об этом рассказать, принять какие-то меры -- и все будет кончено, кончено раз и навсегда; что ненависть -- это все равно что алкоголь или наркотики, что она питалась ею слишком долго и теперь не смела рисковать, боясь

исчерпать свой запас, уничтожить источник, самые корни и семена опийного мака?" Но Квентин и на это не ответил. "Но в конце концов она с этим примирилась, ради него, чтобы его спасти, чтобы привезти его в город, где врачи смогут его спасти, и тогда она об этом сказала, взяла санитарную карету и людей и поехала с ними туда. А старуха Клити, может, именно этого и ждала, и все эти три месяца следила из окна верхнего этажа; и может, даже твой отец был на этот раз прав, и когда она увидела, как санитарная карета въезжает в ворота, она подумала, что это, наверно, тот самый черный фургон, за которым этот черномазый парень по ее приказу следит уже три месяца -- он приехал, чтоб забрать Генри в город, где белые люди повесят его за то, что он застрелил Чарльза Бона. И наверно, он-то все это время и держал в чулане под лестницей сухой мусор и щепки, как она ему велела, все три месяца держал там керосин и все остальное, вплоть до того часа, когда он завоет..." Тут как раз пробило час ночи. Шрив умолк, словно ожидая, когда часы перестанут бить, а может, даже слушая их бой. Квентин тоже лежал тихо, как будто и он тоже слушал, хотя на самом деле он просто не слышал их, вовсе не слышал -- подобно тому, как он слышал слова Шрива, не слушая и не отвечая; наконец бой прекратился, замер в ледяном воздухе, слабый, тонкий и мелодичный, словно звон от удара по стеклу. И он, Квентин, казалось, тоже видел все это, хотя его там и не было: санитарная карета, мисс Колдфилд между шофером и вторым мужчиной -возможно, это был помощник шерифа, -- разумеется, в шали, а возможно, даже и с зонтиком, хотя на этот раз в нем, наверное, не было ни топора, ни фонарика; карета въезжает в ворота и осторожно пробирается по изрытой ухабами, промерзшей (а теперь кое-где оттаявшей) аллее; и может, это был вой, а может, помощник шерифа, или шофер, или даже она сама первой

крикнула: "Горит!" -- хотя, пожалуй, она бы не стала кричать, а просто сказала бы: "Скорей. Скорей", -- подавшись всем телом вперед на сиденье -- маленькая угрюмая неистовая неукротимая женщина ростом немногим выше ребенка. Но быстро ехать по этой аллее карета не могла; Клити, несомненно, это знала, на это рассчитывала; пройдет добрых три минуты, прежде чем карета сможет добраться до дома, до этой чудовищной, сухой как порох, прогнившей скорлупы, испускавшей клубы дыма сквозь щели в рассохшейся дощатой обшивке; казалось, дом сделан из проволочной сетки, внутри которой ревело пламя, а где-то позади скрывался кто-то живой, он выл, и это, несомненно, был человек, ибо в этом вое различались человеческие слова, хотя смысла в них никакого не было. Помощник шерифа и шофер выскочили из машины, мисс Колдфилд с трудом вылезла и устремилась вдогонку, тоже бегом, тоже на галерею, где за ними стало гоняться это воющее существо -- словно некий бесплотный дух, оно смотрело на них из дыма; помощник шерифа даже повернулся и побежал было за ним, но оно отступило, ринулось прочь, хотя вой не утихал и, казалось, даже не отдалялся. Они вбежали на галерею, в сочившийся отовсюду дым. "Окно! Окно!" -- прохрипела мисс Колдфилд, обращаясь ко второму мужчине, который стоял у дверей. Но дверь была не заперта, она подалась внутрь, и их обдало волною жара. Вся лестница была в огне. Однако им пришлось держать мисс Колдфилд; Квентин все это ясно видел: маленькая, худенькая, свирепая, она теперь не издавала ни звука; она боролась молча, с отчаянной яростью, кусая и царапая обоих державших ее мужчин, которые тащили ее назад, вниз по ступенькам, и тут сквозняк от раскрытой двери, казалось, взорвался словно порох, и вся нижняя прихожая исчезла в языках пламени. Квентин все это ясно видел; он видел, как помощник шерифа держал ее,

пока шофер осаживал машину назад в безопасное место, а когда он вернулся, на всех трех лицах появилось выражение ужаса, потому что теперь они, наверное, ей поверили -- все трое, широко открыв глаза, смотрели на обреченный дом; и тогда, на одно-единственное мгновенье, Клити, быть может, появилась в том окне, из которого она, наверное, все три месяца день и ночь непрерывно следила за воротами, -- трагическое лицо гнома под чистым головным платком на багровом фоне пламени; лицо, на мгновенье промелькнувшее между двумя клубами дыма; оно смотрело на них сверху, возможно, и сейчас еще не с торжеством, и даже отчаяние, которое всегда на нем было, теперь ничуть не усилилось; оно даже показалось им безмятежно спокойным, хотя под ним таяла в огне дощатая обшивка, и через секунду его снова закрыло клубами дыма -- и он, Джим Бонд, потомок, последний в роду, теперь тоже его увидел и теперь завыл осмысленно, как человек, ибо теперь даже и он, наверное, понял, по ком он воет. Но изловить его им так и не удалось. Они слышали его вой, он, казалось, ни на шаг от них не удалялся, но подойти к нему ближе они не могли, и возможно, вскоре они уже не могли больше различить, откуда доносится вой. Они -- шофер и помощник шерифа -- держали отчаянно вырывавшуюся из рук мисс Колдфилд; он (Квентин) ясно видел ее и их; его там не было, но он ясно видел, как она вырывается, борется, словно кукла, в каком-то кошмаре, молча, с пеной в уголках губ; он видел, как лицо ее, словно в луче солнца, сверкнуло в последнем розовом отблеске в тот самый миг, когда дом с грохотом рухнул, и остался один только вой слабоумного негра.

-- Итак, в санитарной карете привезли в город тетушку Розу, -- сказал Шрив. Квентин не ответил, он даже не сказал: Мисс Розу. Он просто лежал, пристально, не мигая, глядел на окно и вдыхал

пьянящую, морозную, чистую, сверкающую снегом тьму. -- И она легла слать, потому что теперь все было кончено, теперь не осталось ничего, теперь там не было ничего, кроме этого слабоумного парня, который будет прятаться в этом пепле среди четырех обгорелых труб и будет выть до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не прогонит его прочь. Поймать его было невозможно, и, кажется, никто никогда не мог отогнать его подальше от этого места -- он просто на некоторое время переставал выть. А потом снова слышался вой. Итак, она умерла. -- Квентин ничего не ответил; он пристально смотрел на окно; потом он не мог даже сказать, видел ли он действительно самое окно или всего лишь отражение бледного четырехугольника окна на своих веках, хотя через секунду оно начало появляться опять. Оно начало материализоваться и теперь, вопреки закону всемирного тяготения, приняло ту же странную позицию, словно, утратив свой вес, превратилось в сложенный пополам листок бумаги, который принес с собою летний день в Миссисипи, аромат глициний, запах сигары и беспорядочную суету светляков. -- Юг, -- сказал Шрив. -- Юг. О господи. Не удивительно, что все вы переживаете самих себя на много-много лет. -- Листок теперь был виден совершенно четко; скоро он сможет разобрать отдельные слова -- скоро, через секунду, вот-вот, сейчас, сейчас, сейчас.

-- В двадцать лет я старше множества людей, которые уже умерли, -- сказал Квентин.

-- А умерло гораздо больше, чем дожило до двадцати одного, -- сказав Шрив. Теперь он (Квентин) мог его дочитать, кончить -- это ироническое письмо, написанное косым затейливым почерком, письмо, пришедшее из штата Миссисипи в эти суровые снега:

{... хотя и не исключено, что это возможно. Разумеется, никому не повредит уверенность в том, что

она отнюдь не лишилась права быть оскорбленной, права изумляться и не прощать, а, напротив, сама достигла того места, предела, где объекты сострадания и оскорблений уже не призраки, а настоящие живые люди, способные воспринимать и ненависть и сочувствие. Никому не повредит надежда -- видишь, я написал надежда, а не мысль. Поэтому пусть так и будет надежда -- на то, что одному достанется порицание, безусловно заслуженное, а другим сочувствие, которого они, будем надеяться (пока мы еще надеемся), страстно желали, хотя бы только потому, что они вот-вот его получат -- хотят они того или нет. Погода была прекрасная, но холодная, и землю для могилы пришлось долбить кирками; однако в одном из поднятых с глубины комков я заметил рыжего дождевого червя -- он, без сомнения, был живой, хотя к вечеру снова замерз}.

-- Итак, чтобы избавиться от старика Тома, понадобились Чарльз Бон и его мать; чтобы избавиться от Джудит -- Чарльз Бон и окторонка; чтобы избавиться от Генри -- Чарльз Бон и Клити; а чтобы избавиться от самого Чарльза Бона -его мать и бабушка. Итак, чтобы избавиться от одного Сатпена, нужны двое черномазых, верно? -- Квентин не ответил; Шрив сейчас явно не ждал ответа, он почти без передышки продолжал: -- И это хорошо, великолепно; это окончательно подводит итог, и теперь ты можешь вырвать из гроссбуха все страницы и спокойно их сжечь, и остается только одно. Знаешь что? -- Возможно, на этот раз он надеялся получить ответ, а возможно, просто остановился для пущего эффекта, ибо ответа он не получил. -- Остается один черномазый. Один черномазый Сатпен. Конечно, его нельзя поймать, его даже не всегда можно увидеть, и от него никогда не будет никакого проку. Но он все равно еще там. Иногда его еще слышно ночью. Ты его слышал?

-- Да, -- сказал Квентин.

-- И знаешь, что я думаю? -- Теперь он и в самом деле ждал ответа, и теперь он его получил.

-- Нет, -- сказал Квентин.

-- Ты хочешь знать, что я думаю?

-- Нет, -- сказал Квентин.

-- Ну так я тебе скажу. Я думаю, что со временем Джимы Бонды покорят все западное полушарие. Конечно, это будет не при нас, и конечно, по мере того, как они будут продвигаться к полюсам, они снова побелеют -- как кролики и птицы, чтоб не так ярко выделяться на снегу. Но это все равно будет Джим Бонд, и потому через несколько тысяч лет окажется, что я -- тот, кто смотрит на тебя сейчас, -- тоже потомок африканских царей. А теперь, пожалуйста, ответь мне еще на один вопрос. Почему ты ненавидишь Юг?

-- С чего ты взял, что я его ненавижу? -- быстро, поспешно, мгновенно отозвался Квентин. -- Это неправда, -- сказал он. Это неправда думал он, задыхаясь в холодном воздухе, в суровом мраке Новой Англии. {Неправда! Неправда! Это неправда, что я его ненавижу! Неправда! Неправда! Неправда!}

ХРОНОЛОГИЯ

1807 Томас Сатпен родился в горах Западной Виргинии, в многодетной семье белых бедняков англо-шотландского происхождения.

1817 Семья Сатпена переехала в Тайдуотер, штат Виргиния. Сатпену десять лет.

1818 Эллен Колдфилд родилась в Теннесси.

1820 Сатпен в возрасте четырнадцати лет убежал из дома.

1827 Сатпен вступил в первый брак на Гаити.

1828 Гудхью Колдфилд переехал в Джефферсон, округ Йокнапатофа, штат Миссисипи, с матерью, сестрой, женой и дочерью Эллен.

1829 Чарльз Бон родился на Гаити.

1831 Сатпен узнает, что в жилах его жены течет негритянская кровь, отрекается от нее и от ребенка.

1833 Сатпен появляется в округе Йокнапатофа, штат Миссисипи, приобретает землю, строит себе дом.

1834 Клитемнестра (Клити) родилась у негритянки-рабыни.

1838 Сатпен женился на Эллен Колдфилд.

1839 Генри Сатпен родился в Сатпеновой Сотне.

1841 Родилась Джудит Сатпен.

1845 Родилась Роза Колдфилд.

1850 Уош Джонс с дочерью поселился в заброшенной рыбачьей хижине на плантации Сатпена.

1853 У дочери Уоша Джонса родилась Милли Джонс.

1859 Генри Сатпен и Чарльз Бон встречаются в Университете Миссисипи. Джудит и Чарльз встречаются на рождестве этого же года. Чарльз Этьен Сент-Валери Бон родился в Новом Орлеане.

1860 На рождестве Сатпен запрещает Джудит выйти замуж за Бона. Генри отрекается от семьи и уезжает с Боном.

1861 Сатпен, Генри и Бон уходят на войну.

1862 Эллен Колдфилд умирает.

1864 Гудхью Колдфилд умирает.

1865 Генри убивает Бона у ворот. Роза Колдфилд переезжает в Сатпенову Сотню.

1866 Сатпен обручается с Розой Колдфилд, оскорбляет ее. Она возвращается в Джефферсон.

1867 Сатпен вступает в связь с Милли Джонс.

1869 У Милли Джонс рождается ребенок. Уош Джонс убивает Сатпена.

1870 Чарльз Э. Сент-В. Бон впервые появляется в Сатпеновой Сотне.

1871 Клити привозит Чарльза Э. Сент-В. Бона в Сатпенову Сотню, где он поселяется.

1881 Чарльз Э. Сент-В. Бон возвращается с женой-негритянкой.

1882 Родился Джим Бонд.

1884 Джудит и Чарльз Э. Сент-В. Бон умирают от оспы.

1910 Сентябрь. Роза Колдфилд и Квентин находят Генри Сатпена спрятанным в доме.

Декабрь. Роза Колдфилд едет, чтобы привезти Генри в город. Клити поджигает дом.

ГЕНЕАЛОГИЯ

ТОМАС САТПЕН

Родился в горах Западной Виргинии в 1807 г. Один из многих детей в семье белых бедняков англо-шотландского происхождения. Основал плантацию Сатпенова Сотня в округе Йокнапатофа, штат Миссисипи, в 1833 г. Женился в первый раз на Евлалии Бон на Гаити в 1827 г., во второй раз -- на Эллен Колдфилд в Джефферсоне, Миссисипи, в 1838 г. Майор, затем полковник -ского Миссисипского пехотного полка Конфедерации Американских Штатов. Умер в Сатпеновой Сотне в 1869 г.

ЕВЛАЛИЯ БОН

Родилась на Гаити. Единственная дочь француза -- владельца сахарной плантации на Гаити. Вышла замуж за Томаса Сатпена в 1827 г., развелась с ним в 1831 г. Умерла в Новом Орлеане, дата смерти неизвестна.

ЧАРЛЬЗ БОН

Сын Томаса и Евлалии Бон Сатпен. Единственный ребенок. Учился в Университете Миссисипи, где встретил Генри Сатпена и обручился с Джудит. Рядовой, затем лейтенант -ской роты (Университетские Серые) -ского Миссисипского пехотного полка Конфедерации Американских Штатов. Умер в Сатпеновой Сотне в 1865 г.

ГУДХЬО КОЛДФИЛД

Родился в Теннесси. Переехал в Джефферсон, штат Миссисипи, в 1828 г. основал маленькое торговое предприятие. Умер в Джефферсоне в 1864 г.

ЭЛЛЕН КОЛДФИЛД

Дочь Гудхью Колдфилда. Родилась в Теннесси в 1818 г. Вышла замуж за Томаса Сатпена в Джефферсоне, штат Миссией-, пи, в 1838 г. Умерла в Сатпеновой Сотне в 1862 г.

РОЗА КОЛДФИЛД

Дочь Гудхью Колдфилда. Родилась в Джефферсоне в 1845 г. Умерла в Джефферсоне в 1910 г.

ГЕНРИ САТПЕН

Родился в Сатпеновой Сотне в 1839 г. Сын Томаса и Эллен Колдфилд Сатпен. Учился в Университете Миссисипи. Рядовой -ской роты (Университетские Серые) -ского Миссисипского пехотного полка Конфедерации Американских Штатов. Умер в Сатпеновой Сотне в 1910 г.

ДЖУДИТ САТПЕН

Дочь Томаса и Эллен Колдфилд Сатпен. Родилась в Сатпеновой Сотне в 1841

КЛИТЕМНЕСТРА САТПЕН

Дочь Томаса Сатпена и негритянки-рабыни. Родилась в Сатпеновой Сотне в 1834 г. Умерла в Сатпеновой Сотне в 1910 г.

УОШ ДЖОНС

Дата и место рождения неизвестны. Скваттер, живущий в заброшенной рыбачьей хижине, принадлежащей Томасу Сатпе-ну, приспешник Сатпена, работник на плантации Сатпена в отсутствие Сатпена между 1861 и 1865 г. Умер в Сатпеновой Сотне в 1869 г.

МЕЛИСЕНТ ДЖОНС

Дочь Уоша Джонса. Дата рождения неизвестна. По слухам, умерла в мемфисском публичном доме.

МИЛЛИ ДЖОНС

Дочь Мелисент Джонс. Родилась в 1853 г. Умерла в Сатпеновой Сотне в 1869 г.

БЕЗЫМЯННЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Дочь Томаса Сатпена и Милли Джонс. Родилась и умерла в Сатпеновой Сотне в один и тот же день в 1869 г.

ЧАРЛЬЗ ЭТЬЕН СЕНТ-ВАЛЕРИ БОН

Единственный сын Чарльза Бона и его любовницы-окторонки, имя которой не названо. Родился в Новом Орлеане в 1859 г. Женился на чистокровной негритянке, имя которой неизвестно, в 1879 г. Умер в Сатпеновой Сотне в 1884 г.

ДЖИМ БОНД (БОН)

Сын Чарльза Этьена Сент-Валери Бона. Родился в Сатпеновой Сотне в 1882 г. Исчез из Сатпеновой Сотни в 1910 г. Местопребывание неизвестно.

КВЕНТИН КОМПСОН

Внук первого друга Томаса Сатпена в округе Йокнапатофа. Родился в Джефферсоне в 1891 г. Учился в Гарварде в 1909--1910 гг. Умер в Кембридже, штат Массачусетс, в 1910 г.

ШРИВЛИН МАККЕННОН

Родился в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада, в 1890 г. Учился в Гарварде в 1909--1914 гг. Капитан военно-медицинской службы Британской армии в Канадском экспедиционном корпусе в 1914--1918 гг. В настоящее время практикующий врач в Эдмонтоне, провинция Альберта.

ПРИМЕЧАНИЯ

А.Зверев, А.Долинин

В самом начале 1934 года Фолкнер приступил к работе над новым романом, которому он первоначально дал то же название "Темный дом", что и черновым наброскам "Света в августе". В основу романа были положены два рассказа писателя о семействе Сатпенов: неопубликованная "Евангелина" (1931), где в основных чертах уже намечена сюжетная линия Чарльза Бона, Генри Сатпена и его сестры, и "Уош" (1933) -- вариант будущей VII главы "Авессалома", где речь идет об

убийстве полковника Сатпена бедным арендатором Уошем Джонсом (в "Евангелине" Сатпен умирает своей смертью). Определяя свой замысел, Фолкнер писал Г. Смиту: "Роман -- о распаде или, вернее, насильственной смерти семьи в период с 1860 примерно по 1910 г... Его основная тема -- человек, который совершил насилие над землей, и земля восстала против него, уничтожив весь его род. Историю рассказывает или связывает воедино Квентин Компсон из "Шума и ярости". Он сам выступает как действующее лицо, а не просто как сказитель легенд. Я ввел его, потому что он находится на пороге самоубийства, и я могу использовать его озлобленность, переходящую в ненависть к Югу и южанам, чтобы выжать из этой истории больше, чем позволил бы обычный исторический роман. Так сказать, чтобы избавиться от кринолинов и цилиндров".

Долгое время, однако, Фолкнеру не удавалось продвинуться дальше первой главы нового романа. Осенью 1934 года он вообще прервал работу над рукописью и вернулся к ней лишь полгода спустя, в марте 1935 года, написав в промежутке целый ряд рассказов и роман о летчиках "Вышка". Только в январе 1936 года "Авессалом, Авессалом!" был завершен и 26 октября того же года вышел в свет в издательстве "Рандом Хаус". В издание вошли также хронологическая таблица к роману, генеалогия персонажей и карта Йокнапатофы, составленные Фолкнером.

Основные рассказчики "Авессалома", Квентин Компсон и его отец, перешли в роман из "Шума и ярости". Там же среди персонажей фигурировал сосед Квентина по гарвардскому общежитию, канадец Шрив, хотя в "Авессаломе" он получил другую фамилию (Маккенон вместо Маккензи). Оба романа связаны между собой не только общими персонажами, не только общим местом действия, но и множеством тематических и ситуативных перекличек (например,

тема инцеста), а также общим литературным "подтекстом" -- монологом Макбета, давшим название "Шуму и ярости" и несколько раз цитируемым в "Авессаломе".

Название романа восходит к библейскому преданию о царе Давиде и его сыновьях Авессаломе и Амнове. Авессалом убил своего брата за то, что он обесчестил их сестру Фамарь. Прощенный отцом, он поднял бунт против него, но был убит рабами Давида, когда в сражении он "запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей". Узнав о смерти сына, царь Давид "пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!... И обратилась победа того дня в плач для всего народа; ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне.... А царь закрыл лицо свое и громко взывал: сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой!"

Стр. 281. Да Будет Свет -- слова бога, произнесенные в начале первотворения.

...мертвом с 1865 года... -- В 1865 г. закончилась Гражданская война в США.

Стр. 283. ...репутацию поэтессы-лауреатки...

-- Роза иронически названа здесь "поэтессой-лауреаткой" по аналогии со званием придворного поэта в Великобритании. Вероятно, она была эпигоном самого известного поэта-лауреата викторианской эпохи А. Теннисона.

Стр. 285. Ниобея (Ниоба) -- в греческой мифологии дочь Тантала, от горя превратившаяся в скалу, источающую слезы, когда погибли ее дети.

Стр. 293. ...с выраженьем Кассандры... -- В греческой мифологии Кассандра -- троянская царевна, наделенная даром пророчества. Она предсказала падение Трои и

гибель Агамемнона, но, согласно повелению Аполлона, ее прорицания не были услышаны.

Стр. 303. ...агентом племени чикасау... -- Имеется в виду правительственный чиновник, ведавший делами индейского племени чикасо, которое населяло северные районы Миссисипи в начале XIX в. В 1832 г. чикасо продали свои земли федеральному правительству и ушли в Оклахому.

Стр. 312. Иккемотуббе -- в произведениях йокнапатофского цикла вождь племени чикасо. Упоминается в романах "Сойди, Моисей", "Реквием по монахине", "Город", "Похитители" и в нескольких рассказах.

Стр. 314. Джон Л. Салливен (1858--1918) -- знаменитый американский боксер-тяжеловес, выступавший на эстраде после завершения спортивной карьеры.

Стр. 326. Клитемнестра -- в греческой мифологии сводная сестра Елены и братьев Диоскуров, жена предводителя греков в Троянской войне Агамемнона, мать Ореста и Электры. Согласно мифу, использованному Эсхилом в "Орестее" (второй по значению после Библии "подтекст" романа), Клитемнестра вместе со своим любовником Эгисфом убила Агамемнона, вернувшегося из Трои, и взятую им в рабыни Кассандру.

Стр. 327. ...посеянные им самим зубы дракона... -- В древнегреческих мифах о Кадме и Ясоне герой засевает поле зубами дракона, из которых мгновенно вырастают воины, готовые растерзать его.

Стр. 330. Люструм (лат.) -- пятилетие.

Стр. 331. ...с текучей колыбелью событий {временем)... -- Трансформация шекспировской метафоры: "Много событий таится в утробе времени" ("Отелло", акт I, сцена III).

Стр. 333. Ли Роберт Эдвард (1807--1870) -- главнокомандующий войсками южной Конфедерации во время Гражданской войны в США.

Стр. 334. Стикс -- река, которая, согласно мифологическим представлениям древних греков, окружает подземное царство мертвых Аид.

Стр. 338. ...маленьком новом университете на задворках... -- Имеется в виду Миссисипский университет.

Стр. 342. ...весть об избрании Линкольна и о падении форта Самтер... -После победы на президентских выборах кандидата от республиканской партии А. Линкольна (1860 г.), выступившего с антирабовладельческой программой, одиннадцать рабовладельческих штатов Юга вышли из состава США. На конгрессе в городе Монтгомери (Алабама) 8 февраля 1861 г. было провозглашено образование независимой Конфедерации Американских Штатов (К А Ш). Войска южан заняли все федеральные военные сооружения на территории Конфедерации, и лишь гарнизон форта Самтер в Чарльстоне (Южная Каролина) оказал им чисто символическое сопротивление. 12 апреля 1861 г. артиллерия конфедератов открыла огонь по форту, а на следующий день гарнизон капитулировал. Эти события послужили формальным, предлогом для начала Гражданской войны.

Стр. 343. ...когда штат Миссисипи отделился... -- Конвент штата Миссисипи принял решение о выходе из США в январе 1861 г.

Стр. 344. ...на вороном жеребце, носившем имя героя романа Вальтера Скотта... -- Как явствует из рассказа "Уош", жеребца Сатпена звали Роб Рой (по имени легендарного шотландского горца, героя романа Вальтера Скотта "Роб Рой").

Стр. 347. ...поближе к Рок-Айлендской тюрьме... -- В федеральной военной тюрьме, расположенной в городе

Рок-Айленд (Иллинойс), во время Гражданской войны содержались пленные офицеры армии конфедератов.

Стр. 363. ...фолиантах Блэкстоуна и Коука... -- Сэр Уильям Блэкстоун (1723--1780) и сэр Эдвард Коук (1552--1634) -- известные английские юристы.

Стр. 369. ...по образу и подобию подозрительного и злобного Иеговы... -Здесь важно противопоставление пуританского мышления (которое исходит из доктрины абсолютного предопределения и возрождает ветхозаветные представления о жестоком, карающем боге) католицизму, который у Фолкнера ассоциируется с чувственным, эстетическим началом.

Стр. 375. У господа бога каждая пичужка на счету... -- Ср. комментарий к с. 259.

Стр. 379. ...сражение при Булл-Ране... -- Имеется в виду первое крупное сражение Гражданской войны (другое название: битва при Манассасе) близ реки Булл-Ран в Виргинии, где армия конфедератов одержала победу (21 июля 1861 г.).

Стр. 382. Приап -- в древнегреческой мифологии сын Диониса, фаллическое божество оплодотворения и деторождения.

Стр. 384. ...в битве при Питсберг-Лендинге... -- Речь идет о крупном сражении в юго-западной части штата Теннесси (другое название: битва при Шайло), где армия северян под командованием генерала Гранта нанесла поражение конфедератам (6--7 апреля 1862 г.).

Стр. 388. ...за пределами линии Мейсон -- Диксон... -- Линией Мейсон -Диксон в Америке называют границу между Пенсильванией и Мэрилендом (по имени топографов, проводивших съемку местности в этом районе), которая традиционно считается границей между Севером и Югом США.

Стр. 389. ...символом рыб и хлебов, как... чело, осиянное нимбом тернового венца... -- По евангельской легенде, Иисус Христос накормил семью хлебами и

несколькими рыбками весь народ, находившийся при нем.

Шерман Уильям (1820--1891) -- генерал федеральной армии, талантливый полководец, "правая рука генерала Гранта". В ноябре 1864 г. его армия сожгла дотла столицу Джорджии Атланту и начала знаменитый "марш к морю", во многом предрешивший исход Гражданской войны. Во время этого рейда Шерман применил тактику "выжженной земли" и причинил такой ущерб местному населению, что на Юге его имя до сих пор предают проклятиям.

Стр. 395. Молох -- у хананеян бог войны и огня, которому приносили человеческие жертвы.

Стр. 408. ...Чарльз Бон, Чарльз Добрый... -- Здесь и далее обыгрывается значимая фамилия героя: Бон (фр.) -- хороший, добрый.

Стр. 411. Теофилус Маккаслин ("дядюшка Бак") -- один из основных персонажей "саги Йокнапатофы", герой книги "Сойди, Моисей" и повести "Непобежденные", упоминается в "Поселке" ("Деревушка") и "Похитителях".

Стр. 412. Форрест Натаниэль (1821--1877) -- генерал армии конфедератов, командовавший кавалерийскими частями и прославившийся личной храбростью. Впоследствии один из руководителей ку-клукс-клана.

Джон Сарторис -- см. комментарий к роману "Свет в августе".

Стр. 420. ...исполинские Камелоты и Каркассонны. -- В средневековых романах Камелот -- замок легендарного короля Артура. Каркассонн -- город на юге Франции, в котором сохранились развалины средневековой крепости и замка с многочисленными башнями. Ср. название одного из ранних рассказов Фолкнера: "Каркассонн" (1926).

Стр. 422. ...белые мужчины... собирались в городах. -- Имеются в виду тайные собрания ку-клукс-клана.

Стр. 427. ...почему бы не иметь их безумию? -- Реминисценция реплики Полония из "Гамлета": "Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность" (акт II, сцена II).

Стр. 433. Он был ходячей тенью. -- Реминисценция из монолога Макбета, давшего название роману "Шум и ярость" (см. коммент. к с. 224).: "Жизнь -это тень ходячая".

Стр. 435. ...хоть один Баярд и хоть одна Джиневра... -- Имеются в виду легендарный французский шевалье Пьер дю Терай де Баярд (1476--1524), прозванный за свои ратные подвиги "рыцарем без страха и упрека", и "прекраснейшая из дам" Джиневра (Гвиневера) -- в средневековых романах артуровского цикла жена короля Артура и возлюбленная рыцаря Ланселота. Здесь и далее канадец Шрив подтрунивает над склонностью южан к всевозможным рыцарским и мифологическим параллелям.

Стр. 437. ...эта тетушка Роза... -- Называя Розу тетушкой, Шрив нарушает законы южного этикета, согласно которому так можно именовать лишь пожилую негритянку.

Стр. 438....если бы он не разозлил генерала Ли и Джефа Дэви-са... -Речь идет о главнокомандующем войсками Южной Конфедерации генерале Ли (см. коммент. к с. 333) и ее президенте Джефферсоне Дэвисе (1808--1889).

...вместо роли Кассандры при... Агамемноне играть... Тисбу при... Пираме... -- Ироническая травестия двух мифов: древнегреческого мифа об Агамемноне (см. коммент. к с. 326) и малоазийского мифа о Пираме и Тисбе -возлюбленных из враждующих между собой семейств, который обыгрывается в комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь". Основные элементы этого мифологического сюжета (вражда семейств, мнимая смерть, двойное самоубийство) были, кроме того,

использованы Шекспиром в "Ромео и Джульетте", с героиней которой явно отождествляет себя Роза.

...горше желчи и полыни. -- Библейская аллюзия. Ср.: "Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи".

Стр. 439. ...веджвудскими стульями... -- Издеваясь над любовью плантаторов-южан к роскоши, Шрив создает невероятные сочетания определений с существительными. На самом деле "Веджвуд" -- это сорт дорогого фарфора (по имени английского мастера Джосайн Веджвуда, 1730--1793).

Стр. 444. ...тут он примерно на год опоздал... -- Президент США А. Линкольн был застрелен Дж.-У. Бутом 15 апреля 1865 г.

Стр. 449. К. А. Ш. -- Конфедерация Американских Штатов.

Стр. 550. ...при Геттисберге... -- Имеется в виду одно из кро-вопролитнейших сражений Гражданской войны -- битва при Геттисберге, городке в Пенсильвании (2--3 июля 1863 г.), в которой армия южан, продвигавшаяся на север, понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить на территорию Конфедерации.

Камберлендский перевал -- проход через Камберлендские горы у пересечения границ Виргинии, Кентукки и Теннесси, через который в 1864 г. отступали войска конфедератов.

Стр. 453. ...сцену в саду этого ирландского поэта, Уайльда... -- Речь идет об Оскаре Уайльде (1854--1900), ирландце по происхождению. Очевидно, Фолкнер вспомнил о нем как об эстете, считавшем, что искусство должно ставить "между собой и реальностью... высокую перегородку красивого стиля". Цветущий, благоухающий сад часто является местом действия в произведениях Уайльда.

Стр. 455. ...костюмчик маленького лорда Фаунтлероя... -- короткий пиджак, брюки до колен,

рубашка с кружевами. Так одевался юный герой романа американской детской писательницы Френсис Бернетт (1849--1924) "Маленький лорд Фаунтлерой" (1886).

Стр. 456. Лилит -- в талмудистской традиции первая жена Адама, отказавшаяся подчиниться мужу и за это изгнанная богом из рая. Считается королевой демонов.

...сынов Хама... -- См. комментарий к роману "Свет в августе".

Стр. 457. "Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им" -Матф. 19, 14. Далее следует: "...приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное".

Стр. 463. ...не может сказать "Мисс Джудит"... -- то есть не может обратиться к Джудит как подобает негру-слуге.

Стр. 464. ...своего наследственного проклятья... -- Имеется в виду проклятие Ноя потомкам Хама (см. комментарий к роману "Свет в августе".).

Стр. 468. Гефсимания -- согласно Новому завету, место, где Иисус накануне казни возносил моление о чаше ("Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты") и был схвачен людьми первосвященника. В англоязычной традиции Гефсимания иногда отождествляется с Голгофой -- местом распятия Иисуса Христа.

Стр. 474. ...фамилия его теперь была уже не Бон, а Бонд... -- Изменение фамилии здесь, безусловно, значимо и в известном смысле может рассматриваться как метонимия к сюжету романа в целом: Бонд (англ.) -- раб, крепостной (ср. коммент. к с. 408).

Стр. 475. Лучше Бен Гура... -- Имеется в виду популярный исторический роман американского писателя Лью Уоллеса (1827--1905) "Бен Гур: история Христа" (1880), действие которого происходит в Древнем Риме и Палестине первых десятилетий нашей эры. Во многих американских театрах ставилась

инсценировка "Бен Гура" драматурга Уильяма Янга (1899).

Стр. 478. ...в 1808 году не было никакой Западной Виргинии... -Западная часть Виргинии, где почти не было рабовладельческих плантаций, отказалась войти в состав Южной Конфедерации, объявила о своей поддержке федерального правительства в Гражданской войне и в 1863 г. решением конгресса США получила статус самостоятельного штата Западная Виргиния.

Стр. 479. ...человек, который бы не поленился обнести забором кусок земли и сказать: "Это мое"... -- Парафраза начальных слов второй части трактата Жан-Жака Руссо "Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми" (1754): "Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: "Это мое" -- и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества" (Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 72).

Стр. 479. Тайдуотер -- прибрежная полоса Виргинии.

Стр. 480. ...когда корабль с арестантами из Олд Бейли бросил якорь в Джеймстауне... -- Олд Бейли -- центральный уголовный суд в Лондоне. Джеймстаун -- первое английское поселение на побережье Виргинии, основанное в 1607 г. Среди так называемых "сервентов", то есть работников, направленных в колонию по контракту, в XVII в. значительную часть составляли осужденные преступники.

Стр. 486. ...детский воздушный шар, на котором намалевана рожа... -- Ср. коммент. к роману "Свет в августе".

Стр. 510. Альберта -- район на северо-западе Канады.

Стр. 511. ...ящик Пандоры... -- В греческой мифологии Пандора -- женщина, которую Гефест

сотворил по воле Зевса, чтобы наказать людей за проступок Прометея. Зевс отдал ее замуж за брата Прометея Эпиметея и подарил ему сосуд (ящик), в котором были заключены все людские несчастья и пороки. Несмотря на запрет, Пандора из любопытства открыла сосуд, и бедствия вырвались на волю.

Коносамент -- документ, удостоверяющий принятие груза у отправителя.

Стр. 522. Иерихон -- древний город в Палестине, который, согласно Ветхому завету, был захвачен евреями под предводительством Иисуса Навина. Сравнение поражения Юга в Гражданской войне с гибелью Рима, Иерихона или Трои было весьма характерным для южного сознания.

Стр. 525....время сна, малой смерти... -- Уподобление сна смерти можно считать общим местом англоязычной поэзии. Сходные метафоры часто встречаются у Шекспира, Брауна, Шелли и многих других поэтов.

Стр. 526. Джонстон Джозеф Эглстон (1807--1891) -- генерал армии конфедератов; в 1865 г. командовал войсками, сражавшимися в Джорджии и Каролине против экспедиционного корпуса Шермана (см. комментарий к с. 389).

Стр. 528. Джексон Томас Джонатан (1824--1863) -- генерал армии конфедератов, талантливый военачальник, заслуживший за свою стойкость прозвище "Каменная стена". Блестяще провел кампанию 1862 г. в северной Виргинии.

Стр. 530. ...совсем как у старика Шекспира... -- Вероятно, имеется в виду появление двух могильщиков в начале пятого акта "Гамлета".

Стр. 532. ...черномазые, которых, как сказано в Библии, господь бог создал и обрек быть скотами и слугами... -- Очередная отсылка к библейской легенде о проклятии Ноя.

Стр. 536. ...слоено горькую чашу, про которую сказано в Библии. -Имеется в виду моление о чаше, вознесенное Иисусом в Гефсимании (см. коммент. к с. 468).

Стр. 539. ...завтра, завтра и завтра... -- Цитируется первая строка монолога Макбета, давшего название "Шуму и ярости".

Майор де Спейн -- постоянный персонаж саги о Йокнапатофе, упоминается в "Поселке", "Городе", "Осквернителе праха" и ряде других произведений.

Стр. 543. Кеймбридж -- пригород Бостона, где находится Гарвардский университет.

Стр. 550. ...фолиантов Коука и Литтлтона... -- Имеются в виду известные английские юристы сэр Эдвард Коук (1552--1634) и Томас Литтлтон (1402--1481).

Сабина -- жена римского императора Адриана (II в. н. э.), который обращался с ней как с рабыней.

Стр. 567. Ланселот -- в средневековых романах самый отважный и благородный рыцарь при дворе короля Артура.

Стр. 571. ...родил Иисуса Христа, снабдил его плотницким инструментом... -- В Евангелии от Марка Иисус назван плотником, как и муж Марии Иосиф: "Не плотник ли Он, сын Марии..."

Старик Авраам...наконец-то пойман... -- Очередная мистификация Шрива, поскольку библейский патриарх Авраам "умер в старости доброй, престарелый и насыщенный". Сравнение Сатпена с Авраамом мотивировано лишь тем, что от Авраама, по библейской легенде, берет начало вся история еврейского народа.

Стр. 573. День памяти павших -- национальный праздник в США (30 мая). В южных штатах отмечается 3 июня.

Стр. 574. "Дикси" -- популярная песня Даниеля Эммета (1815--1904), ставшая в годы Гражданской

войны неофициальным гимном конфедератов. Дикси, или Диксилендом, в Америке часто называют южные штаты.

Стр. 583. "Дерринджер" -- короткоствольный крупнокалиберный пистолет (по имени американского оружейного мастера Генри Дерринджера).

Стр. 584. Коринт -- город в штате Миссисипи, куда отступили войска конфедератов после поражения при Питсберг-Лен-динге.

Стр. 585. ...когда был избран Линкольн... о событиях в Чарльстоне... -Речь идет о событиях, предшествовавших началу Гражданской войны в США (см. комментарий к с. 342).

Стр. 586. В Лотарингии был какой-то герцог по имени Джон... -По-видимому, мистификация. Сведений о лотарингском герцоге Иоанне, вступившем в кровосмесительный брак и отлученном за это от церкви, не обнаружено.

Стр. 588. Шайло -- название местности в юго-западной части штата Теннесси, где произошло крупное сражение Гражданской войны, называемое также битвой при Питсберг-Лендинге (см. комментарий к с. 384).

Стр. 589. ...Чикамога, Франклин, Виксберг, Коринт и Атланта... -Перечислены места неудачных для конфедератов сражений и кампаний: битва у реки Чикамоги в Теннесси (19--20 сентября 1863 г.), битва при Франклине, городе в Теннесси (31 декабря 1862 и 2 января 1863 г.), взятие после длительной осады укрепленного города Виксберга в Миссисипи (4 июля 1863 г.), битва при Коринте (3--4 октября 1862 г.), захват Атланты армией генерала Шермана (см. коммент. к с. 389). На исход всех этих сражений во многом повлияли серьезные тактические просчеты генералов южан -- Брегга, Пембертона, Прайса, Ван Дорна, Худа.

Стр. 590. ...Ричард, Роланд или Дюгеклен... -- Имеются в виду легендарные воины-рыцари: король Англии Ричард I Львиное сердце (1157--1199), возглавивший третий крестовый поход в Палестину (1190); герои старофранцузского эпоса "Песнь о Роланде" (XII в.); коннетабль Франции Бертран Дюгеклен (1320--1380), считавшийся воплощением рыцарского духа.

Старик Джо -- прозвище генерала конфедератов Джозефа Джонстона (см. комментарий к с. 526).

Стр. 591. Лонгстрит Джеймс (1821--1904) -- генерал армии конфедератов.

Стр. 604. ...во время атаки Пиккета... -- Имеется в виду один из наиболее драматичных эпизодов битвы при Геттисберге (см. коммент. к с. 450), когда дивизия южан под командованием Джорджа Эдварда Пиккета (1825--1875) пошла на отчаянный штурм хорошо укрепленной высоты. Передовому отряду смельчаков удалось даже прорваться на вершину холма и водрузить там флаг Конфедерации. Отряд этот был полностью уничтожен, а дивизия Пиккета отступила, понеся огромные потери. Шрив спутал битву при Геттисберге с битвой при Манассасе, которую на Юге обычно называют сражением при Булл-Ране (см. комментарий к с. 379).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net
Оставить отзыв о книге
Все книги автора